Д.И. ПЕТРОВ (БИРЮК)

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЮНОСТИ

SHOUT
SHARE
IT

- Д. М. Петров (Бирюк)
  - ДЕТСТВО
    -
    - Мать
    - Похороны
    - Отъезд сестры
    - Неожиданная гостья
    - Казаки уходят на усмирение
    - На церкви
    - Наш корабль
    - По морям, по волнам
    - Приезд дяди
    - Поездка в монастырь
    - Маша уходит из дому
    - Катание на салазках
    - Приезд отца
    - Новое пальто
    - Отъезд
    - В порту
    - Выгоняют из квартиры
    - В погребе
    - Мечты о станице
    - Творчество
    - Неласковый прием
    - Побег
    - В полынье
    - В родной станице
    - Хочу учиться
    - На ярмарке
    - Приезд дяди Никодима
    - Еду на войну
  - ЮНОСТЬ
    -
    - Начало юности
    - В Темир-Хан-Шуре
    - Работа в канцелярии
    - Тоска по станице
    - Домой!
    - В родных краях
    - Праздничные дни
    - Вступаю в Красную гвардию
    - Моя ошибка
    - Эвакуация

- Погоня
- В окопах
- На отдыхе
- На станции Новохоперская
- В кольце врага
- В сложном переплете
- В плену
- Тяжелые дни
- Белые бегут
- Есаул развлекается
- Подготовка к побегу
- Из огня да в полымя
- Опасное положение
- Приключения в дороге
- В комитете бедноты
- Кулацкое восстание
- Снова уходим
- Вступление в партию
- Вместо эпилога

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

Д. М. Петров (Бирюк)
История моей юности

ДЕТСТВО

(часть первая)

Мать

Когда мне исполнилось сорок дней со дня рождения, дед мой, Дмитрий Антонович Бирюков, суровый старый казак, несмотря на отчаянные протесты моей матери, извлек меня из люльки и подстриг «под кружок». Совершив такой обряд, он от души пожелал:

— Ну, расти, внучек, добрым казаком. Дай тебе бог счастья!

На втором году моей жизни дед во время молотьбы попал под маховое колесо конной молотилки и был убит. Умерла вскоре и бабка. Потом в нашем доме произошел пожар, и меня едва успели вытащить из огня. От ожогов я болел с полгода.

На пятом году меня ударил копытом жеребец. Я две недели лежал без сознания, борясь со смертью, но выжил.

По натуре своей я был жизнерадостный мальчуган; всем этим несчастьям я мало придавал значения, или, вернее, скоро их забывал.

И только страшное горе, вдруг совершенно нежданно разразившееся в нашем доме, чрезмерно меня потрясло. Скоропостижно умерла моя мать.

Еще вчера мы всей семьей — отец, мать, я и младшая сестра, трехлетняя Оленька, — ходили в гости к нашему знакомому казаку Михаилу Александровичу Кривякину.

Чудесная это была, запомнившаяся на всю жизнь, прогулка.

Кривякин жил на окраине станицы, на берегу мелководной речушки Садовки. Ветхая его хатенка с потерпевшей от непогоды и времени соломенной крышей пряталась в гущине буйно и мятежно разбросавшегося сада. Мне казалось, что красивее и живописнее этого места не сыскать нигде.

Стояла пора цветения, и все здесь, как снегом, было покрыто кипенно-белыми, — чуть розовеющими лепестками яблоневого цвета. Мы вдыхали этот целительный запах весны и не могли вдосталь надышаться.

Под маленькими, подслеповатыми оконцами хаты протекала маленькая речушка. Летом она сплошь покрывалась огромными, как блины, гладко прилипнувшими к воде лопухами с поблескивающими, как звездочки, кувшинками.

Мы с сестренкой, зачарованные, не могли оторвать глаз от речушки. Каждый раз, как только нам удавалось увидеть в воде блеснувшую чешуей рыбешку, мы приходили в неистовый восторг…

На противоположном берегу раскинулись густые сады. Ветви груш и яблонь переплелись и повисли тяжелыми гирляндами над

водой, роняя душистые лепестки. На лужайке Кривякин поставил пяток ульев. Над ними в солнечном сиянии кружились золотыми шариками пчелы.

Усадив всех на берегу под ветвистой яблоней, хозяин накормил нас горячей ухой. А потом стал угощать чаем с медом. До чего ж приятно было пить этот чай на свежем воздухе!

Нам с Олей так понравилось в саду у Кривякина, что мы расплакались, когда нас уводили оттуда.

Дорогой, чтобы мы не плакали, мама затеяла с нами игру в горелки, и мы с Олей, забыв о своем огорчении, взапуски бегали за ней.

…Это было еще вчера, а сегодня я и моя маленькая сестренка стоим на табуретах у большого раскладного стола в горнице и с испугом смотрим на окаменелое, неподвижное лицо нашей милой мамы.

Она лежит на столе, вытянувшись во весь рост, головой к огромной иконе «святой троицы». Перед иконой, покачиваясь и мерцая, горит граненая бордовая лампада, бросая дрожащие отсветы по сторонам.

Покойница одета во все белое, как под венец. Изголовье усыпано ландышами и тюльпанами. Нежные, ласковые руки матери сложены на груди. Глаза ее закрыты.

Но мне кажется, что мать видит нас, видит все, что делается в комнате. Внимательно смотрит она сквозь прикрытые веки, точно так, как умею это делать я — зажмурю глаза, а сам сквозь щелочки век вижу все-все!

Нет!.. Нет!.. Мама не видит ничего… И от этой мысли тяжелый ком подкатывает к моему горлу.

Лицо матери спокойно, но нехорошая синева разлилась вокруг глаз. Губы чуть приоткрыты, видны мелкие ровные зубы… Над головой ее кружится муха. Я возмущенно взмахиваю рукой.

— Кши!

Прекратив читать псалтырь, на меня строго посмотрела тетушка Христофора, старшая сестра матери. Я притих. Я был удивлен, как это у нас вдруг могла появиться тетя Христофора — ведь она живет за сотню верст от нашей станицы, в Усть-Медведицком монастыре.

Всю ночь я крепко спал и не видел, что происходило в нашем доме ночью. Только впоследствии я узнал, что у матери случился сердечный приступ, и она умерла от разрыва сердца, как тогда говорили. Тетя же Христофора как раз в это время ехала к нам в гости. Приехала она утром, когда мать была уже мертва.

Около нас, детей, стоит сгорбленный отец и печально смотрит на покойницу. По щекам его обильно текут слезы, и он

их не стыдится и не отирает. Мне жалко отца, хочется к нему приласкаться, утешить, но я стыжусь это делать при посторонних. Я впервые вижу отца плачущим, и мне это кажется странным: разве взрослые могут плакать?

В горницу набивается множество старух в черных платках и платьях, и нас, детей, уводят.

Я весь холодею от мысли, что теперь у меня нет матери. Я убегаю на сеновал, забираюсь на сено и даю полную волю слезам.

— Милая моя мамочка, — тоскливо причитаю я, — кто же нам теперь будет печь блинчики и пирожочки?..

Я плакал долго, пока не заснул.

Днем в доме было не до меня. Но когда наступил вечер, наши всполошились. Многочисленные родственники бросились разыскивать меня по огородам и садам, заглядывая во все уголки, даже в колодезь и собачью конуру.

— Сашенька!.. Саша!.. — разносились их встревоженные голоса в вечерней тишине. Где ты?.. Откликнись!.. Ау!..

Я проснулся в кромешной темноте и от страха снова заплакал.

Похороны

На следующий день меня разбудили рано. Оленьку одевала старшая сестра Маша, гимназистка Урюпинской гимназии, приехавшая на несколько дней домой. Была она в бордовом гимназическом платье с белым кружевным воротничком и черном фартуке. Глаза у нее воспалены, веки распухли и покраснели.

Оленька стояла в белой рубашонке на кровати и, сладко потягиваясь, зевала, капризничала.

— Не хочу одеваться! — отмахивалась она от Маши. — Не хочу!

— Олечка, — уговаривала ее Маша, — надо одеваться… Надо, миленькая… Надо!.. Будем хоронить мамочку… — Она не могла договорить, из глаз ее хлынули слезы.

Из горницы доносился бубнящий голос Христофоры, читавшей псалтырь. Быстро одевшись, я со страхом и любопытством заглянул в горницу. Мать теперь лежала уже в гробу, обитом черным крепом и серебряными галунами.

Отец в той же позе, сгорбленный и печальный, стоял у гроба и смотрел на бледно-восковое лицо матери. Он всю ночь не спал, не отходил от покойницы.

Несмотря на раннее утро, в горнице было полно старух. Я разозлился на них. «Вот ведь, — думал я с негодованием, — сколько их здесь собралось, старых, и не умирают. А моя мама, такая молодая, умерла…»

Явился духовный притч: старенький, весь белый, словно обсыпанный мукой, священник, отец Николай; могучего телосложения, рыжий, волосатый дьякон, отец Василий; маленький дьячок в чесучовом пиджаке, Михаил Евграфьевич Васин, и церковный хор во главе с нашим знаменитым станичным басом портным Лукониным, прозванным за свой огромный рост Полторахохла.

Дом наш наполнился запахом ладана. Священник дребезжащим голоском что-то запел. Хор стройно подхватил: «Со святыми упокой…»

Послышались плач, заунывные причитания старух. Дюжие казаки подхватили гроб на полотенцах и понесли из дома. На дворе и на улице стояла огромная толпа. Вся наша семья — отец, Маша и я — шла за гробом. Отец вел меня за руку. Олю несла наша соседка, старушка Мартыновна, помогавшая матери по хозяйству. Оля, по-видимому, до сих пор еще плохо соображала, что делалось вокруг, поэтому она с изумлением оглядывалась, готовая вот-вот заплакать.

Стоял солнечный, жаркий день. С колокольни падал погребальный звон колоколов. Похоронная процессия растянулась почти на всю улицу. На перекрестках гроб ставили на табуреты, и духовенство служило панихиды. Потом снова все двигалось вперед, и гроб покачивался над толпой.

Кладбище было за рекой, верстах в трех от станицы. Все оно утопало в густых зарослях сирени. Прошлый год я ходил туда с мамой в поминальное воскресенье. Там тогда было много народу, все клали на могилки крашеные яички. Было весело и хорошо…

Отец подвел меня к свежевырытой могиле, я заглянул в нее, и мне стало страшно. До чего ж она была глубокая! На мгновение представилось: а вдруг я туда упаду? Я попытался вырвать у отца руку, но он держал меня крепко.

Хор продолжал петь: «Со святыми упокой…» Старый священник помахивал кадилом. Сладкий запах ладана щекотал ноздри… Казаки подтащили гроб с телом матери к могиле и стали осторожно на веревках опускать его в яму. Отец вздрогнул всем телом, покачнулся, будто намереваясь последовать за гробом. Я испуганно вскрикнул и, вырвав все-таки руку, отбежал в сторону. Рыдающего отца подхватили под руки какие-то женщины. Комья земли застучали о крышку гроба. Сквозь голоса хора прорвались душераздирающие вопли сестры Маши. Запричитали старухи:

— И на ко-ого же ты спокиинула-а свои-их сиротинок…

Казаки дружно работали лопатами. Вскоре над могилой вырос холмик.

Отъезд сестры

После похорон матери тетя Христофора жила у нас недолго. Было ей лет под сорок. Роста она была высокого, стройная, статная. Лицо свежее, розовое. Черные брови тонкие, как шнурки. Красивая женщина! Но мы ее не любили. Во всем ее облике было что-то надменное, холодное. Я не видел, чтобы лицо тети когда-либо озарялось приветливой улыбкой. Бывало, ходит она нахмуренная, с насупленными бровями. Тонкие ее губы строго поджаты. По натуре своей была она женщиной властной.

Христофора должна была ехать к себе, в монастырь, но списалась с игуменьей, которая разрешила ей некоторое время пожить у нас. Она сразу же забрала все наше хозяйство в свои руки.

Отец, видимо, побаивался Христофоры, а поэтому не мешал ей хозяйничать в нашем доме. Но я чувствовал, что он ей не рад, так же, как и мы с Машей.

Христофора часто рылась в наших сундуках, в ящиках, комоде, обшаривала все уголки, что-то перекладывала, рассматривала, выискивала… Мы с Машей, хотя и побаивались, но все-таки подсматривали за ней. Однажды тетя нашла в сундуке какой-то узелок. Воровато оглядываясь и не замечая меня, притаившегося за висящим на вешалке пальто, она развязала его. В руках у нее блеснули обручальные кольца и несколько золотых монет. Христофора проворно завязала узелок и сунула его в карман рясы.

Разыскав Машу, я рассказал ей о том, что видел. Маша возмутилась.

— Пойдем расскажем отцу, — сказала она.

Но, к нашему изумлению, сообщение это было принято им совершенно равнодушно.

— Да-а… — отмахнулся отец. — Пусть…

Однажды вся наша семья сидела за столом, ужинала. Ели мы молча, неохотно, а отец так совсем почти не притрагивался к еде, все вздыхал.

— Илья, — строго посмотрела на него тетя, — ты мужчина или нет?.. Ну чего раскис? Возьми себя в руки. Горе, конечно, большое. Но что делать? Все предначертано свыше. Значит, так господу-богу угодно. На все его святая воля… Грешно так отчаиваться. Безропотно терпи, господь-бог вознаградит тебя за это…

— Терпи, казак, — атаманом будешь, — горестно усмехнулся отец. — Тебе хорошо говорить, Христофора, — терпи… Ты вот на

днях уезжаешь к себе в монастырь. А каково мне тут оставаться с тремя малолетними детьми?.. Что я с ними буду делать? Как буду растить-воспитывать?.. Жениться мне, ты сама знаешь, больше нельзя: трех жен похоронил:[1] Какой же выход?.. Женщину, что ли, какую пожилую найти, хотя бы за ребятами смотрела… Да разве же найдешь так сразу порядочную…

Христофора о чем-то сосредоточенно думала.

— Вот что, Илья, — заявила она, — я Олю заберу к себе. Воспитаю ее, человеком будет…

— Монашку, что ли, из нее хочешь сделать? — с испугом спросил отец. — Боже тебя упаси!.. Не дам!

— Монашку я из нее не думаю делать. — холодно проговорила Христофора. — Хотя ничего плохого в том и не вижу, если б она и монахиней стала. Я помогу девочке хорошее воспитание получить, в гимназию отдам… У меня есть сбережения… Я слуга господня, мне ничего не нужно… Все, что есть у меня, я потрачу на Олечку. А вырастет — за порядочного человека замуж выдам.

Отец молчал, раздумывая.

— Это, пожалуй, самый лучший выход, — согласился он. — Ты, Христофора, сумеешь ее воспитать… Бери! А мы уж как-нибудь втроем будем жить…

— Вам я подыщу подходящую экономку, — пообещала Христофора. — Поговорю там, у себя. Есть у меня одна на примете — хозяйственная, степенная женщина.

…Через несколько дней Христофора стала собираться в дорогу. Она деловито увязывала узлы с маминими шубами и платьями. Озабоченно расхаживала по комнатам, высматривая, что бы еще прихватить, и брала все, что ей нравилось из наших вещей.

— Куда ты все это берешь, Христофора? — пробовал протестовать отец.

— Как — куда? — в изумлении вздергивала плечами тетя. — Олечке на воспитание много нужно… Я ведь беру-то ее не на день…

— Но ведь у меня, кроме нее, еще двое детей останется. Им тоже нужно.

— Ну, ты мужчина — наживешь. А я слабая женщина, где возьму на воспитание девочки?

Спорить с Христофорой было бесполезно, и отец махнул на все рукой.

В воскресенье к нашему дому подъехал казак на подводе.

Христофора усадила всех нас в горнице. Минуту мы сидели молча, тихо и торжественно. Потом тетя шумно поднялась со

стула и велела всем встать. Мы послушно вскочили.

— Господи благослови! — набожно закрестилась Христофора, глядя на икону. — Дай бог нам счастливого пути!.. Креститесь, дети!

Мы охотно подчинились ее приказанию. Нам с Машей строгая тетка надоела, а поэтому мы не могли дождаться, когда она наконец уедет. Вот только очень жалко было Олю.

— Счастливого пути! — сказал отец. — Прощай, доченька! — Поднял он на руки Олю и стал ее целовать.

Девочка ласково обвила его шею своими пухлыми ручонками. Вряд ли она понимала, что ей предстояла долгая разлука с нами.

Я очень любил маленькую сестренку и знал, что Христофора увозит ее от нас навсегда. Но я крепился, делая вид, что все это меня мало касается. С безразличным видом наблюдал я за тем, как отец и Маша прощались с Олей, хотя сердце мое разрывалось от горя.

Маша горько плакала, а Оля гладила ее по белокурым волосам и лепетала, готовая разрыдаться от жалости к старшей сестре:

— Не надо, Маша… Не надо…

— Саша, — сказала мне Христофора, — обними и поцелуй сестричку, не скоро теперь увидитесь. Оленька, поцелуй своего братика.

— Не хочу! — насупившись, отвернулся я.

— Как это — не хочу? — удивилась тетка. — Поцелуй! — настойчиво потребовала она, крепко схватив меня за руку. — Поцелуй, я тебе говорю!

Властный тон тетки возмутил меня.

— Пусти! — с яростью попытался я вырвать руку, но Христофора, как клещами, сдавила ее и не выпускала.

— Ух ты, какой! — не то с удивлением, не то с угрозой озлобленно прошептала она. — Упрямый… Целуй! — прикрикнула она и так сжала мою руку, что я вскрикнул от боли.

— Пусти! — взревел я. — Пусти, дура!..

Это было совершенно неожиданно не только для всех присутствующих, но и для меня самого. Как это сорвалось у меня с языка, я и понятия не имел. Христофора ахнула и, выпустив наконец мою руку, тяжело села на стул.

— Вот так дождалась, — печально проговорила она. — Господи, прости мои прегрешения! — перекрестилась тетка и с укором взглянула на отца. — Вот, Илюша, как ты воспитываешь своих детей.

Отец пожал плечами и с грустью посмотрел на меня. Может быть, ничего бы со мной и не произошло в тот раз, если б не

взгляд отца. Я не выдержал его и с глухими рыданиями повалился на пол. В слезах я изливал все: и гнев на тетку, увозившую от нас сестру, и горечь разлуки с ней и — а это, пожалуй, главное — раскаяние за свой проступок.

Отец поднял меня и положил на диван.

— Успокойся, сынок, успокойся. — Он ласково провел своей грубоватой рукой по моей голове. — Молчи, родной.

В горницу вошел казак-подводчик, закончивший таскать на подводу узлы и корзины.

— Пора ехать, — сказал он. — Уже не рано, а дорога дальняя.

— Да-да, — заторопилась Христофора. — Пора! Пойдем, Оленька!

Не переставая истошно вопить, я слышал, как все вышли из горницы.

Я тотчас же притих и прислушался. Со двора было слышно, как что-то проговорил отец, серебристо рассмеялась Оля, подводчик прикрикнул на лошадей, залаял Полкан…

Я сорвался с дивана и стремглав ринулся во двор.

— Оля! — закричал я, протягивая к ней руки. — Не уезжай!.. Не уезжай!..

На личике девочки отразилось беспокойство. Она хотела что-то сказать, но Христофора, зло глянув на меня, посадила Олю к себе на колени так, чтобы она меня не видела. Я понял намерение тетки.

— Дура монашка! — в бешенстве закричал я. — Дура!

— Поезжай быстрей! — сердито сказала Христофора подводчику. Тот, выведя лошадей на улицу, вскочил на телегу и свистнул.

— Эй, пошли, милые!

Сытые лошади легко рванули телегу и с места вскачь понесли ее по дороге, поднимая клубы горячей пыли. Я было ухватился за колесо, намереваясь остановить телегу, но меня с такой силой рвануло, что я больно ткнулся лицом в землю и зарыдал от боли и от горя. Помахивая хвостом, ко мне подбежал наш лохматый пес Полкан и сочувственно лизнул меня в щеку.

Неожиданная гостья

Старшей сестре было четырнадцать лет, и ей теперь пришлось принять на себя роль хозяйки. Правда, добрая соседка Мартыновна не оставляла нас. Она почти каждый день приходила помогать Маше.

По тому времени, когда почти все казачки в нашей станице были неграмотны, мать моя была культурной, начитанной женщиной. Дед мой, Дмитрий Антонович, дал образование своим детям. У него было два сына и две дочери.

Тетку Христофору до пострижения в монашки звали Мариной. Девушка она была тоже грамотная, красивая, завидная. В юности много у нее было женихов, но замуж она не торопилась.

Потом она кого-то полюбила, но неудачно. Эта-то неудачная любовь и заставила ее пойти в монастырь.

Сыновья деда были моряками. Старший, Иринарх, окончил мореходное училище в Ростове-на-Дону и теперь работал в Мариупольском порту капитаном какой-то шхуны. Он женился, обзавелся семьей и почти потерял связь с нами.

Младший, Никодим, служил мичманом на канонерской лодке в Черноморском военном флоте.

Никодим был любимцем всей нашей семьи. Он был хороший, душевный человек.

Каждый год он приезжал к нам в гости. Высокий, с тонкой талией, ловкий и изящный, он производил ошеломляющее впечатление на наших станичных барышень. О нас же, детях, и говорить нечего. Блестящий вид его поражал наше воображение. Мы часами могли влюбленно глядеть на него, рассматривая его золотые пуговицы, белоснежный крахмальный воротничок, болтавшийся на боку золоченый кортик…

Выросшая и воспитанная в семье, которой не было чуждо просвещение, мать моя всю жизнь мечтала о том, чтобы дать детям образование…

А теперь… все рушилось. Ни о какой учебе нечего было и думать. Отец — мы знали — очень нас любил. Но он был слабовольный человек, он не смог бы нас учить, у него не хватило бы на это сил и средств… Ведь это только мать могла как-то изворачиваться…

Ниже среднего роста, крепко сбитый, скуластый, со слегка косым разрезом глаз, похожий на монгола, отец был добрым, приветливым человеком.

Дед мой по отцу, Петр Петрович, умер еще молодым, оставив жену с малолетним ребенком. Отцу было лет десять, когда

умерла и мать его. Остался он круглым сиротой. Взяла его к себе старшая сестра. Муж ее, Ефим Константинович Юрин, живший в Урюпинской станине, славился на весь Хоперский округ своими живописными работами. Он брал в церквах подряды на разрисовку и позолоту новых иконостасов и обновление старых. У своего шурина мой отец и научился живописному и малярному делу.

Дед мой по матери, Дмитрий Антонович, служа одно время станичным атаманом, иногда ездил по делам в окружную станицу. Там он заходил к Юриным, с которыми был знаком уже давно. У Юриных он видел моего отца. Своей скромностью и сноровкой он понравился деду, и позже старик решил взять его в зятья, женив на дочери Паране.

Единственное, что не понравилось деду в отце, так это то, что он был из иногородних. Но дед сумел подговорить стариков, чтоб принять отца в казаки, пообещав им за это хороший магарыч.

Все пошло хорошо: приговор станичного сбора был утвержден войсковым наказным атаманом и отец стал равноправным казаком станицы.

Когда у Юриных подросли сыновья, они уже больше брали подрядов на покраску и отделку церквей, школ и других государственных учреждений. Работников у них не хватало, и они приглашали моего отца. Отец охотно принимал такие предложения и уезжал от нас на все лето, возвращаясь домой уже поздней осенью с хорошим заработком.

На руках у матери оставался весь дом, все хозяйство и мы, дети. Мама была хорошая хозяйка, все у нее было в образцовом порядке — она выращивала овощи, ухаживала за свиньями, коровой и птицей…

— Теперь, как умерла мать, все пойдет прахом, — говорили соседки при мне.

Тогда я не понял этой фразы. Но она глубоко запала мне в душу…

Отец сильно тосковал по матери. Он опустился, стал неряшлив, редко брился.

Первые дни после смерти матери он еще старался кое-как помогать Маше, вставал на рассвете, выгонял корову на пастбище, кормил свиней, кур. А потом перестал. О работе и говорить нечего — он ее совсем забросил.

Часто он ходил взад-вперед по двору и рассуждал сам с собой.

— Ну что теперь делать? — разводил он руками. — Что делать? Эхо-хо!..

При матери он пил редко: побаивался, наверное, ее. А теперь

стал запивать. Уходя из дому, где-то пропадал, возвращался пьяный, буянил. Метался по комнатам, ругался, сквернословил, требовал от нас, чтобы мы приносили водку. Мы с Машей уходили из дому, оставляя его одного.

Проспавшись, чувствуя свою вину, отец бывал с нами нежен, ласков.

— Дети, — говорил он нам, — вы уж того… Простите меня… не выдержал… Тяжело ведь мне, сами понимаете…

Однажды отец пришел домой с каким-то свертком. Был он немного пьян. Я со страхом смотрел на него, ожидая, что вот он сейчас начнет скандалить, требовать водки. Но отец был настроен миролюбиво.

— Голодные, небось, а? — спросил он у нас.

— Да нет, папа, — сказала Маша. — Я варила картошку…

— На-те вот, ешьте, — бросил он сверток на стол. — Бабка Софья прислала вам гостинец…

Бабка Софья была нашей дальней родственницей. Сердобольная старушка жалела нас, сирот, и иногда присылала нам что-нибудь лакомое.

Маша стала развертывать сверток. Я с нетерпением ждал, стараясь угадать, что могло в нем быть — пирожки с калиной или пампушки с маком?.. Но когда сестра развернула сверток, к нашему немалому изумлению и огорчению, в нем оказалась старая, драная калоша.

— Что это? — глядя на калошу, привскочил отец со стула. — Как она сюда попала? — Он посмотрел на меня, потом на Машу с таким видом, как будто мы всунули калошу в сверток. — А-а, мерзавец! — вдруг завопил он, багровея от гнева. — Это все проклятый Кудряш!.. Он, чертов сын!.. Я заходил к бабке Софье, она завернула вам пампушек… От нее я пошел было домой, да встретился Кудряш с компанией… Затащили меня выпить с ними… Когда выпивали, я видел, как Кудряш что-то возился с моим узелком. Да разве я мог подумать такое?.. Подлец!.. Над кем смеешься?.. Кому обиду наносишь?.. Сиротам. Я вот покажу, как над сиротами шутить!..

Он рванулся к двери, намереваясь, видимо, расправиться с шутником, но в это мгновение дверь широко распахнулась и в комнату с корзиной в руках впорхнула маленькая женщина.

— Здравствуйте! — тоненьким голоском весело пропела она. — Вот и я.

Не остывший еще от гнева отец, хмурый и злой, стоял перед ней со сжатыми кулаками.

— А кто это ты? — сурово спросил он ее. — Что за птица?.. Чего надо?..

Такой прием не смутил вошедшую. Она оглядела нас всех, улыбнулась и поставила корзину на пол. Не спеша скинула с себя светлую жакетку, повесила ее на вешалку. Затем, повернувшись к отцу, с любопытством наблюдавшему за ней, спросила:

— Уж не вы ли будете хозяином, а?

— Я, а что?

— Неласковый вы человек, — укоризненно покачала головой маленькая женщина. — А я вас представляла немножко другим… Мне почему-то казалось, что вы огромного роста, с длинной бородой, лохматый… Ну, одним словом, как и все художники.

— Художник, — засмеялся отец. — Какой я художник, я простой маляр.

— Вот именно, — кивнула женщина. — Вы, оказывается, простой человек, и в вас ничего нет интересного… Впрочем, неважно. Сколько вам лет?

— А вам для чего это? — несколько сбитый с толку ее бесцеремонным вопросом, спросил отец.

— Ну как же?.. Надо.

— Сорок два.

— А мне тридцать пять, — сказала неожиданная наша гостья. — Здравствуйте! — протянула она руку отцу.

Тот нерешительно пожал ее.

— Здравствуйте, детки! — обернула к нам свое маленькое, с морщинками у глаз, улыбающееся лицо женщина. И, так как я стоял ближе к ней, чем Маша, она схватила меня и чмокнула в губы. Я не успел даже увернуться. Я брезгливо плюнул и старательно вытер губы рукавом рубахи, потому что терпеть не мог всяких нежностей. С изумлением смотрели мы на эту вертлявую, визгливую женщину.

— А все-таки, кто вы? — спросил отец.

— Я Людмила Андреевна, — сказала женщина таким тоном, словно она сообщала нам что-то невероятное, отчего мы должны были пасть перед ней ниц. — Хозяйствовать к вам приехала.

— А-а, — протянул отец, — вон оно в чем дело… Хозяйствовать?.. А кто же вас просил к нам в хозяйки, а?

— Гм… — обиженно поджала сухие, тонкие губы Людмила. — Кто просил… Да вы же и просили. Матушка Христофора прислала меня по вашей просьбе…

— Фьють! — озорно свистнул отец. — Матушка Христофора?.. Какая заботливая-то… Ну, что же, раз она прислала, то милости просим. Пожалуйста! — шутовски протянул отец руку к столу, на котором все еще лежала рваная калоша.

Не знаю, почувствовала ли Людмила иронию в словах отца или нет, но приглашение его она восприняла церемонно.

Величественно кивнув головой, она прошла к столу.

— Что это такое? — уставилась она с изумлением на калошу.

— Калоша, — пояснил отец.

— А почему она на столе?

— Кушаем.

Я захихикал. Маша толкнула меня в спину:

— Замолчи!

— А, бросьте глупости говорить! — отмахнулась Людмила и повелительным тоном сказала: — Пойдите уплатите подводчику.

— А сколько? — с беспокойством спросил отец.

— Рубль.

— У меня… — стал рыться у себя в карманах отец. — У меня мелких денег сейчас нет…

Я снова чуть не захохотал. У отца вообще никаких денег в кармане не было, я в этом не сомневался.

Маленькая женщина презрительно усмехнулась и, вынув из своего кошелька рубль, подала отцу.

— Уплатите. Потом мне отдадите.

Отец кашлянул и промолчал. Выходя расплачиваться с подводчиком, он пробормотал:

— Занятная дамочка… Городская, образованная…

Казаки уходят на усмирение

Время было неспокойное. К отцу приходили взволнованные соседи и рассказывали о жарких битвах в Маньчжурии, куда все время посылались казачьи полки.

По станице носились зловещие слухи о том, что наши войска не могут сдержать упорного натиска японцев и вражьи полчища идут по нашей святой земле, заливая ее кровью, вытаптывая крестьянские поля.

Поговорили-поговорили и замолкли. Война закончилась. Казаки вернулись домой. Правда, не все. Кое-кто сложил голову на чужбине.

А потом вдруг снова забегали бабы из хаты в хату, разнося по станице новую весть: начались рабочие беспорядки в городах.

— Революция, бабоньки!.. Революция!..

— Что это такое, кума, революция-то?

— А бог же ее знает… Говорят, что-то страшное…

Мало кто в станице знал, что значит революция. Говорили, что какие-то «релюцинеры» собираются толпами и все кругом громят, жгут, убивают…

…Однажды отец пришел домой чем-то расстроенный. С досадой хлопнул он картузом по столу.

— Что случилось, Илья Петрович? — спросила Людмила.

— Поругался с атаманом, — буркнул отец. — Опять новую партию казаков посылают на усмирение беспорядков…

— А вам-то что? — удивилась Людмила. — Да пусть посылают… Какое вам дело?.. Вас же не трогают…

— Ничего-то вы не смыслите, Людмила Андреевна, — отмахнулся от нее отец. — Казаки — не жандармы… Подумать, сколько казаков послали усмирять рабочих и крестьян… Мерзавцы!..

Брошенные отцом слова озадачили меня. Как можно было «усмирять» людей?.. И почему для этого посылают именно казаков?.. И почему отец говорит об этом с гневом?.. И кто это жандармы?..

Сотни вопросов возникали в моей голове, и на них я не мог дать ответа…

Закурив, отец нервно стал ходить по комнате взад и вперед.

— Вот поругался я с атаманом, — проронил он, — да зря… Зря!.. Жалею об этом… Разве я один могу поправить дело?.. Вот табунный смотритель Кривцов поплатился за это… Сцапали да на каторгу сослали…

— Да ведь тот, как я слышала, был революционер, —

вмешалась Людмила. — А вы кто?.. Простой человек, никакого касательства не имеете до революции.

— Они все могут состряпать, — заметил отец. — Обжалуется атаман заседателю, скажет: народ мутил против посылки казаков на усмирение беспорядков, свидетелей выставит — и готово дело…

Я видел, что отец очень расстроился.

— Знаете что, Людмила Андреевна, — обратился он к ней. — От скандала я на некоторое время уеду из станицы. Вот, кстати, и родственники Юрины письмо прислали, просят поехать с ними в одну станицу, поработать по ремонту церкви… Как вы смотрите на это, если я на несколько месяцев уеду, а?..

— А мне что, — вздернула та маленькими плечиками. — Езжайте.

— С детьми останетесь?

У Людмилы растерянно забегали глаза. Она не знала, что и сказать. Ей, по-видимому, очень хотелось остаться полновластной хозяйкой дома, но в то же время страшно было взять на себя такую ответственность. Как-никак, а на ее попечении должны остаться двое детей.

С минуту она молчала, обдумывая отцовское предложение.

— Ну, что же с вами делать, — сказала она, вздохнув. — Уж видно останусь… На меня вы, Илья Петрович, можете положиться… Вашим детям я буду вместо родной матери… И за хозяйство свое не беспокойтесь, все будет в целости…

— Вот и договорились, — довольный результатами своего разговора с Людмилой, промолвил отец. — Спасибо! Приеду, за все отблагодарю…

Он не успел договорить; распахнулась дверь, и в комнату вошел сиделец[2] из правления.

— Пойдем в правление, — сказал он отцу. — Атаман кличет…

— Атаман? — упавшим голосом переспросил отец. — Пойдем…

Они вышли. Но отец тотчас же вернулся.

— Людмила Андреевна, — сказал он. — Если… если что случится… прошу, пожалуйста, дайте сейчас же знать матушке Христофоре… Пусть приедет…

— Хорошо. Не беспокойтесь.

Отец ушел.

Улучив момент, когда Людмила была занята стиркой, а Маша полоскала белье у колодца, я выбежал из дому на улицу. Там я сразу же попал в веселую компанию своих товарищей. Мы поиграли, а потом кто-то из ребят предложил пойти на

станичный майдан.

— Ох там зараз и весело же, как на ярмарке, — убеждал нас плотный веснушчатый и рыжеволосый мальчишка, Кодька Бирюков, мой троюродный брат. — Поехали!.. Арш!..

Вприпрыжку, один за другим, помчались мы на площадь, к правлению.

Кодька оказался прав: на майдане была настоящая ярмарка. Вокруг каменной церковной ограды рядами стояли подводы. Отмахиваясь хвостами от надоедливых оводов и слепней, лошади пережевывали духовитую сочную траву, накошенную казаками в степи по пути в станицу. Позванивая удилами, танцевали на привязи строевые жеребцы.

Тут уж было на что посмотреть.

Вот у крыльца правления комиссия во главе с ветеринарным фельдшером в военном мундире, полнотелым пожилым казаком с закрученными, напомаженными фиксатуаром усами, осматривает лошадей мобилизованных казаков.

В том случае, если комиссия не приходила к единому мнению относительно той или иной лошади, хозяину предлагалось сесть на нее и проехать по площади.

Казак вскакивал на спину лошади и несколько раз рысью и галопом проезжал по майдану…

— Хорош! — одобрительно кричал ветеринар.

— Годен! — вторили помощники атамана.

Писарь записывал что-то в книгу.

Мы буйной ватагой бегали из конца в конец майдана, приглядывались и прислушивались к тому, что делалось и говорилось тут.

Кое-где, собравшись группами, казаки о чем-то спорили.

Отлично разбиравшийся во всех происходящих здесь событиях, Кодька объяснял нам, что эти казаки торгуются, покупая один у другого лошадей для похода.

— Вот зараз они купят себе лошадей, — рассказывал Кодька, — и начнут водку пить… Это значит распивать магарыч будут.

Все выходило так, как говорил озорной мальчишка.

После удачной сделки тут же, на площади, у какой-нибудь подводы распивались эти магарычи… Подвыпив, казаки становились в круг и запевали:

Эй, да, за Уралом, за рекой, казаки гуляют…

Вдруг я заметил на крыльце правления отца. Он разговаривал с каким-то важным бородатым казаком. На плечах казака

сверкали серебряные погоны. Я сразу же притих. Я вспомнил, что говорил отец дома, и испугался. Может, он уже арестован?

Всезнающий Кодька, проследив за моим взглядом, устремленным на отца и на казака с серебряными погонами, засмеялся.

— А я знаю, о чем они разговаривают, — поддразнил он меня.

— О чем?

— Ты знаешь, с кем разговаривает твой отец? Ну, кто это? — допытывался Кодька.

— Не знаю.

— Да станичный атаман.

Я похолодел и готов был уже расплакаться, но Кодька опять заговорил, поддразнивая:

— Я знаю, о чем они говорят… Знаю.

— Не знаешь, — проговорил кто-то из ребят.

— А вот и знаю. Его отец, — кивнул Кодька на меня, — полезет на церкву крест поправлять… Вот поглядите, — указал парнишка на церковный крест, — как он похилился-то… Должно, скоро упадет…

Мы посмотрели на золотой крест, который действительно так скособочился, что казалось, вот-вот сорвется с церковного купола.

— Атаман уговаривает твоего отца полезть на церкву, поправить крест, — продолжал Кодька.

— Откуда ты все это знаешь? — спросил я.

Никодим пояснил:

— А я давеча был со своим отцом в правлении и слыхал, как атаман говорил об этом… Он сказал, что, окромя твоего отца, никто не может поставить крест на место… Вот он какой, твой отец-то!.. Геройский…

Ребята с уважением поглядели на меня. Я был горд за своего отца.

Я не утерпел и похвастался:

— Мой отец все умеет. Он всех ловчее и храбрее в станице…

— Не хвались, — фыркнул Кодька, — он хочь и геройский, твой отец-то, но и мизинца моего бати не стоит… Твой-то отец не умеет драться на кулачках, а мой батя первый кулачник… Как выйдет в драку, так все от него разбегаются.

Кодька сразил меня. Я замолк. В ответ я ничего не мог придумать, так как знал, что его отец, Петр; Яковлевич, действительно славился богатырской силой: и был в числе лучших кулачников станицы.

Из затруднительного положения меня вывел отец:. Проходя мимо меня, он удивился:

— И ты тут? Пойдем домой!

Я ухватился за его руку, и мы пошли. Дорогой я спросил у него;

— Папа, мальчишки говорят, что ты полезешь на церкву крест ставить. Правда это?

— Правда.

Я задумался. Полезть на верхушку, церкви и не бояться — это было непостижимо.

На церкви

На следующее утро кто-то громко постучал в наши ворота. Отец открыл калитку. На улице стояли наши родственники — дед Карпо и бабка Софья. Были они грустные, с покрасневшими глазами. Их старший сын Николай, чубатый казак лет тридцати, одной рукой держал за повод оседланного крепкого, приземистого меринка, а другой обнимал плачущую жену.

— Илюша, — сказал дед Карпо печально, — провожаем вон Николу своего… Хочет с тобой проститься…

— Саша, — позвал меня отец, — пойдем проводим дядю Колю.

Николай легко подхватил меня под руки и усадил в седло. Не отпуская поводьев, он повел лошадь, а я сидел на ней, покачиваясь в седле, с торжествующим видом оглядывался по сторонам. Очень уж мне хотелось, чтобы в эту минуту меня увидели мои приятели. Но, как нарочно, ни одного из них в это время не было на улице.

Шагая рядом с моим отцом, дед Карпо размахивает узловатыми, огрубевшими от работы руками.

— Вот, — слышится мне его глухой, дребезжащий голос, — идет, стало быть, наш сынок Николаша на геройство… Царя-батюшку защищать от иродов-люцинеров… Ведь, могёт быть, и не сладко там придется… Могёт, и головушку свою сложить…

— Типун тебе, старый, на язык, — отмахивается от него бабка Софья. — Что ты гутаришь-то непутевое…

— А что ты, бабка, — оборачивается к ней старик, — разе ж не понимаешь?.. Они ж ведь, люцинеры-то, злые, страсть какие… Чуть чего, из-под угла — раз!.. И ваших нет. Крышка!.. Вот, когда я был…

— Ты опять, никак, про турок? — подозрительно подсмотрела на него бабка Софья.

— Да я бы хотел рассказать, как я однова…

— Дома мне расскажешь, — отрезала бабка Софья, — Зараз об этом некогда гутарить.

Дед Карпо, обиженно поджав свои сухие губы, замолк.

На площади казаки выстраивались в походную колонну.

Николай снял меня с лошади, расцеловался со всеми провожавшими и, легко вскочив в седло, поскакал становиться в строй.

* * *

Станичный атаман уговорил моего отца за пять рублей слазить на купол церкви и укрепить крест. Это была очень трудная и опасная работа. Редкий человек взялся бы за нее. Но отец не побоялся, согласился.

В назначенный день площадь около церкви заполнилась народом. Устремив взоры на купол церкви, собравшиеся казаки и казачки оживленно обсуждали предстоящее событие. Я с ребятами шнырял в толпе и прислушивался к тому, о чем говорилось вокруг. Одни уверяли, что моему отцу ни за что не добраться до креста. Другие — что, быть может, он и доберется до него, но укрепить не сумеет. Лишь немногие верили в успех. А какой-то подвыпивший казак с серебряной серьгой в правом ухе, расхаживая от одной группы казаков к другой, доказывал:

— Разобьется, истинный господь, разобьется он… Будем ныне хоронить Илью Петровича… Хе-хе-хе!.. Помянем!.. Ей-богу, поминки устроим…

Я так возненавидел этого казака, что готов был наброситься на него с кулаками.

— Да шут с ним, — утешал меня Кодька. — Пусть болтает. Ведь он же пьяный… Смотри, зараз дядь Илья полезет, вот по той лестнице на крышу…

Гомон толпы оборвался. Все смотрели на церковную паперть, где, как герой дня, появился мой отец, сопровождаемый атаманом, его помощниками, священником, дьяконом и наиболее почетными стариками.

До чего ж мне хотелось сейчас подбежать к отцу и показать всем, что этот человек, на которого все взирают с таким любопытством, мой отец. Мой! Как я гордился им! Но, увы! Подойти к отцу я стеснялся, да меня бы и не пустили к нему полицейские, стоявшие у ворот церковной ограды. Они никого не пропускали в ворота…

Как порыв ветерка, из конца в конец по толпе пронеслось:.

— Полез!.. Полез!..

Все замерли, напряженно следя за тем, как уверенно и проворно взбирался мой отец по лестнице… Я тоже смотрел на него. Вот он взобрался на крышу и смело зашагал по ней. Железо гремело под его ногами.

Он подошел ко второй лестнице, заранее приставленной к куполу, попробовал, прочно ли она стоит, и уверенно и быстро стал взбираться наверх.

С земли отец казался маленьким, совсем крохотным.

Вдруг случилось что-то ужасное. Сердце мое оборвалось. Я пронзительно крикнул:

— Папа-а!

В толпе многие женщины завизжали в испуге.

А произошло вот что: добравшись по лестнице до купола, отец протянул руку, чтобы ухватиться за цепь, которой была обмотана шейка купола, лестница качнулась, и он чуть не полетел вниз, но успел ухватиться за конец цепи и удержался.

Толпа, как один человек, вздохнула облегченно.

— Разобьется, истинный господь, разобьется, — упрямо твердил пьяный казак. — Будем ныне поминки справлять по Петровичу…

— Да иди ты к дьяволу, дурачина! — закричали на него. — Что каркаешь-то зря…

Отец поднялся на купол. С минуту он отдыхал, рассматривая толпу. А затем стал подниматься к позолоченной главе, чтобы всунуть там покосившийся крест в основание и закрепить его проволокой, но снова не удержался и покатился вниз… Снова раздались крики ужаса. Я закрыл глаза…

Кодька весело проговорил:

— Да и молодец же твой отец, Сашурка!.. Ей-богу, молодец! Упал ведь он, покатился по крыше… Ну, думаем, все… Блин из него будет. Ан нет… Хвать за цепь — и удержался…

Я со страхом глянул на церковь. Отец укреплял крест.

Толпа оживленно переговаривалась.

— Ну, быть ему теперь долго в живых, — весело говорил высокий старик с большой седой веерообразной бородой. — Дважды вновь на свет возродился…

— Да вот еще как он будет слазить-то, — проронил кто-то.

— Слезет. Слезать проще…

Лишь один пьяный казак, расхаживая по толпе, бубнил одно и то же:

— Разобьется… Истинный господь, разобьется… Справим поминки…

Но на него никто не обращал внимания.

Спускаться вниз отцу было не менее трудно, но все обошлось благополучно. На земле казаки встретили отца веселыми возгласами. Под крики «ура» стали его качать, а потом повели в кабак и напоили допьяна…

Дня через три отец уехал к Юриным.

Наш корабль

Играя однажды во дворе, я наткнулся на груду бревен, наваленных у забора. Я задумался: а что если из них соорудить корабль? Такой же, например, на каком плавал дядя Иринарх по Азовскому морю или дядя Никодим — по Черному…

Бывая у нас, дядя Никодим рассказывал мне чудесные истории о разных морских приключениях и пленил ими мою душу.

Со дня на день мы ждали приезда дяди Никодима. Как хорошо было бы встретить его на капитанском мостике своего собственного корабля!

Решено: я приступаю к постройке.

Но когда я попытался вытащить из груды первое же бревно, чтобы начать свое строительство, то убедился, что сил моих даже для этого не хватает. Пришлось звать на помощь ребят.

Приятели с большой охотой встретили мое предложение. Тотчас же шумной оравой заполнили они наш двор, и работа закипела.

Я попытался руководить постройкой. Дядя Никодим раза два привозил мне игрушечные пароходики, и я имел кое-какое представление о них. Да я даже рисовать их умел… Но Кодька захватил власть в свои руки и распоряжался ребятами по своему усмотрению, не считаясь ни с чьими советами.

Обливаясь потом, ребята таскали тяжелые бревна на середину двора и складывали их одно на другое. Корабль рос. Вот уже и остов готов. Но что это за корабль?.. От обиды, что мой замысел принял такое уродливое исполнение, я заплакал.

Кодька озадаченно посмотрел на меня.

— Тю!.. Да ты что, Сашурка? — растерянно сказал он. — Что ты расслюзился, как баба?.. Ну разве ж это не корабль?.. Настоящий, прям, паром… Ну, как ты хочешь?.. Говори, зараз же переделаем.

Вытирая рукавом рубахи глаза и всхлипывая, я сказал:

— Мачту надо поставить.

— Мачху? — опешил Кодька. — А это что такое?

Вот тут уж я возликовал: оказывается, все-таки мои знания пригодились.

— Ну, мачту, — оживленно стал я объяснять. — Ну, значит, палку вот сюда надо воткнуть и… флаг…

— А-а, — понимающе протянул Кодька. — Это такую слегу, как у правления, на какой флаг болтается?..

— Ну да, — мотнул я головой.

— Ладно, — согласился Кодька. — Сделаем!.. Андрюшка! — крикнул он бледнолицему мальчишке лет восьми-девяти, сыну недавно умершего сапожника Полякова. — А ну неси сюда вот ту слегу, потоньше. Зараз мачху установим…

— Не мачху, а мачту, — поправил я.

— Да это все едино, — отмахнулся Кодька. — Тащи, Андрей!

Андрюша притащил длинную жердь.

— Вот мужик-то сиволапый! — разозлился Кодька, замахиваясь на него кулаком. — Так вот и дам в морду!.. Вот ту слегу неси, а ты принес какую?..

Испуганно моргая, мальчуган послушно отнес жердь на место, а принес взамен другую.

— Вот! — одобрительно произнес Кодька. — Это подходящая.

Он укрепил мачту на носу корабля и неуверенно спросил у меня:

— Так или нет?

— Так, — поспешно ответил я, довольный тем, что хоть на этот раз мое указание было принято своенравным мальчишкой. — Только вот… флаг надо…

— Флаг? — переспросил Кодька. — Ну что ж, повесим и флаг.

Он задумался, смотря на мачту.

— Только какой флаг-то повесить?..

— Синий!.. — посыпались со всех сторон предложения, — Зеленый!.. Белый!..

Я вспомнил, как отец рассказывал о том, что революционеры ходят по улицам с красными знаменами.

— Ребята, — сказал я им, — давайте повесим на мачту красный флаг. Вот красота-то будет!

— А у вас, Сашурка, есть красная тряпка? — спросил у меня Кодька.

— Нету, — грустно сказал я.

— А у кого есть, а? — властно оглядел ребят Кодька.

Мальчишки молчали.

— Конешное дело, — глубокомысленно вслух размышлял Кодька, — можно бы лампасину от отцовских штанов отпороть, да какой же это флаг?.. Узкая она…

— У мамки нашей есть платок, — несмело заявил Коля Самойлов, застенчивый мальчик лет девяти, сын бедного, забитого нуждой казака.

— Брешешь, должно, — недоверчиво покосился на него Кодька.

— Вот, истинный бог, не брешу! — для убедительности крестясь, поклялся Коля. — Шелковый платок… Красный… В сундуке лежит… Мать по праздникам одевает.

— А можешь его утащить? — прямо поставил вопрос Кодька.

— С-могу, — нерешительно сказал Коля. Ему давно хотелось чем-нибудь отличиться перед Кодькой, снискать его расположение. Глаза его заискрились.

— Как только мамка пойдет на огород, — заговорил Коля, — так я сразу же в сундук… Он у нас не запирается… Цап — и под рубаху…

— Правильно! — одобрил Кодька. — Зараз могешь принести, а?.. Ежели б зараз притащил, мы б его и повесили… Иди, Колька, может, мать уже ушла из хаты…

Подтянув спускающиеся с живота старенькие штанишки с линялыми лампасами, Коля помчался.

Пока он бегал за платком, мы придали своему кораблю надлежащий вид: установили трубу из толстого чурбака, устроили капитанский мостик, расставили по бортам чурбаны потоньше, они должны были изображать пушки.

Я подсказал Кодьке, что мачты на кораблях не бывают без веревок. Кодька и на этот раз послушался меня. Появились веревки, и мы ими, как паутиной, опутали мачту.

Прибежал запыхавшийся Коля, радостный, возбужденный.

— Во! — вытащил он из-под рубахи алый платок.

Никодим развернул его, стал рассматривать. Ах, какой расчудесный был этот платок! Весь он блестел, ярко переливался на солнце серебряными узорами. Вероятно, этот платок был самой ценной вещью бедной женщины. Немало, видимо, радости он доставлял ей, когда она его надевала.

— Махры ни к чему, — закончив осмотр платка, сказал Кодька. — Флаги с махрами не бывают… Срезать надо… Неси ножницы, Сашка!

— Не надо срезать! — воспротивился Коля. — Мать изругает…

— Фьють! — пренебрежительно свистнул Кодька. — Боялись мы ее… Раз принес, то теперь все. Неси ножницы!

Из глаз Коли хлынули слезы.

— Не дам срезать!.. Я поиграть принес…

— Тю! — вытаращил на него свои наглые серые глаза Кодька. — Сказился, что ль?.. Дурак!.. Не реви, а то в морду дам… Неси, Сашка, ножницы.

Я стоял в нерешительности. Мне было жаль Колю, а в то же время я был согласен с Кодькой: ведь действительно же флагов с махрами не бывает.

— Давай, Кодя, так, с махрами, пока попробуем, — пошел я на хитрость. — А срезать мы всегда успеем.

Кодька подумал.

— Ну, нехай пока так повисит, — согласился он.

Мы прицепили платок к мачте, Он заплескался на ветру, ярко отсвечивая на солнце. Это было прекрасное зрелище. Корабль наш сразу же принял величественный вид.

— Ура-а! — закричали мы. — Ура-а-а!..

Отойдя в сторону, Кодька с минуту любовался великолепным видом корабля.

— А с махрами-то, пожалуй, еще лучше, — сказал он.

Потом Кодька стал распределять обязанности. Как я и предполагал, себя он назначил командиром корабля; меня, по-видимому, из снисхождения к тому, что я был хозяином бревен и двора, своим помощником. Остальные ребята были зачислены на корабль простыми матросами.

На темнеющем небе вспыхивали первые звезды. Пора было расходиться по домам.

— Сашка, — сказал мне на прощание Кодька, — ты сними на ночь флаг… А то еще кто-нибудь украдет.

— Я его домой возьму, — захныкал Коля.

— А вот этого не хотел? — показал ему кулак Кодька.

— Я его поиграть приносил…

— Ну, и поиграем дней пяток, — примирительно сказал Кодька, — а потом отдадим…

В тот день наша увлекательная игра на этом и закончилась.

По морям, по волнам

С утра следующего дня наш корабль отправился в путь. Его алый флаг гордо реял на всех морях и океанах мира. В каких только странах мы не побывали, каких только грозных бурь и штормов не пережили! Нам довелось сражаться с морскими пиратами, со злыми разбойниками, и всюду мы выходили победителями.

Капитан наш был просто чудо. Это был испытанный морской волк. А команда как на подбор: храбрая, отважная, закаленная в борьбе со стихией и многочисленными врагами…

Сколько чудесных, волнующих мгновений пережили мы на своем великолепном корабле!..

Перевоплотившись в суровых моряков, мы так увлеклись игрой, что ничего на свете не замечали. Не заметили даже, как с глухим ревом подкралась черная грозовая туча. Хлынул ливень. С визгом и смехом мы рассыпались во все стороны кто куда успел — кто под сарай, кто на сеновал, а кто в сени нашего дома…

Несмотря на осеннюю пору, разразилась сильная гроза. Темную, набухшую тучу беспрестанно разрывали на части мертвенно-зеленые молнии.

От грозы, от урагана и дождя небо и наша железная крыша грохотали, как безумные!..

Дрожа от страха, мы — я, Кодька и Коля — стояли в дверях коридора и смотрели, как вокруг нас все бурлило и клокотало, точно в огромном коловороте.

При каждом оглушительном ударе грома мы испуганно крестились.

— Господи помилуй и упаси!.. Господи помилуй! — шептали мы.

Я всегда боялся грозы. Как только раздавались первые удары грома, я забирался на кровать, накрывался с головой одеялом и притихал. И сейчас меня подмывало убежать от друзей и спрятаться на кровати. Но я пересилил свой страх. Ведь тогда б Кодька всю жизнь меня презирал, как последнего трусишку…

Но что это?.. Я даже не поверил себе. Взглянув на Кодьку, я изумился: он ли это?.. Куда девалась его самоуверенность? Передо мной стоял взъерошенный, побледневший, невзрачный мальчишка, который каждый раз при взрыве грома вздрагивал всем телом и неистово крестился… Его жалкий вид поколебал во мне веру в него как в неустрашимого, волевого нашего вожака.

— А флаг-то! — в ужасе вскрикнул Коля, указывая на мачту нашего корабля.

Второпях никто из нас не догадался снять с мачты платок, и теперь он, потемневший, вымокший, как тряпка, висел на палке.

Коля заплакал.

— Ну, заревел, — закричал Кодька. — Замолкни, мокрая курица!.. А то могу двинуть так, что с ног ковырнешься. Что, боишься матери, что ли?..

— Н-нет, — сквозь рыдания выдавил Коля. — Я… не боюсь… Мне мамку жалко…

— Дурак! — пробасил Кодька. — Надо было раньше думать… А теперь уже поздно… Да что с твоим платком сделается?.. Ну?.. Дождик обмоет его, как новенький будет…

Коля успокоился. Может, правду говорит Кодька: от дождя платок еще лучше будет.

— Ведь дождь-то чистый, — начал было — пояснять свою мысль Кодька, но в это мгновение грохнул такой невероятной силы гром, что, казалось, весь мир провалился в тартарары. Все мы трое, как подкошенные, повалились на пол.

— Господи спаси! — бормотал Кодька, не вставая. — Господи спаси!.. Закрывайте двери!.. Закрывайте скорей!..

Но никто из нас не пошевельнулся. Все мы лежали с закрытыми глазами.

— Сашка, закрывай!

Я приподнялся, чтобы захлопнуть дверь, но, выглянув во двор, радостно вскрикнул;

— Ура-а!.. Дождик перестал!..

Туча с глухим рокотом мчалась куда-то на запад. Сквозь провалы ее свисали снопы солнечных лучей. Дождь затихал. Лишь редкие крупные капли, срываясь с крыши, падали во вспененные лужи…

Засучив штанишки до колен, мальчишки с радостными криками бегали по лужам…

Мы снова собрались у своего боевого корабля.

Засветило чисто вымытое дождем солнце. Ярко вспыхнули на ветвях капли. Пенясь и пузырясь, сбегали к воротам ручьи…

Кодька, уже забыв о своих недавних страхах, лихо вспрыгнув на капитанский мостик, властно скомандовал:

— По местам!

Но его на этот раз никто не послушал. Играть в моряков уже не хотелось: лучше было побегать по лужам. Лишь один Коля взобрался на корабль и печально рассматривал намокший материн платок. С платка, как кровь, стекали красные капли. Мальчик хотел снять его с мачты, но Кодька сказал:

— Нехай висит. Подсохнет, тогда возьмешь.

Коля вздохнул и отошел.

Вечером нам из правления принесли телеграмму. Дядя Никодим извещал нас о том, что завтра приезжает.

Людмила заставила Машу в ночь перемыть полы в комнатах, а сама заквасила тесто для пирожков и сдобных булочек…

Я лег спать взволнованный. Долго не мог заснуть, все раздумывал над тем, как лучше встретить дядю: выйти ли с ребятами за станицу, и там, выстроившись в шеренгу, ждать его появления или, может быть, привести в порядок корабль и, как только дядя покажется в воротах, с криками «ура» салютовать из всех пушек…

Приезд дяди

Птичья болтовня, ворвавшаяся в распахнутое окно, разбудила меня. Я открыл глаза и осмотрелся. Было уже довольно поздно. Я вскочил с постели и, торопливо одевшись и умывшись, выбежал во двор, намереваясь быстрее собрать своих друзей, чтобы встретить дядю Никодима. Но сделать этого не успел: на улице послышался стук колес.

— Вот у этих ворот остановись, — услышал я голос дяди.

Я растерялся, не зная, что же делать. Планы встречи ломались. Я побежал к своему кораблю, взобрался на капитанский мостик, схватил палку и старое ведро, которое мы использовали для пушечной стрельбы, и замер в ожидании.

Вот в воротах показалась статная фигура дяди. Я загремел палкой по ведру: «бух-бах!..»

— Ура-а!.. Ура-а!..

Дядя недоумевающе взглянул на меня, а потом сразу же догадался, в чем дело.

— А-а, — весело рассмеялся он. — Это ты меня, малыш, встречаешь пушечной пальбой?.. Молодец! — Спасибо!.. За это ты от меня получишь соответствующую награду…

Я с еще большим усердием забарабанил по ведру.

— Ура-а!.. — кричал я. — Ура-а!..

Дядя, смеясь, поставил у крыльца объемистый чемодан, направился ко мне.

— Отставить, капитан! — сказал он. — Спасибо за службу!.. Иди ко мне.

Бросив палку и ведро, я кинулся к нему.

— Дядечка, милый!

Дядя Никодим сгреб меня в объятия и расцеловал.

— Это что же у тебя, дредноут? — кивнул он на мой корабль.

Я не успел ответить. Во двор вошел сам станичный атаман. Я намеревался было удрать, но так испугался его, что ноги мне не повиновались.

— С приездом, Никодим Дмитриевич! — ощерившись в улыбке, приветствовал атаман дядю.

— Здравствуйте, Павлин Алексеевич, — сердечно пожал ему руку дядя. — Как ваше самочувствие?

— Да не буду бога гневить, — самодовольно погладил свою бороду атаман. — Самочувствие неплохое… Не могу пожаловаться… Надолго к нам, Никодим Дмитриевич?..

— Недельки две, вероятно, побуду у вас. А если понравится и не будете прогонять, то поживу и побольше.

— Ну, что вы, — ухмыльнулся атаман. — Зачем же нам вас прогонять?.. Живите себе на здоровье… Вот хозяина-то не застали, уехал…

Минуты две еще атаман проговорил с дядей, а потом собрался уходить.

— Это я шел мимо, — сказал он, — да увидел вас. Дай, думаю, поздравлю с приездом.

— Спасибо! — поблагодарил дядя.

Вдруг взгляд атамана остановился на алом флаге нашего корабля.

— Что это? — спросил он, багровея.

— Это мой племянник устроил себе корабль, — пояснил дядя. — И вот на нем он меня встречал сегодня.

— Нет, вот это! — показал пальцем атаман на платок.

— Это, очевидно, флаг, — засмеялся дядя.

— Тут, Никодим Дмитриевич, ничего нет смешного, — обрезал его атаман. — Наоборот, все это печально…

Он взобрался на корабль и попытался сорвать злополучный платок с мачты. Но Кодька прикрепил его довольно прочно. Атаман с яростью начал рвать платок, раздирая его на клочья. Дядя насмешливо смотрел на него и молчал.

— Кто тебя научил вывесить эту тряпку, а? — грозно спросил меня атаман.

Я, потупив глаза в землю, молчал.

— Ну, говори ж! — прикрикнул он. — Я знаю, это отцовские штучки… Говорят, яблоко от яблони недалеко катится…

Я заплакал. Но, заметив, что в щели забора появился десяток серых, голубых, карих глаз моих приятелей, я притих. Мне было стыдно перед ними за свои слезы.

Дядя Никодим взял меня за руку и сочувственно пожал.

— Да пустяки это, Павлин Алексеевич, — сказал он, — Ну разве ребенок понимал, что значит красный флаг?

— Не защищайте, Никодим Дмитриевич, — распаленно сказал атаман. — Все они понимают…

Может быть, все бы на этом и закончилось, но в это мгновение в воротах появились плачущий Коля Самойлов с матерью. Лицо у нее было злое, расстроенное.

— Где платок? — не обращая ни на кого внимания, кричала она.

— Вот тут он висел, — указал Коля на мачту, обливаясь слезами. — А зараз не знаю, иде…

Атаман внимательно смотрел на них.

— Это твой, Аксинья? — показал он клочки платка казачке.

— Ай, боже мой! — простонала женщина. — Мой… Кто ж его

так изодрал?.. Один-единственный платочек и был у меня, — заплакала она. — Господи!.. Берегла, как христово яичко.

— Значит, твой? — злорадно проговорил атаман.

— Мой, мой, — закивала головой казачка. — Эти дьяволята, должно, поизорвали его… Еще в приданое мать покупала.

— Так как же он, Аксинья, сюда попал, а? — допрашивал атаман строго.

— А вот этот дьяволенок, — дала она подзатыльника своему сынишке, — из сундука стащил.

— Почему он додумался именно красный платок стащить, а? — ехидно спросил атаман. — Почему, а?..

— А я уж не знаю, Павлин Алексеевич, — растерялась женщина, почуяв в вопросе атамана какую-то каверзу. — Потому, должно, что в сундуке он был единственный… Больше у меня нет платков… Глупый дитенок, вот и стащил…

— Нет, не скажи, Аксинья, он не глупый. Его кто-то научил понимать, что красный цвет — революционный… Вот видите, Никодим Дмитриевич, — обратился атаман к дяде, — и сюда эта зараза проникает.

Дядя усмехнулся и пожал плечами. Я понял, что он не хочет спорить с атаманом.

— По глупости это он, господин атаман, — проговорила казачка, уже, по-видимому, раскаявшаяся в том, что она сюда пришла и влипла в эту историю. — По глупости.

— Сама ты по глупости говоришь, Аксинья, — продолжал отчитывать атаман бедную женщину. — Я знаю твоего Михаила. Он ведет при ребятишках подлые разговорчики. А они, эти маленькие негодяи, на ус себе наматывают. Отлично они понимают, что значит красный флаг… Сегодня же об этом сообщу заседателю [3]. Он разберется. Ишь ведь, тоже мне, революционеры.

— Да что вы, Павлин Алексеевич! — всплеснула руками казачка. — Какие они там рюлицинеры… А что касаемо моего Михаила, то он про это ничего не ведает. Вы уж его сюда не замешивайте… Вот я ему расскажу, как Колька стащил платок да сгубил его, так он с него живого кожу спустит.

После этого случая я охладел к дяде Никодиму. Мне показалось странным его равнодушие к тому происшествию, которое случилось на его глазах. Такой всесильный — с блестящими погонами, с золотыми пуговицами, с кортиком — и вдруг испугался атамана, не заступился за Колю.

Дядя это заметил. Он видел, что я стал его чуждаться, избегал. Он старался наладить наши отношения.

Как и всегда в свои приезды, он и в этот раз привез мне и

Маше подарки. Сестре моей он подарил несколько книг с красочными картинками, мне же он привез двухтрубный пароход с заводом.

Пароход был чудесный. Если его, например, завести ключом, то он мог пробежать на своих колесиках целый круг по комнате.

Игрушка эта мне очень понравилась, но я сделал вид, что совершенно равнодушен к ней. Я поставил пароход на комод и при людях не только к нему не притрагивался, но даже не смотрел в его сторону. Но стоило только мне остаться в комнате одному, как я тотчас же бросался к новой игрушке и с наслаждением предавался игре с ней.

Однажды я так заигрался, что забыл обо всем на свете… Я заводил пароход и пускал его по полу. Погромыхивая колесиками, он плавно кружил по комнате, а я бегал за ним и кричал:

— Ту-ту!.. Ту-ту!..

— Ах ты, карапуз! — весело захохотал дядя, неожиданно появляясь в комнате. — Попался!.. Вот ты какой, оказывается. Обманывал меня. Пароходик-то все-таки тебе нравится, да?.. Нравится ведь?.. Ну, что же молчишь?..

Опустив глаза, я, красный от смущения, молчал.

Дядя сел на стул и притянул меня к себе.

— А ну, иди-ка сюда. Ты уже стал большой, давай с тобой поговорим по-серьезному. Ты меня должен понять.

Я молчал, понурив голову.

— Подними голову, — взял меня за подбородок дядя. — Смотри мне в глаза. Ну!..

Я взглянул на него, а потом опять опустил глаза.

— Нет! — сказал дядя. — Так не годится!.. Нам с тобой надо объясниться. Ты за что на меня обиделся?

Я молчал.

— Ну?

— За то, — прошептал я, — что ты не заступился за Колю и его мать… Ведь Коля не виноват, — заговорил я громко. — Мы сами послали его за платком. Коля не хотел брать из сундука платок, а Кодька велел, потому что он капитан. А ведь Кодька-то какой! Попробуй не послушайся его — морду набьет…

Дядя захохотал.

— Правильно. Приказы капитана надо выполнять… Но не всегда… Если капитан ваш что-то нехорошее приказывает, можно его приказ и не выполнять… А что касается «морду набьет», так ведь вас много, а он один. Одного вы его всегда одолеете. Глупыш.

Дядя приласкал меня, а потом серьезно сказал:

— Слушай меня, родной. Я не стал ничего говорить атаману потому, что не хотел вмешиваться. Если бы я стал защищать Колю и его мать, то атаман и мне мог бы сделать неприятность. А сейчас это может повредить моей службе. Мое начальство и так считает, что я революционно настроен… Понял ты меня?

— Понял, — кивнул я.

Мы помирились.

В это мгновение в комнату вошла Людмила.

— Пожалуйте, Никодим Дмитриевич, обедать, — сказала она.

* * *

Вначале дядя Никодим у нас скучал. Он писал кому-то письма, читал книги, гулял со мной по станице. Отношения с Людмилой у него были суховатые, деловые. Но постепенно он к ней привык.

До дядиного приезда мы питались очень плохо, жили впроголодь. Людмила варила нам жиденький суп или постный борщ, а на второе — неизменный картофель в мундире с огурцами или пшенную кашу с кислым молоком.

Целыми днями лежала Людмила на кровати, неряшливая, нечесанная, читала книги.

С приездом же дяди все, как по волшебству, изменилось. В доме все сияло. Да и сама Людмила стала неузнаваемой. Она опрятно одевалась, даже подкрашивалась и пудрилась.

Мурлыча песенки, она не отходила от жарко пылавшей печки, готовила разнообразные кушанья. Теперь к обеду у нас бывали вкусные ароматные борщи, жаркое с подливами, блинчики, вареники в сметане, сладкие кисели и компоты… Когда хотела, Людмила умела готовить. Конечно, большую роль тут играли дядины деньги — он давал ей на продукты. Людмила старалась угодить ему.

Иногда она даже покупала вина и угощала дядю. Он не отказывался. Они усаживались в горнице и пили.

Дядя брал Людмилину гитару и звучным баритоном пел:

Ты говорила вчера,
Тут, ровно в полночь в саду,
Мы проведем до утра
Время в любовном чаду…

Людмила приятным тонким голосом подхватывала:.

Сердцем летел я к тебе,
Но мой рассудок восстал.
«Полно! Не верь ты себе,—
Он мне все время шептал. —
Пройдет любви угар,
Развеются мечты,
Исчезнет прелести дар,
Разлюбишь его ты…»

Вечерами к дяде приходили какие-то мужчины и женщины. Мне особенно запомнился Кудряш — молодой, высокого роста, красивый казак, с большим белесым чубом.

Имени его я не знал. Но все называли его Кудряшом, наверно, потому, что его голова была покрыта мелкими белокурыми завитушками.

Мне понравился этот веселый, щеголеватый, румяный казак. Белая полотняная рубашка с цветной вышивкой на вороте, обшлагах и подоле ловко облегала его грудь и крутые плечи. Талию перехватывал лакированный казачий ремень с серебряным набором из ромбиков и сердечек. Брюки он носил широкие, синего сукна, с красными лампасами, ходил всегда прямо, пружинистой походкой, поскрипывая лакированными сапогами. Большой он был забавник, шутник и плясун, этот Кудряш.

Я предполагал, что именно он когда-то сунул отцу в сверток вместо пампушек старую калошу. Но я на него не сердился. Да на него и нельзя было сердиться.

Приятно бывало смотреть, как Кудряш, сверкая лаковыми голенищами сапог, ловко танцевал с Людмилой, выбивая каблуками дробь…

Когда горница дополна набивалась гостями, мы с Машей садились на кровати в кухне и прислушивались к веселым голосам и смеху.

Мимо нас мелькали выходившие во двор и возвращавшиеся обратно женщины и мужчины. Они весело смеялись над чем-то, тихо переговаривались. К нам доносились из сеней затаенные вздохи, звуки поцелуев…

Подходил Кудряш, совал нам в руки пряники и конфеты.

— Эх, вы, сиротинушки! — говорил он, наклоняясь и щекоча наши щеки своими пушистыми, мягкими, пахнущими фиксатуаром усами. — Болезные вы мои… Сидят себе помалкивают… Эх-ха!.. Ну, что вы молчите-то?

— А что же мы будем говорить, дядя Кудряш? — спрашивал я.

— Да пошли бы в горницу, посмотрели, как там пляшут, песни б послушали…

— А нам отсюда слышно.

— Ты умеешь в айданчики[4] играть? — говорил он.

— Умею, но их у меня нету.

— Я тебе в следующий раз принесу.

— Не принесешь: забудешь.

— Ей-богу, принесу, — обещал Кудряш и запевал:

Вышел случай очень странный:
Шел парнишка, нес айданы:
«Чик и бук!.. Тала! Арца!
Лампа-дрица! Ца-ца!..»

— Ловко? — хохотал Кудряш и уходил.

Подобные вечеринки обычно тянулись долго, почти до самого рассвета. Мы с Машей, не дождавшись конца, засыпали.

Когда мы просыпались утром, то обнаруживали, что в комнатах всюду валяются окурки, жженые спички, — бумажки от конфет, огрызки пряников и яблок. В горнице, где спит дядя, стоит зеленый мрак от табачного дыма. На столе — страшный беспорядок.

Я убегал во двор, на свой корабль, а Маша принималась за уборку. И когда поднималась с постели Людмила, в комнатах уже все было прибрано, полы вымыты.

— Молодец, Маша! — скупо бросала Людмила, — Молодец! Так и надо. Будь хозяйкой, приучайся… Тебе ведь не на кого надеяться.

Напрасно она это говорила. Девочка и без нее все отлично понимала.

Изредка отец писал нам письма, присылал деньги. Но когда он приедет домой, об этом он не сообщал.

Поездка в монастырь

Дядя Никодим уже несколько дней собирался поехать в Усть-Медведицкий монастырь навестить свою сестру Христофору, да все откладывал поездку, — все что-нибудь его задерживало. Но вот наконец он все-таки собрался.

— Ну, завтра еду, — заявил он.

— И я поеду с тобой, — сказал я. — Возьми меня, дядя.

— Тебя? Да что это ты вздумал?..

— Ты свою сестру хочешь проведать, а я свою…

Дядя засмеялся.

— Да, это ты прав, — сказал он. — Сестер надо проведывать. Значит, ты по Олечке соскучился?

— Вот еще, — с пренебрежением промолвил я. — Я никогда ни по ком не скучаю… Просто мне хочется поехать. Возьми!

— А если не соскучился, так зачем тебе ехать? — хитрил дядя, лукаво посматривая на меня. — Я вот соскучился по своей сестре, поэтому и еду к ней.

— Ну, возьми ж, — чуть не со слезами просил я его. — Я ж хочу поехать.

— Ну, если хочешь, — засмеялся дядя, — тогда другое дело. Ладно. Пожалуй, поедем. Подготовься. Только не проспи. Если проспишь — не возьму.

— А я всю ночь не буду спать, — храбро заявил я.

Ночью я и в самом деле спал плохо, боялся, что дядя не разбудит меня. Я то и дело просыпался и смотрел в окно: не рассветает ли? А под утро крепко заснул.

— Капитан! — толкал меня в бок дядя. — А, капитан!.. Отплываем. Слышишь гудок?

Я как угорелый вскочил с кровати и проворно стал одеваться.

— Ты бы все-таки умылся, а? — посоветовал мне дядя. — Освежись. Бодрее будешь чувствовать себя.

Я наскоро умылся и, захватив сверток с пароходом, который я брал с собой, чтоб показать Оле, направился на улицу, где нас ждала подвода.

— Что это у тебя? — поинтересовался дядя.

— Пароход.

— Хочешь подарить Олечке?

— Нет, — покачал я отрицательно головой, — покажу лишь.

— Покажешь. А что ж ты ей в подарок повезешь?

Я опешил. Действительно, что же я повезу в подарок своей маленькой сестричке?.. Я задумался. Везти мне ей было нечего, а пароход отдавать жалко.

— Ничего у меня нету, — пролепетал я уныло.

— Ну, вот, — издевался надо мной дядя, — я-то своей сестре везу подарок, а ты своей — нет, так едешь. Эх, ты!

Я уже готов был заплакать, но дядя утешил меня:

— Ничего. Не беспокойся. У меня есть подарок и для Оли. Мы с тобой вместе его подарим. Скажем, что это наш общий подарок. Ладно?

— Ладно, — согласился я.

На улице, у ворот, нас поджидала парная подвода. Казак-подводчик, сидя в телеге, покуривал. Я его сразу же узнал. Это был тот самый казак, который в прошлый раз отвозил тетку Христофору и Оленьку в монастырь.

Я вскарабкался в телегу и утонул в ароматном сене. Из ворот выскочила Маша и сунула мне узелок.

— Передай Олечке, — сказала она. — Да расцелуй ее за меня хорошенько.

Я промолчал. Чудная эта Маша, как будто она не знает, что целоваться я терпеть не могу.

Было свежее раннее утро. На базах призывно мычала скотина, просясь на пастбище… Кое-где дымились трубы казачьих хат. Причудливые завитушки дыма вязью поднимались к небу…

Когда мы въехали на мост, телега наша так громко загрохотала колесами по доскам, что утки и гуси шарахнулись от моста как ошалелые.

За станицей казаки распахивали поле под зябь. Маленькие казачата, почти такие же, как я, погоняли быков кнутами или, сидя верхом на лошадях, волочили бороны по пашне.

Наше путешествие было полно разнообразных развлечений. Через дорогу перебегали смешные, ожиревшие за лето суслики. А иногда, встряхивая длинными ушами, прыгали зайцы. Один раз мы даже увидели залегшую в придорожном кусте огненно-рыжую лису. Схватив ружье, которое он взял в дорогу у двоюродного своего брата, Кодькиного отца, дядя соскочил с телеги и выстрелил в нее. Лиса, очумело метнув хвостом, исчезла в кустах. Испуганные выстрелом лошади рванули в намет.

— Тпру-у!.. — орал подводчик, натянув вожжи. — Ошалели!

С полверсты, скакали лошади крупным галопом, пока успокоились. Дядя, запыхавшись, догнал нас, ввалился в телегу.

— У-у, устал! — сказал он, вытирая платком вспотевший лоб.

Вечером мы остановились у леска на ночлег. Стреножив лошадей, подводчик пустил их пастись, а сам разжег костер и стал в чайнике кипятить воду.

Мы долго сидели у костра, пили чай. Подводчик рассказывал страшные истории о ведьмах. Я, прижавшись к дяде, слушал

казака, а сам озирался: не подкрадывается ли какая-нибудь из них ко мне?.. А потом так, на коленях дяди, и уснул.

…На другое утро мы снова отправились в путь. К вечеру дядя, указывая на далекие, заплывающие синеватой дымкой горы, сказал мне:

— Ну, вон и монастырь показался.

Но сколько я ни всматривался в горы, ничего не видел.

— Не вижу, дядя. Где?

— А вон, видишь, главы церковные на солнце горят.

Что-то действительно там, на горизонте, сверкало, как стекляшки в солнечных лучах.

Мы подъезжали к горам все ближе, и по мере приближения все отчетливее и яснее из голубой мглы вырисовывался монастырь, поблескивающий на солнце своими золотыми главами.

А когда мы поднялись на пригорок, то с него стала видна панорама не только монастырской церкви, как древний рыцарский замок, торчавшей на холме, но и всего подворья с нарядными, как игрушка, беленькими домиками, сбегавшими с горки к Дону, величаво проносившему свои воды мимо монастыря.

Я волновался. Мне хотелось поскорее увидеть Оленьку. Очень уж я соскучился по ней.

Мы подъехали к Дону, чтобы переправиться на другую сторону. Паром был на том берегу. Дожидаясь, пока он придет за нами, дядя стал мне рассказывать:

— Вот видишь, Саша, эту реку… Река называется Доном. «Тихий Дон» — так она величается в песнях и преданиях. Река пересекает всю Донскую область, течет мимо цветущих, утопающих в садах станиц и хуторов. Омывает своими водами станицу Старочеркасскую, бывшую столицу донских казаков. В этой станице до сих пор сохранились реликвии былой славы донского казачества. На станичной площади там лежат огромные ворота от турецкой крепости Азова и такие же коромысла от городских весов. Они весят десятки пудов. И ворота и весы имеют свою историю. В 1637 году три-четыре тысячи донских казаков во главе с атаманом Михаилом Татариновым штурмом захватили у турок крепость и засели в ней. В течение пяти лет они держали крепость Азов в своих руках, отбиваясь от стотысячной армии. И никогда казаки не сдали бы крепость туркам, если б не царь Михаил Федорович. Не желая ссориться с турецким султаном, он приказал казакам сдать Азов туркам. Не хотелось казакам сдавать крепость злейшим врагам своим, но царского указа ослушаться не могли. Отдали они крепость туркам, но, в знак того, что они пять

лет владели ею, казаки чуть ли не на своих плечах приволокли в Старочеркасскую из Азова крепостные ворота и городские весы.

Много, Саша, в Старочеркасской такого, чем мы, донские казаки, должны гордиться. Там жили знаменитые люди, прославленные казачьи полководцы — Матвей Иванович Платов, генералы Бакланов, Денисов, дослужившиеся от рядовых казаков до генералов… До сих пор там сохранился дом, в котором жил и кончил жизнь самоубийством донской народный герой Кондрат Булавин, поднявший бедных казаков и крепостных крестьян против помещиков и феодалов при Петре Первом.

— А потом, дядя, куда течет Дон?

— Потом он пробегает мимо большого, шумного, торгового города Ростова… Так он и называется: Ростов-на-Дону. Город этот хороший, веселый… Дальше Дон бежит мимо города Азова, о котором я рассказывал сейчас, и впадает в Азовское море. В то самое море, на берегу которого раскинулся город Мариуполь, где живет твой дядя Иринарх. Ты его знаешь?

— Знаю, но никогда не видел.

— Ну, вот подходит наш паром. Пойдем.

Паром — два больших баркаса с дощатым настилом на них — причалил к берегу. Подводчик ввел на него лошадей. Вслед за подводой взошли на паром и мы с дядей.

— Поехали! — крикнул старый бородатый паромщик и отвязал веревку от причала.

Паромщик и наш подводчик взяли в руки палки с прорезями на концах и, втыкая их в стальной трос, переброшенный с одного берега на другой, медленно потянули паром.

Сидя на телеге, я с восхищением оглядывался вокруг. Никогда еще в своей жизни я не видел подобного зрелища. Паром медленно двигался по быстрой, сверкающей на солнце реке.

Когда мы очутились на середине реки, сильное течение сбило паром вниз. Трос, натянувшись, скрипел и звенел, как струна. Я с замиранием сердца ждал: а что вдруг он лопнет, и тогда мы поплывем вниз по течению мимо тех цветущих станиц, хуторов и городов, о которых мне только что рассказывал дядя…

По правде сказать, это было заманчиво и привлекательно. Я закрывал глаза, и мне представлялось, что мы плывем мимо станиц и хуторов и попадаем в море… А там нас вылавливают матросы с дядиного судна… Вот замечательно было бы!

Замечтавшись, я даже не заметил, что мы уже подплываем к берегу. Паром мягко стукнулся о причал. Подводчик свел лошадей на берег. Дядя расплатился с паромщиком, и мы поехали к монастырскому подворью.

На крылечке одного беленького чистенького домика я еще

издали заметил маленькую девочку в красном платьице.

«Это Олечка!» — подумал я взволнованно, едва сдерживаясь, чтобы не спрыгнуть с телеги и не помчаться к ней. Потом мне показалось, что это вовсе не Оля, и я отвернулся.

Но подводчик, знавший, где жила Христофора, ехал именно к тому дому, на крылечке которого сидела девочка в красном платьице..

Когда мы подъехали совсем близко, маленькая девочка вдруг бросилась ко мне с радостным криком:

— Сашенька!.. Сашенька приехал!..

Подбежав ко мне, сестренка протянула свои ручонки, я отстранился от нее. Но, поняв, что этим я обидел Олю, я расплакался. Заплакала и Оля.

Дядя рассмеялся.

— Вот так встреча!.. Чего же вы плачете-то? Тоже мне, моряк, — похлопал он меня по спине. — Оленька, иди, поцелуй меня.

Но девочка отчужденно и застенчиво посмотрела на дядю и не двинулась с места. Она его уже забыла. Тогда дядя Никодим достал из саквояжа куклу с закрывающимися глазами. При виде ее у Оли заискрились глазенки, и она сразу же потянулась к ней.

— Сначала обними и поцелуй меня, — потребовал дядя, — тогда куклу дам.

Она поцеловала его.

До этого я никогда еще не бывал у своей тетушки. Переступая порог «кельи», так называлась ее квартира, я с робостью оглядывался вокруг, ожидая, что сейчас увижу какую-нибудь мрачную каменную нору, в которой живет моя тетушка с Оленькой. Мне почему-то представлялось, что монашки живут суровой жизнью, спят на жестких топчанах и едят одни сухари с водой. Но оказалось все не так, как я думал.

Келья Христофоры состояла из двух светлых комнат, сверкавших безукоризненной чистотой. Крашеные полы были натерты воском и сияли, как начищенные пятаки. Столики и тумбочки накрыты белоснежными кокетливыми скатерками. Кровати застланы красивыми одеялами. На взбитые пуховые подушки наброшены накидки, расшитые гладью искусной работы, выполненные руками мастериц-монашек.

Передний угол, как иконостас, сверкал золочеными ризами икон старинного письма. Слабо мерцавшая граненая лампада бросала отсветы на бархатные занавеси с позументными крестами.

Всюду — изобилие цветов в горшочках и вазонах.

Тетушка не выразила особой радости по поводу приезда

брата и племянника.

— Ты вот что, — предупредила она меня, — не балуйся здесь…

А я вовсе и не собирался баловаться. С чего она взяла, что я буду шалить? Но после ее предупреждения я притих.

С каким волнением ехал я в монастырь, а сейчас вся прелесть от встречи с маленькой сестричкой пропала. Бедная Оленька, не сладко, видно, ей здесь живется.

Я заметил, что девочка вела себя странно: она не по-детски была тиха, по комнатам ходила как тень — неслышно, едва ступая, то и дело вопросительно поглядывая на строгую тетушку, как бы спрашивая взглядом: «Так ли я поступаю?..»

На душе у меня стало так горько, что захотелось сейчас же уехать отсюда.

— Дядя, — спросил я его, — а скоро мы поедем домой?

— Что-о? — изумился тот. — Ты что, друг, а?.. Или тебя плохо приняли здесь?..

У тетушки по лицу заходили красные пятна. Сузившимися, злыми глазами она посмотрела на меня.

— Значит, не понравилось у нас?

Я промолчал. Сестренка кинулась ко мне, прижалась.

— Не пущу, Саша, не пущу!

По случаю нашего приезда тетушка послала молодую свою послушницу Памфамиру в монастырскую лавку за сладким церковным вином. Сама же принялась готовить обед…

Мы гостили у Христофоры два дня. За это время мы с Олей облазили все монастырские горы, рвали шиповник, в изобилии растущий здесь, собирали чертовы пальцы — остроконечные отшлифованные камешки.

На третий день мы уехали.

Маша уходит из дому

После нашего возвращения из Усть-Медведицкой вечеринки в доме возобновились. К нам приходили молодые учителя, учительницы, станичные кавалеры и барышни. Как-то даже затащили дьякона. Напоили его и заставили плясать барыню. Душой таких вечеринок была «графиня» Шура Моругова, красивая черноокая женщина лет двадцати пяти, дочь мелкого станичного лавочника.

Она прекрасно играла на гитаре, хорошо пела цыганские романсы. Во время ее пения дядя Никодим искрящимися влюбленными глазами смотрел на нее.

Странно сложилась судьба Шуры. Несколько лет тому назад она убежала от своих родных в Петербург. Там ей пришлось тяжело, нигде не могла устроиться на работу… А потом ей все-таки удалось поступить в какой-то кабачок певичкой или танцовщицей. В кабачке с ней случайно встретился какой-то всамделишний граф и влюбился в нее. Так влюбился, что даже женился на ней… И теперь эта графиня приезжала в станицу с таким шиком, словно она и в самом деле была прирожденной аристократкой.

Иногда Шура пела вместе с дядей Никодимом. Получалось у них хорошо. Но особенно ловко они плясали…

* * *

Однажды Маша обнаружила пропажу большого никелированного самовара. Она подумала, что, может быть, Людмила дала его соседям. Но та заявила, что самовара никому не давала и не знает, где он. После этого девочка проверила комод и выяснила, что, кроме самовара, исчезли две вязаные скатерти и кружевные накидки на подушки.

Маша сказала Людмиле и об этой пропаже.

— Да неужели? — всполошилась та. — Что ты говоришь?.. Неужто украли… Какое несчастье!..

Поохав и повздыхав, Людмила не приняла никаких мер к розыску пропавших вещей. Мы решили, что это дело ее рук. Маша рассказала об этом дяде.

— Ну что ты, Машенька, — удивился дядя. — Да разве можно подумать на Людмилу Андреевну, чтоб она взяла? Она порядочная женщина. Напрасно ты ее подозреваешь. Кто-нибудь другой украл, наверно. Знаешь, Маша, я вот на днях уезжаю от

вас, вы останетесь одни. Отец неизвестно когда еще вернется. Поэтому я не советую вам ссориться с Людмилой Андреевной. Она может обидеться на тебя — и уйдет…

— Ну и пусть уходит, — проворчала Маша. — Без нее обойдемся. Без нее нам лучше будет. Что я, дядечка, не сумею обед, что ли, сварить?.. А по дому она все равно ничего не делает… Я и полы мою, и стираю. Дядя, пусть она уходит от нас! — взмолилась девочка. — Ну пусть уходит!..

— Да что ты, глупая! — напустился на нее дядя. — Разве можно вас, детей, одних без присмотра оставить?.. Скверная ты девочка! Вместо благодарности наговариваешь на женщину черт знает что… Подумай, Маша.

Девочка заплакала.

А потом мы приводили дядю и остались одни.

Может быть, дядя перед своим отъездом сказал Людмиле о подозрениях, которые ему высказала Маша, а быть может, Людмила и сама догадалась об этом. Не успел он выехать за ворота, как она набросилась на сестру:

— Жаловаться на меня?.. Ну, ладно, я тебе покажу, лентяйка. Я с тобой церемониться не буду. Я тебя вышколю, будешь шелковая. Какая нахалка!

— Вы не имеете права на меня кричать, — сквозь слезы сказала Маша. — На меня даже мама никогда не кричала. А вы для меня совершенно чужая женщина, а поэтому и не кричите.

— Что-о?.. — взвизгнула Людмила. — Грубить мне! Дрянь! Вон отсюда!..

— Это не ваш дом, а наш, — ,дрожащим голосом проговорила сестра. — Лучше вы уходите отсюда…

Глаза у Людмилы гневно засверкали.

— Ах, так ты вот как? — завопила она. Подбежав к Маше, она ударила ее по щеке.

Побледнев, девочка торопливо оделась и молча вышла из комнаты.

В окна глядела темная ночь, по стеклу барабанил дождь. Мне было жаль сестру. Ну куда она пошла в такую непогоду?

— Ложись спать! — прикрикнула Людмила. Я послушно разделся и юркнул под одеяло. Но разве я мог заснуть, если Маши не было дома? Где она теперь?..

Долго я ворочался на кровати, а потом стал засыпать. Вдруг раздался резкий стук в дверь. Людмила, еще не ложившаяся в постель, накинула на себя шаль, вышла в коридор.

— Кто там? — спросила она.

— Откройте! — пробасил властный голос. — Это атаман.

Я похолодел от страха, укрылся с головой одеялом и притих,

словно меня и не было в комнате.

— А, атаман? — умиленно запела Людмила. — Сейчас открою. Пожалуйста!.. Проходите в комнату.

Сбросив с себя мокрый брезентовый плащ, атаман вошел в кухню, Маша, вся вымокшая, дрожащая от холода, вошла вслед за ним.

Проделав в одеяле щелку, я наблюдал за тем, что делалось в комнате.

— Ну, здравствуйте! — прогудел атаман, останавливаясь у порога.

— Здравствуйте, здравствуйте, Павлин Алексеевич! — лебезила Людмила. — Проходите, пожалуйста, к столу… Или лучше всего в горницу.

— Спасибо, — ответил атаман. — Посидим и тут.

Он тяжело протопал к столу и сел на стул.

— Что это у вас тут происходит, любезная, а? — посмотрел атаман на Людмилу. — Зачем, любезная, обижаете сироту?

— Боже мой! — закатила глаза к небу Людмила. — Я обижаю?.. Да разве ж можно обижать сирот. Бог меня накажет… Да я всю душу свою на них кладу. Откуда вы взяли, господин атаман, что я обижаю сироток?..

Облокотившись на стол, атаман сидел массивный, грузный, как монумент. Был он, как и в прошлый раз, в синем мундире с серебряными пуговицами, но без шашки. Слушая Людмилу, он выставил вперед свою вымокшую на дожде бороду. С нее стекали на пол капли. Это рассмешило меня. Я хихикнул. Атаман взглянул в мою сторону. Я притих.

— Это все так, — промолвил атаман. — А вы все-таки, любезная, скажите, почему вы ссоритесь с… — он глянул на Машу, — с барышней, а?

— Я сейчас обо всем расскажу, — метнулась Людмила в горницу. — Сию минуточку.

— Раздевайся, барышня, — сказал атаман Маше. — Не бойся. Я не допущу безобразия.

Сестра моя скинула с себя мокрую жакетку и понесла ее в коридор.

Людмила все не появлялась из горницы.

— Что ж вы там запропастились-то? — прогудел атаман.

— Иду! — отозвалась наша экономка. — Иду!

И она действительно сейчас же выпорхнула из горницы в новом розовом платье.

— Может быть, вы все-таки пройдете в горницу? — кокетливо прихорашиваясь и улыбаясь, снова пригласила она атамана.

— Нет, нет! — отмахнулся тот. — Благодарствую. Посижу и

тут. Мне, собственно, и некогда рассиживаться-то. Дела ждут… Вы вот расскажите мне, что у вас за скандал вышел?

— Сейчас расскажу, — засуетилась Людмила у стола. Она проворно расстелила белую скатерть, поставила графинчик с водкой, настоенной на лимонных корках, принесла из кладовой сало, огурчики.

Атаман с удивлением поглядывал на нее.

— Для кого это, собственно, вы стараетесь, а?

— Для вас, Павлин Алексеевич, — пропела Людмила. — Для вас. Вы ведь у нас такой редкий гость…

— Напрасно, напрасно, — сказал атаман, глядя замаслившимися глазами на графинчик.

— Да что там — напрасно, Павлин Алексеевич. Рюмочку ведь можно?

— Ну, разве что рюмочку… Хе-хе-хе!..

И вскоре Людмила, сидя с атаманом за столом, рассказывала ему:

— Поверите ли, милый Павлин Алексеевич, я ведь дама благородная, не из простой семьи. Жила я вместо гувернантки у генерала Свечникова… Знаете такого?..

Атаман молча кивал головой и жевал сало.

— Была я экономкой у полковника Кривина… Тоже, наверное, знаете?.. Все люди благородные, дворяне, аристократы… А сюда попала, ужас какой!.. Ведь матушка Христофора, которую я очень уважаю, не совсем правду мне сказала… Она мне сказала, что Илья Петрович художник, человек интеллигентный… Буду, дескать, я вначале экономкой, а потом… — Людмила оглянулась на нас и что-то прошептала на ухо атаману. Тот опять кивнул. — Но оказалось все не так, — продолжала щебетать Людмила. — Илья Петрович не художник, а просто… некультурный маляр… Я хотела сразу же уехать домой, да вот детей жалко стало… А она в благодарность за то, что я за ними здесь ухаживаю, на меня же жалуется вам. Никакого сладу с ней нет. Капризная, своевольная. Прямо скажу — лентяйка. Ничего не хочет делать… А грубиянка какая! Вы и представить себе не можете, — всхлипнула Людмила. — Неблагодарная…

— Успокойтесь, дорогая, — мягко пробасил атаман, — Без слез разберемся.

— Нет, Павлин Алексеевич, не могу я так… Сил моих больше нет. Уйду я от них… Меня вот приглашал воспитывать своих детей сам полковник Туроверов… Я думаю, вы знаете его… У кого я жила, те, прекрасные, достопочтенные люди, всегда меня уважали, ценили… А здесь за что я терплю? Когда уезжал Илья Петрович на работу, то прямо-таки чуть ли не со слезами умолял

меня не оставлять детей и быть им заместо родной матери. Вот я, глупая, и из сил выбиваюсь с ними. Даже деньги свои трачу на них, чтоб не голодали. Ведь Илья Петрович за все время, как уехал, только и прислал всего пятнадцать рублей. Разве же на эти деньги проживешь?

— Это-то верно, — согласился атаман. — На эти деньги роскошно не проживешь, но скромненько месяца два прожить можно… Я хоть и дальний родственник детям, но а все же родственник, как ни говори, и ответ за них перед богом несу… В случае чего, могу мучицы там али маслица отпустить… А ты, Маша, — взглянул он на сестру, — покорись Людмиле…

— Андреевне, — подсказала экономка.

— …Андреевне, — повторил атаман. — Слушайся ее… А отец приедет, тогда, как он хочет… Так вот.

Водка в графинчике была выпита. Разомлевший атаман поднялся.

— Благодарствую покорно за угощение, — поклонился он Людмиле. — Надобно идти… Помиритесь тут, не скандальте… Вот что, барышня, — покрутил пальцем атаман перед носом Маши, — чтоб без всяких тут фокусов. Поняла?.. И вы, Людмила…

— Андреевна.

— Андреевна, жалейте все-таки детишек-то.

— Да уж не беспокойтесь, Павлин Алексеевич, — сладко заулыбалась Людмила и, встав, протянула руку, намереваясь обнять Машу. — Мы с ней помиримся, все по-хорошему будет…

Маша вывернулась из-под ее руки.

— Вот видите, Павлин Алексеевич, какая она, — пожаловалась экономка. — Я хотела ее приласкать, а она…

Атаман ничего не сказал и вышел в коридор. Людмила его провожала. В коридоре они долго о чем-то разговаривали. Экономка наша повизгивала, смеялась.

— Вот тебе, пожаловалась на свою голову, — проворчала Маша, стеля себе постель на сундуке. — И атаман такая же дрянь, как и она. Увидел рюмку водки, весь разомлел. Нигде правды нет.

Наконец атаман ушел. Заперев за ним дверь, Людмила вошла в комнату возбужденная и смеющаяся.

— Ну что, взяла, гадина? — злорадно спросила она у Маши. — Вздумала атаману жаловаться. Ну и что из этого вышло?.. Атаман твой теперь у меня вот где, — подняв ногу, похлопала она себя по пятке. — Теперь я тебя, дрянь, со света сживу, так и знай… В гроб вгоню! Кому теперь будешь жаловаться?. Заседателю?.. И заседателя твоего сумею умаслить… Отцу отпишешь?.. Так знай, подлюка, отец твой в больнице

лежит, может, уже сдох… Вы в моей власти, что хочу, то и делаю…

Маша, прижавшись ко мне, плакала навзрыд.

— Милый мой братик, — шептала она, — до каких пор мы будем терпеть ее тиранства?.. Нигде правды нет… Дядя Никодим на ее стороне был, атаман тоже… Кому же теперь жаловаться?.. Завтра я, Саша, уйду к отцу. Разыщу его во что бы то ни стало… Он вправду заболел, я слышала… Но найду и больного. Все расскажу, что она над нами делает.

— Как же ты будешь папу искать? — спросил я тихо.

— Пойду на станцию, — шептала Маша. — У меня есть три рубля, куплю билет до Урюпинской, поеду к Юриным Они знают, где отец… Завтра я тихонько убегу, а ты, Саша, никому не говори, куда я уйду… Если Людмила будет допытываться, куда я делась, скажи, что не знаешь. Пусть думает, что я утопилась.

— Спите, чертенята! — сердито закричала из горницы Людмила. — Чего шепчетесь?.. Замолкните сейчас же?

Мы притихли.

* * *

На следующий день Людмила, по обыкновению, встала поздно. Молча позавтракав, она отправилась куда-то. Маша только этого и ждала. Она торопливо собрала в узелок свое платье, чулки, еще что-то по мелочи, сунула в него краюху хлеба, надела пальто.

— Ну, прощай, Саша, — поцеловала она меня. — Ничего не говори обо мне Людмиле. — Видя, что я скривился, готовый заплакать, она прижала мою голову к своей груди. — Успокойся, глупенький!.. Ведь я же как найду папу, так мы сейчас же и приедем… Жди нас. — Я печально взглянул на сестру и вздохнул.

Когда Маша вышла из дома, я подбежал к окну. Из окна я видел, как шагала по грязи моя сестра, неся в руке, маленький беленький узелок.

Сердце мое сжалось от тоски. Я как будто предчувствовал, что нескоро увижу свою сестру.

Остался я теперь совсем одиноким, осиротевшим. Единственный родной человек, согревавший мое существование своей заботой и лаской, оставил меня.

— Где Машка? — войдя в комнату, грозно спросила Людмила. — Почему она, дрянь этакая, не подмела?

Я молчал. Людмила подумала, что я сплю и, сердито поворчав, замолкла, занялась какими-то делами.

Весь день она о Маше не вспоминала, но вечером забеспокоилась.

— Где твоя сестра? — прикрикнула она на меня.

— Не знаю.

— Врешь, гаденыш! Вот я тебя нахлещу веником, так сразу скажешь.

Для убедительности, что это она не только обещает, Людмила схватила из угла веник, подошла ко мне.

— Говори, дьяволенок!

Я молчал. Я был полон решимости не выдавать сестру.

— Говори!.. Вы с Машкой всю ночь шептались. Говори, где она, не то сейчас убью.

— Не знаю, тетя. Ей-богу, не знаю!

— Не знаешь?.. Так на ж тебе, негодяй! — хлестнула она меня грязным веником по голове.

— Тетечка, родненькая, не бейте меня… Я не знаю, где Маша.

Но Людмила, разъяренная, гневная, начала хлестать меня веником.

— Говори, дьявол!.. Убью!

Упав на пол, я закрыл лицо руками и плакал в голос, но не выдавал сестры.

Людмила избила меня жестоко и бросила на кровать. Я задыхался от обиды и боли.

…Проходили дни за днями, длинные, однообразные, скучные. На дворе беспрестанно лил нудный дождь. Я с утра до поздней ночи сидел у окна, всматривался в затуманенную даль улицы и ждал, что там вот-вот появится отец с Машей. Но они не появлялись.

Катание на салазках

Мне шел восьмой год. Все мои приятели-мальчишки учились в школе: кто в первом, кто во втором, а некоторые так даже в третьем классе. Я же не учился.

Когда отец уезжал из станицы, то не сказал Людмиле, чтобы она отвела меня в школу, а сама она и не подумала этого сделать.

Днями сижу я у окна, поглядываю на конец улицы, откуда, по моему мнению, должны показаться отец и Маша, листаю старый Машин букварь и, водя пальцем по странице, шепчу:

— Ма-ма… па-па… ра-ма… ла-па…

Буквы я знаю все, а поэтому начинаю уже складывать слова.

На мгновение, увлекшись чтением, я забываю обо всем. А потом вдруг снова вспоминаю о Маше, об отце и опять пристально вглядываюсь в мглистую даль. Но там серо и пустынно.

Иногда у меня появляется страшная мысль: а что если ни Маша, ни отец не вернутся домой?.. Никогда не вернутся. И мне всю жизнь придется жить с Людмилой. Что тогда делать?.. Я холодею от ужаса и стараюсь во что бы то ни стало гнать от себя такие мысли.

Я видел, что Людмила не на шутку встревожена исчезновением Маши.

Однажды я подслушал, как она говорила дьячихе, ее приятельнице, сухопарой женщине с длинным горбатым носом:

— Поверите, милая Анфиса Харитоновна, я так сокрушаюсь по Машеньке. Понятия не имею, куда она могла исчезнуть… Сердце изболелось. Я сиротам душу отдаю. Бог видит, как я за ними ухаживаю, обмываю их, обшиваю… И как им не угождаю. Все для них. Птичьего молока только разве не могу им достать. И вот поди же, какая черная неблагодарность. Сбежала. Да уж если жива, то бог с ней, вернется домой. А вот если что-нибудь случилось, то…

— А что вы можете предполагать, Людмила Андреевна? — полюбопытствовала дьячиха.

— Да ведь бог же ее знает, — проговорила Людмила, пожав плечами. — А вдруг, — голос ее дрогнул, — утопилась. Могут меня обвинить, что не усмотрела… — Боже мой, — приложила она носовой платок к глазам, — теперь вот и терзайся от дум… Спасибо, Анфиса Харитоновна, атаман-то, Павлин Алексеевич, сам видел капризы своенравной девчонки. Он может подтвердить, что это за бестия была.

— А вы ему сообщили об исчезновении Маши-то? — спросила

дьячиха.

Людмила растерялась.

— Нет. А разве нужно?

— Да, обязательно, — воскликнула дьячиха. — Как же так!.. Умная вы женщина, а до этого не додумались.

— Да ведь немного времени-то прошло, — сказала испуганно Людмила. — Только четвертый день, как она исчезла… Все думаю, может, появится.

— А если в самом деле несчастье? — проговорила дьячиха. — Тогда вы и не распутаетесь с этим делом.

Людмила побледнела.

— Вы меня, Анфиса Харитоновна, до смерти напугали… Сейчас же пойду к атаману, заявлю…

— Пойдемте, — сказала дьячиха, поднимаясь. — Кстати, проводите меня.

Заявив атаману об исчезновении Маши, Людмила несколько успокоилась. А недели через две она и совсем забыла об этом неприятном инциденте. В нашем доме снова стали собираться веселые компании.

Участником всех этих гулянок почти всегда был Кудряш. Я радовался его появлению у нас. Кудряш был ласков со мной, как и раньше, он подходил ко мне, совал пряник или конфету и, подсаживаясь ближе, рассказывал что-нибудь смешное… Я весело смеялся, забывая обо всем.

* * *

Наступила зима, суровая, морозная, с обильными и пышными снегами. Я по-прежнему целыми днями просиживал у окна. Оттаивая дыханием ледок на стекле, я с тоской смотрел на заснеженную улицу, все поджидая отца и сестру…

Однажды на улице перед нашими окнами появилась веселая ватага ребят. Среди них были мои друзья: Кодька, Андрюша, Коля и другие. Со смехом они гонялись друг за другом, катались на салазках, барахтались в снегу, бросались снежками. Я уже давно их не видел. Они ко мне не приходили. Раз как-то зашел к нам Кодька с Колей, но это Людмиле не понравилось, и она их прогнала. Меня же Людмила не пускала на улицу: мне не в чем было выходить.

Глядя сейчас на ребят, я мысленно играл с ними вместе, хохотал до слез.

Как мне хотелось хоть часок с ними поиграть! Но это было невозможно: у меня не было ни пальто, ни валенок.

Однажды я не вытерпел. Как только перед моим окном снова появились ребята, я, воспользовавшись тем, что Людмилы дома не было, разыскал свое старое пальтишко, из которого уже давно вырос, кое-как натянул его на себя. На ноги надел Машины дырявые ботинки.

Ребята восторженным ревом встретили мое появление. Но на них, тепло одетых в шубы, шапки и валенки, мой далеко не зимний наряд произвел грустное впечатление. И, наверное, из чувства жалости они стали проявлять ко мне трогательное внимание, наперебой стали катать на салазках.

Я заливался счастливым смехом… Потом притих, потому что почувствовал, что мои руки и ноги коченеют от холода. Какой уж теперь смех?! Не хотелось сознаваться ребятам, что мне очень холодно. И я терпел… Так могло бы продолжаться долго, до тех пор, по-видимому, пока я окончательно не превратился бы в сосульку.

Кодька вдруг остановился, внимательно посмотрел на посиневшее мое лицо.

— Стой, ребята! — крикнул он. — Да ведь Сашка же наш замерзает!

Испуганные ребята окружили меня, сочувственно заглядывали мне в глаза.

— Сашурка, замерз, а?

— За-амерз! — чуть слышно выдохнул я.

— Повезли его домой! — приказал Кодька.

Ребята подвезли меня к крыльцу нашего дома. Я стал подниматься с салазок и упал. Окоченевшие от холода ноги не держали меня.

— Бери его на руки! — скомандовал Кодька. — Понесли, ребята!

С шумом и гамом внесли меня ребята в теплую комнату и посадили на стул.

— Где ты был, чертенок? — напустилась на меня Людмила. — Сдохнешь вот, а за тебя отвечай. А ну раздевайся!

Я попробовал раздеться, но замерзшие пальцы не слушались меня. Как деревяшки, скользили они по пуговицам.

Ребята с жалостью смотрели на меня.

— Да он же не могет сам раздеться, — сказал Кодька. — Давай, тетя, мы его разденем.

— Идите к черту! — рявкнула на них Людмила. — Марш!

Ребятишек как ветром сдуло.

— Даже раздеться не может, — сказала Людмила. — Вот я тебе сейчас ремня дам. Почему без разрешения ушел?..

Я молчал.

Людмила раздела меня.

— Своевольные, сволочи! — Она ударила меня по щеке так, что из глаз моих посыпались искры и я кубарем полетел под стол. И в этот раз она жестоко избила меня.

…Я простудился и заболел. Болел долго и тяжело. Может быть, я не выжил бы, но за мной заботливо ухаживала наша соседка, милая Мартыновна. Людмила запретила ей к нам ходить. Но добрая женщина, узнав о моей болезни, наперекор Людмиле пришла к нам и день и ночь ухаживала за мной, пока не выходила.

Приезд отца

Когда я в первый раз поднялся с постели, на дворе уже началась весна. Горячее солнце быстро согнало с полей снег. Сады покрылись яркой изумрудной листвой. В них поселились тысячи голосистых птиц.

Как только учеников отпустили на каникулы и мои друзья освободились от занятий, сейчас же наша босоногая ватага стала совершать походы за реку Бузулук, в лес.

В лесу было настоящее раздолье! Всюду чувствовалась жизнь невидимого лесного мира. То мы находили в кустарнике птичье гнездышко, с маленькими пестрыми яичками, то натыкались на сжавшегося в колючий ком ежа, то вдруг храбрый Кодька выискивал где-то ужа и, взяв его в руки, размахивал им, пугал нас…

А когда цвели ландыши, мы разыскивали поляны, на которых они росли, нарывали букеты цветов, а потом продавали их по копейке барышням. Ходили в луга за щавелем и скородой[5]…

Однажды наша ребячья команда гарцевала на хворостинах за станицей. Как это всегда и бывало, командиром нашим и в этот раз был Никодим Бирюков. Так уж как-то получалось: какую бы мы игру ни затевали, главарем ее всегда оказывался он.

Почему мы так легко подчинялись ему? Наверно, потому, что Кодька был дерзкий, наглый мальчуган, спорить с ним никто из нас не хотел, мы его побаивались.

Сегодня Кодька проводит маневры своих «войск».

А мы — Кодька-командир и я, его адъютант, — стоим на кургане, следим за ними.

Все кругом сверкает в сиянии солнечного дня. У подножья кургана, пощипывая траву, лениво бродят овцы. Вправо, за балкой, в волнующем переливе зыби изумрудно зеленеют посевы озимой ржи. Слева, за темнеющими клубами садов, поблескивает маленькая речушка.

Отсюда станица кажется совсем близкой, вот как на ладони она вся. Залитая солнцем, словно дрожит она в золотом сиянии. Видны квадраты кварталов — вот станичный майдан с церковью, лавками, правлением и училищем. А вот и наш дом!

— Собирайсь! — машет фуражкой Кодька своим «войскам». — Становись во фро-онт!

К кургану со всех сторон, гарцуя на хворостинках, как на добрых конях, стекаются ребята. Кодька, точно заправский генерал, командует:

— Станоо-овись; сказал!.. Смирна-а!.. Ну, что вы толчетесь?..

Колька, становись!.. А то вот так и полосну шашкой, — замахивается он выструганной дощечкой.

Мы бестолково топчемся на своих «конях» у кургана, не совсем еще хорошо уясняя себе, чего требует от нас наш строгий командир.

— Да вы что, безмозглые, что ли? — орет недовольный нами Кодька, толкая нас в спины. — Становитесь вот так — один возле другого… Рядом друг с другом…

Наконец ему удается расставить нас в шеренгу. Начальнически сурово оглядывает он нас и подает команду:

— На первый и второй рассчитайся!..

Мы молчим, не понимая, чего он хочет от нас. Кодька злится.

— Быки непонятные! — кричит он. — Раз команда подана «на первый и второй рассчитайся», значит, надо, чтобы Васька сказал «первый», а Андрей — «второй»… Опять Петька должен сказать «первый», а Колька — «второй»… Неужто вы не видали, как вахмистр учит малолетков?.. Ну, теперь понятно?

— Понятно! — дружно и весело отвечаем мы.

— На первый и второй рассчитайся! — повторяет команду Кодька. — Ну, говори, Васька, «первый».

— Первый! — неуверенно говорит Вася Новичков.

— Второй! — отзывается Андрей Поляков.

— Третий! — смело выкрикивает Петя.

— Дурак! — отчеканивает Кодька. — Тебе надо сказать «первый!»

— Первый! — поправляется мальчишка.

Мимо нас вьется дорога со станции, по ней трусит рысцой пегая лошаденка, везя громко тарахтящую колесами тяжелую повозку. Прижимаясь к оглобле, рядом с лошаденкой бежит маленький рыженький жеребенок-сосунок… Иногда он шаловливо отбегает от дороги в сторону, весь как-то взъерепенивается и, напружинив свой спутанный и белесый, как пучок ковыля, хвост, взмахивает им, задрав красивую головку, призывно ржет… А потом, словно бы испугавшись своего же собственного ржания, взбрыкивает задними ногами и мчится вперед.

Я загляделся на этого забавного жеребенка и прослушал, что скомандовал Кодька.

— Ты что, Сашка, ай оглох? — рассвирепел он. — На первый-второй рассчитайся!

— Здорово, казаки! — послышался с телеги насмешливый, но такой близкий, родной мне голос.

— Па-па! — закричал я, бросаясь к телеге.

Подводчик остановил лошаденку.

— Сынок? — улыбчиво кивнул он на меня.

— Сынок, — ответил отец, сгребая меня в свои ласковые объятия. — Какой же ты большой стал! Я тебя сразу-то среди ребят и не узнал. Ну, как вы тут без меня живете?.. Как Маша?..

— Разве ж ты ее не видел, папа? — испуганно спросил я. — Ведь она ж осенью еще ушла к тебе.

— Как — ушла? — испуганно вскрикнул он. — Я ее не видел.

Я обо всем подробно рассказал ему.

— Вот это дела! — озадаченно сказал отец. — Где же она есть?.. Ай-яй-яй!.. Что же теперь делать?.. Ведь я же, сынок, всю зиму проболел, — как бы оправдываясь, сказал он. — Если б не болезнь, я б давно приехал.

Подъезжая к дому, я умоляюще попросил отца:

— Папа, прогони от нас Людмилу. Прогонишь, а?

— Ладно, — пообещал отец. — Посмотрим.

Новое пальто

Надежды мои на то, что теперь, с приездом отца, вся наша жизнь переменится, не оправдались. Все осталось по-прежнему. Отец и не подумал прогнать Людмилу.

Был он человек слабовольный и подпал под влияние этой злой женщины. Все он делал, как она хотела.

К своему огорчению, я убедился, что отец подружился с Людмилой. Они стали неразлучны. Вместе ходили в гости, вместе встречали гостей… Я слышал, как бывавшие у нас на гулянках мужчины и женщины смеялись, говоря, что скоро справят отцовскую свадьбу.

Замечал я, что наши комнаты начали пустеть. Вещи исчезали. Людмила с разрешения отца продавала их, а деньги они пропивали вместе. По настоянию Людмилы отец продал и корову.

И вот наступила опять осень, и снова мои друзья-ребята стали ходить в школу. Я просил отца, чтобы он записал меня учиться, но ему некогда было это сделать — каждый день он был пьян.

— Ну подожди, сынок, — как-то раз, будучи трезвым, сказал он мне. — Я говорил с учителем. Ты парень подготовленный, он говорит, что ты в любое время можешь в первый класс сесть… Понял?.. Вот сошьем тебе пальто и валенки сваляем, тогда и будешь бегать в школу, а то ж не в чем.

Я с нетерпением ждал обещанного, мечтая о том, как стану ходить в школу, готовить уроки, играть на улице в снежки. Но пошивка пальто и приобретение валенок все откладывались по тем или другим причинам: то денег не было, то портной был занят…

И снова наступила снежная, морозная зима. И снова я, опечаленный, сидел у окна, смотрел, как ребята после школы играли на улице.

В конце января у отца кончились деньги, вырученные от продажи коровы. Они с Людмилой сидели дома злые, скучные. Людмила внушала отцу, что нужно продать дом.

— Зачем он тебе нужен, Илья Петрович? — говорила она. — Хлопот с ним не оберешься. То одно надо ремонтировать, то другое… Лучше снять квартиру. Сколько домов-то пустует в станице! Любой занимай. Каждый пустит на квартиру.

Отцу эти доводы показались убедительными.

Пустовавших домов в станице действительно было много. Большинство зажиточных казаков, проживавших в хуторах, имели в станице дома, и в них никто не жил. И каждый из таких

домовладельцев рад был пустить в дом свой квартирантов, лишь бы дом содержался в сохранности…

Однажды отец все-таки принес мне долгожданные валенки. Они были черные, поярковые[6]. Хорошие валенки. Я надел их и от счастья не мог прийти в себя.

— А когда ж, папа, пальто мне сошьешь?.. — спросил я. — Я в школу хочу ходить…

На что уж Людмила терпеть меня не могла, но на этот раз даже и она сжалилась надо мной.

— Пойди же к портному, — сказала она отцу, — пусть поскорее закончит шить ему пальто. А то ведь мальчишке по нужде не в чем во двор выбежать.

Отец во всем слушался Людмилу. Он пошел к портному. Я с нетерпением ждал его возвращения. Пришел он домой уже вечером, пьяный, с таким же пьяным портным.

— Здравствуйте вам, мадам! — сказал тот, кривляясь перед Людмилой. — Мое вам с кисточкой. Хлобыстов Василий Васильич.

— Здравствуйте, — недобрым взглядом окинула Людмила невзрачную фигуру портного. — Откуда ты, Илья Петрович, выискал такого красавца?

Я глянул на портного и прыснул со смеху. Вот это красавец! Длиннющий-предлиннющий и тонкий, как глиста, портной был уродлив. На его голове, словно перья, торчали всклокоченные, черные, как смоль, волосы. На груди лежала большая, взъерошенная борода. Но что особенно примечательно было в портном, так это его правый глаз — огромный, вытаращенный, словно когда-то портной со страху выпучил глаза, а потом, успокоившись, один глаз сумел вобрать в орбиту, а второй так и остался у него навсегда выпученным, застывшим.

Портной вытащил из свертка недошитое пальто и стал его примерять на меня. Затаив дыхание, я беспрекословно во всем ему подчинялся. Портной вертел меня как ему хотелось…

Не выпуская изо рта дымящейся цигарки, портной, бормоча себе что-то под нос, вычерчивал на моей спине мелом. Я мечтал о том мгновении, когда наконец это чудесное пальто будет дошито и я смогу его надеть…

После примерки отец поставил на стол водку. Портной и Людмила сели к столу.

Портной скоро свалился на кровать и уснул. Отец же с Людмилой решили идти к кому-то в гости. Я остался один со спящим пьяным портным… Он так храпел, что казалось, дрожат стены нашего дома.

Странное дело, портной спал крепко, а между тем его

страшный глаз пристально смотрел на меня. «Может, портной не спит? — думал я. — Но тогда почему он храпит? Нет, спит, определенно спит».

Убедившись в этом, я храбро подошел к портному и стал рассматривать его удивительный глаз. Потом я принялся перед зеркалом выворачивать свое веко, стараясь сделать так, чтобы и мой глаз походил на портновский. Но, увы! Мне это не удавалось.

На другой день, когда портной проснулся и принялся дошивать мое пальто, я старался не попадаться ему на глаза. Мне думалось, что как только он увидит меня, так сейчас же схватит за ухо. «Ты зачем, — скажет, — заглядывал в мой глаз?»

Наконец пальто было готово. Меня заставили его надеть.

— Ну как? — с самодовольством посмотрел на отца портной. — Ловко, а?..

— Да-а, — невесело протянул отец и покачал головой. — Ловко, нечего сказать.

Я с испугом посмотрел на отца. У него было злое лицо. Ему, по-видимому, не понравилось пальто, и он хотел выругать портного за то, что тот его испортил, но Людмила сказала:

— Что ж, хорошее пальтишко. Для мальчишки лучшего и не нужно.

Отец вздохнул и промолчал.

В тот же вечер я вышел в своем новом пальто на улицу.

Ребята обступили меня. Кодька оценивающим взглядом оглядел мое пальто и сквозь зубы произнес:

— Барахло!.. На чучело огородное одеть, ворон пугать…

Я чуть не упал от такого оскорбления.

— Дурак! — в ярости вскричал я. — Сам ты барахло проклятое!

Кодька с кулаками бросился на меня. Мы барахтались в снегу, молотя друг друга. Я навалился на Кодьку, стал душить его.

— Говори: смерть или живота, — хрипел я воинственно. — Говори, а то задушу.

Кодька, упрямый мальчишка, хотя и видел, что перевес явно на моей стороне, но сдаваться никак не хотел. Он, как вьюн, вертелся подо мной, пытаясь вывернуться.

— Сдавайся! — кричал я задорно. — А не то смерть!

Кодька пыхтел, ворочался, но не сдавался. Вдруг он ухватился за карман моего нового пальто и потянул. Послышался треск.

— Пальто порвал! — завопил я.

Кодька отпустил меня. Поднявшись на ноги, я увидел, что карман мой висит, а из образовавшейся дыры торчит подкладка с

ватой.

— Отец теперь изобьет, — взвизгнул я.

Шмыгая носами, ребята растерянно смотрели на меня и молчали.

— Пойдем к нам, — сказал Кодька. — Нюрка пришьет карман. Она так умеет шить, что и не заметишь.

Сопровождаемый толпой ребят, я направился к Кодьке. Дорогой я вдруг вспомнил, что у Кодьки недавно умер отец, и остановился.

— Ты что? — удивился Кодька.

— Не пойду, — сказал я.

— Почему?

Но я не сказал ему, что мне было страшно идти к нему в дом.

— Пойдем, — сказал Кодька. — А то как же ты пойдешь домой? Тебя ж Людмила изобьет.

Это было, пожалуй, страшнее, чем идти в дом к Кодьке. Я пошел.

— Нюрка! — властно крикнул Кодька своей десятилетней сестренке. — Пришей Сашке карман. А то его дома изобьют.

Рыжеволосая рябоватая девчушка деловито оглядела мой оторванный карман.

— Нет, — замотала она головой. — Не смогу.

— Да пришей, — пристал Кодька. — Чего ломаешься?.. Куклам-то ведь юбки шьешь.

— Да, то куклам, — протянула девочка. — А тут надо как портной, чтоб незаметно было.

— Ну и пришей незаметно! — строго потребовал мальчишка. — А не то вот этого получишь, — показал он ей кулак.

— Мама! — пронзительно закричала Нюрка. — Кодька хочет драться!

Из горницы вышла низенькая, располневшая женщина средних лет — Фекла Федоровна.

— Ну, чего вы тут не поладили? — спросила она. — Ой, сколько вас тут! Ноги-то хоть от снега обмели б, а то, вишь, наследили.

— Мама, — загнусавила Нюрка. — Кодька заставляет пришить карман Сашке, а я не умею…

— Ай-яй-яй! — всплеснула руками Фекла Федоровна, увидев мой оторванный карман. — Да как же это так?.. Кто тебе?

— Кодька, — всхлипнул я.

— Ах ты, оголец несчастный, — шлепнула она сына ладонью по затылку. — Очумелый! Как же это ты так?.. Пальто-то ведь новое. Теперь Людмила осатанеет. Сиротинка ты мой, скидывай

пальто-то свое, уж я как-нибудь пришью, постараюсь получше.

Я скинул свое пальтишко. Вооружившись иголкой и ниткой, Фекла Федоровна так искусно пришила мне карман, что до самого износа никто не заметил, что у моего пальто карман был оторван.

Отъезд

Я хотя и был еще мал, но иногда задумывался над тем, почему все в жизни так несправедливо устроено.

Несправедливостей этих очень много. Ну, хотя бы взять пример такой; почему наши казаки живут неодинаково?

Вот дед Карпо со своей семьей живет в покосившейся от ветхости избенке, покрытой побуревшей соломой. Живет он, я знаю, в постоянной нужде. Семья у него большая, а на дворе — одна кляча да коровенка. Вот и все его богатство.

А рядом с ним живет богач Минай Ерофеевич Щербаков. Дом у него как игрушка, большой, просторный, стоит на виду и играет всеми красками. Ну прям что твое пасхальное яичко…

Живет Щербаков богато, весело… Захочет старик, запряжет пару дончаков в тарантас и уезжает на какую-нибудь ярмарку, пьет там, гуляет.

А что ж ему не гулять? Хозяйство у него доброе, крепкое. Быков, говорят, у него пар пять, шесть лошадей, пять коров, много молодняка, овец, коз… А птицы — кур, уток, гусей — столько на дворе, что им и счет потеряли. Два батрака едва управлялись с таким хозяйством.

Я знал, что дед Карпо часто обращался к Щербакову с просьбой выручить его деньгами. Однажды я даже был свидетелем того, как дед Карпо, встретив на улице жирного бородатого Миная Ерофеевича, сняв шапку, униженно клянчил у него:

— Уж будь благодетелем, Минай Ерофеевич, дай десятку… Нужда большая… Надобно девке справу сделать… невеста… Замуж надобно выходить…

— Да за тобой же, Карпо Парамонович, пять целковых еще, — напомнил Щербаков.

— Знаю, благодетель, знаю… Отработает мой Николай, отработает… Хочь зараз же возьми его.

— Да я знаю, что отработаете… Ладно уже, дам те десять целковых… приходи. А Николай-то твой мне понадобится к уборке хлебов… Косить рожь будет.

— Ну, что ж, — покорно кивал головой дед Карпо. — Пойдет косить… Может, и я еще подмогу, а?

— Ну, какой же из тебя косарь, — усмехался Щербаков. — Песок сыпется… Вон бабке своей огурцы на огороде подбивай…

Мне страшно жалко было деда Карпо.

Я не мог дать объяснения такой несправедливости. Почему бог не сделает так, чтобы все одинаково жили? Ведь ему же с

высоты небесной все видно…

Однажды весной к нам пришел Щербаков.

— Здорово дневали, — приветствовал он отца.

— Здравствуй, Минай Ерофеевич, — ответил отец. — Проходи, садись.

Щербаков, поглаживая широкую, как лопата, черную бороду, степенно прошел в передний угол, присел на лавку под образа. Отец сел рядом, и они стали говорить о чем-то. Меня это мало интересовало. Я занимался своим делом: разрисовывал красным карандашом картинку.

Вдруг я услышал, что они называют мое имя.

— Сколько ему годов-то? — спросил Щербаков.

— Да ему только девять, — ответил отец. — Десятый пошел.

— Ну и что? — сказал Щербаков. — В погонцы вполне годится… Быков погонять — премудрости большой не надо… У меня вон мальчишки по семи-восьми лет погонцами были…

— Нет, Минай Ерофеевич, мал еще Сашка, — покачал головой отец. — Какой из него работник?.. Замордуется на пахоте… Не могу отдать.

— Подумай, Петрович, — настаивал Щербаков. — Денег себе на рубашку заработает… А то, вишь, пузо-то голое… А мне как раз до зарезу погонец нужен.

— Не могу, — твердил отец. — Мал мальчишка.

— Отдал бы, Илья Петрович, — вступила в разговор Людмила. — Все равно без дела бегает по улице…

— Нет… не могу мальчишку мучить.

— Эх, зря, — встав, сказал Щербаков. — Чего, Петрович, зазнаешься-то?.. Что он у тебя дворянин, что ли?.. Надобно приучать парнишку к труду.

— К труду надо приучать, — согласился отец. — Это верно. Но это еще успеется.

— Ну, прощевай, коли такое дело, — сказал Щербаков и вышел.

После его ухода отец рассвирепел.

— Кулак проклятый! — кричал он. — Пришел дитя брать, заморить хочет работой… Мироед!..

— Папа, — спросил я отца. — А что это такое «кулак»?

— А вот Щербаков кулак, — сказал отец, — Это люди, которые выжимают соки из трудового народа… И от труда народного богатеют, наживаются…

Вот так я тогда узнал, что означает слово «кулак».

* * *

Какая радость! Отец получил от дяди Иринарха письмо. Из этого письма мы узнали, что Маша, оказывается, живет у него…

Дядя Иринарх советовал отцу распродать свое имущество и переехать в Мариупольский порт, где он жил, открыть там бакалейную лавчонку и заняться торговлей.

Предложение это отца взбудоражило.

— А что, может, в самом деле дернем в Мариуполь, а? — проговорил он, обращаясь ко мне и Людмиле.

Я молчал. Да отец и не особенно посчитался бы с моим мнением, если б я и высказал его. Вопрос его относился главным образом к Людмиле.

— Так — как, а? — снова взглянул он на нее.

— Думаю, что предложение дельное, — проговорила она. — Вам бы следовало поехать…

— Вам? — опешил отец. — А вам? Ты что, не поедешь с нами?..

— А это уж как нашему хозяину заблагорассудится, — хихикнула она. — Если возьмете, то и поеду. Не возьмете — не поеду.

— Поедем, — умиротворенно сказал отец. — Чего там.

Решено было немедленно все распродать и ехать в Мариуполь.

С этого дня и началась у нас распродажа всего домашнего скарба. Распродавал отец все по дешевке, поэтому народу в нашем доме с утра до вечера толпилось много… Вечерами же у нас было море разливанное — распивали могарычи.

Вот с домом дело обстояло труднее. Кому его продашь? В станице жили разные казаки. Были богатые, имевшие крепкое хозяйство, несколько домов и батраков, работавших на них с утра до поздней ночи. Таким казакам наш дом, не отличающийся ни красотой, ни доброкачественностью, и даром был не нужен. У них свои во много раз лучше. Были в станице и середняки. У тех дома хотя и поскромнее, чем у богатеев, но крепкие, прочные. Им также не нужен наш дом. А что касается гольтепы казацкой, которой было в станице немало, то, быть может, и нашлись бы такие, которые с большой охотой приобрели бы наш дом, да денег у них не было ни гроша.

Долго отец не находил покупателя, а потом нашел. Недавно у казака Вохлянцева сгорел дом. И вот теперь он покупал наш, за девятьсот рублей. Но сразу таких денег у него не находилось. Надо было ждать, пока он продаст кое-что из имущества, чтобы уплатить нам.

Однажды мы с отцом остались в доме вдвоем. Людмила ушла в гости к своей приятельнице-дьячихе. Отец вышел в коридор и

для предосторожности закрыл на засов дверь. Вернувшись в комнату, он сказал мне:

— Ну вот что, сынок, ты уже большой стал, десятый год. Все должен понимать. Правда ведь, а?

Я кивнул в знак согласия.

— Ну, это и главное. — Отец сел напротив меня и начал довольно смущенно и нерешительно: — Понимаешь, в чем дело, сынок, деньги текут, как вода. Пропиваем много… да… и, чего греха таить, должно, и Людмила-то Андреевна, малость… утаивает… Вот. Ты, конечно, об этом никому не пикни. Понял?.. Я ведь тебе об этом, говорю как сыну родному. Слышишь?..

— Слышу, папа. Я никому не скажу.

— Ну вот это и правильно, — обрадовался отец. — Не надо чужих людей в это дело посвящать… Люди только посмеются. Ты понимаешь, Саша, — прошептал отец, озираясь на дверь, — Вохлянцев вчерась отдал мне пятьсот рублей. Об этом Людмила Андреевна не знает. Через неделю он обещал остальные четыреста отдать… Как отдаст, так сейчас мы и поедем… Так вот, родной, я тебе отдам сейчас эти пятьсот рублей, ты их сохрани, христом-богом тебя прошу… Чтоб и сам сатана не мог бы их у тебя разыскать, не только Людмила… Понял?.. Чтоб она и не подумала об этих деньгах. Кто его знает, может, и вся надежда только на эти деньги будет… Ежели же у меня останутся, то я могу их все промотать. Понял?

— Понял, папа.

Отец вытащил из кармана сверток, завернутый в газету.

— На, — сказал он. — Да смотри, Сашурка, богом тебя заклинаю, не потеряй. Потеряешь — крышка нам тогда.

— Ладно уж, — сказал я снисходительно, но в то же время страшно польщенный таким доверием отца. — Не потеряю, не бойся.

Я засунул сверток за пазуху.

— Э! — сказал отец. — Разве ж можно сюда? Ребята вытащат.

— Да что ты, папа, — засмеялся я, — чудак ты. Разве я тут буду носить деньги? Я запрячу их так, что никто не разыщет… А потом, когда поедем в Мариуполь, я их в мешочек положу да на шею привяжу…

— Ну, гляди!

Я запрятал сверток с деньгами под стреху в сарае.

* * *

Весна была в разгаре.

Вохлянцев отдал отцу последний взнос за дом — четыреста рублей. Назавтра мы готовились выезжать в Мариуполь.

А сегодня я решил в последний раз пойти с ребятами в лес. Хотелось попрощаться с ним.

…Лес стоял в своем роскошном весеннем уборе тихий и задумчивый, немного, казалось мне, даже грустный. О чем же он грустит?.. Не о моем ли уж отъезде?..

В этот памятный день мы бегали по полянкам, заросшим молодой сочной травой, рвали букеты алых тюльпанов, играли в чехарду… Да чего только не делали мы в этот день?! А ребята, зная о моем завтрашнем отъезде, были ко мне трогательно внимательны, предупредительны.

Возвращались мы в станицу уже под вечер немного уставшие, страшно голодные, но счастливые и довольные… Как все-таки хорошо быть в кругу своих друзей! Во время веселой игры я вдруг вспоминал о завтрашней разлуке с ними, со всем тем, что я сейчас вижу, к чему так со дня своего рождения привык, и мое сердце наполнялось грустью, к горлу подступал ком…

Я оглядывался во все стороны, стремясь надолго запомнить милую картину родного края.

Кругом тихо. Ни малейшего дыхания ветерка. Болтливые птицы, усаживаясь на ночлег, выкрикивают что-то на своем птичьем языке.

Я, погрустневший, молчаливый, иду вслед за ребятами по лесной тропе. Шурша в траве, от нас шарахаются какие-то мелкие зверушки. Где-то в густой вершине тополя звонко закуковала кукушка. И такая, показалось мне, безысходная тоска была в ее кукованию, такая печаль, что я не выдержал. Слезы полились по моим щекам.

Весело смеясь, ребята кричали кукушке, чтобы она накуковала им, сколько лет каждому из них жить на свете. Кукушка куковала, а они считали…

…На следующий день отец разбудил меня рано.

— Вставай, Сашурка!.. Подвода уже приехала. Вставай! — Наклонившись ко мне, дыша перегаром алкоголя, он прохрипел мне на ухо: — Насчет денег-то не забудь. Слышишь, не забудь.

— Ладно, — прошептал я, — не забуду.

В горнице за столом уже сидели приятели отца, пришедшие его проводить. В числе их были Кудряш, однорукий Алексей Костин, Вохлянцев, купивший наш дом, ну и еще некоторые другие.

Перед ними на столе красовалась четвертная бутыль с водкой.

— Ну, так что же, друзья, — сказал отец, разливав водку по

стаканам, — погладим, стало быть, дорожку, чтобы она гладкая была… Будьте здоровы!

— Счастливого пути, Илья Петрович! — послышались пожелания.

— Дай тебе бог счастья на новом месте!

Отец раскланивался и благодарил.

Людмила была какая-то серьезная, задумчивая. Она даже отказалась от водки и принялась укладывать вещи на телегу.

Украдкой, чтобы меня не увидела Людмила, пробрался я под сарай и вытащил из-под стрехи сверток с деньгами. Я развернул его, чтоб убедиться, целы ли деньги. Все было в порядке. Я положил сверток в сумочку, заранее приготовленную мной, повесил ее себе на, шею и завязал. Сумочку эту мне сшила в дорогу Нюрка Бирюкова.

Пока я управлялся с этими делами, отец уже успел напиться пьяным. Людмила, не стесняясь никого, ругала его.

— Дурак!.. — визгливо кричала она. — Свинья!.. Уже успел нажраться. Как теперь с тобой ехать?

— Ничего, Людмила Андреевна, — успокаивал ее отец. — Доедем. Я ж не пьяный, а только выпивши…. Пьяный всегда проспится, а дурак никогда.

— Ты и дурак и пьяница, — отвечала она. — Все вместе.

— Ладно, — отмахивался от нее отец. — Просплюсь, тогда увидишь — дурак я или нет… Садись, Саша, поешь, а потом поедем.

Я было уселся за стол, но Людмила заторопила:

— Дорогой поешь. Некогда. Надо ехать… К поезду опоздаем.

Задвигав стульями и табуретками, все поднялись из-за стола, стали молиться богу, целоваться с отцом.

— Ну, дай бог, Илья Петрович!.. Ни пуха, ни пера..

Сопровождаемый собутыльниками, отец, пошатываясь, подошел к телеге, взобрался на нее.

— Поехали! — сказал он подводчику. — Где Сашурка?

Я же в это время полными слез глазами в последний раз оглядывал двор, дом. Потом я подошел к Полкану, гремевшему цепью. Собака от радости завизжала, запрыгала.

— Прощай, Полкан! — сказал я собаке. — Уезжаю, теперь не увидимся.

Собака, на мгновение прислушавшись к моему голосу, будто поняв сказанное, взвизгнула и, подпрыгнув, лизнула меня в губы.

Сдерживая рыдания, я выбежал за ворота и взобрался на телегу.

— Ну, все уселись? — спросил подводчик. — Эй, пошли, милыи-и! — щелкнул он по сытым лошадиным спинам.

Лошади побежали рысью.

Не успели мы отъехать от дома, как отец повалился на сено, которое было в телеге, и захрапел.

Я с тоской смотрел на отдалявшийся от меня родной дом с огромной грушей у крыльца. Мне казалось, что груша прощально кивает своей верхушкой.

Меня очень огорчало, что ни один из моих друзей не пришел проводить меня. А ведь вчера, когда мы расходились по домам, они все уверяли, что обязательно придут.

Мы выезжали уже из станицы, когда вдруг из-за угла хаты, стоявшей на окраине, выскочили несколько молодцеватых «всадников», лихо сидевших верхом на длинных хворостинах. Размахивая деревянными саблями, они с криками «ура» ринулись в атаку на нашу подводу.

Подскакав к телеге, «всадники» осадили своих «коней». Подводчик захохотал и, приостановив лошадей, перевел их на шаг.

— Эй, казаки-молодцы! — крикнул он им. — Что ж, стало быть, хочете дружка своего проводить с парадом, что ль?

— Дядя, — попросил я его, — можно мне к ним на минуту спрыгнуть?

— Сиди на месте! — прикрикнула Людмила. — Ехать надо, а то к поезду опоздаем.

— Что уж ты на него так, — укоризненно сказал ей подводчик. — Ну нехай же слезет на минутку. Непонимающий ты человек. К нему друзьяки сбеглись со всей станицы проводить, а ты даже не разрешаешь ему и попрощаться с ними. Слазь, Сашка! — сказал он мне. — Погутарь маленько с ребятишками.

Людмила зло посмотрела на него, но промолчала. Я соскочил с телеги. Ребята окружили меня. Кто-то из них даже великодушно предложил мне хворостину, чтобы я сел на нее верхом, но я отказался.

Некоторое время мы молча шли за подводой. Но потом молчание прервал Кодька.

— Сашурка, — сказал он мне, — ты как только приедешь на море, так зараз же напиши нам. Ладно?

— Ладно, — кивнул я. — Напишу. Обязательно напишу. Обо всем напишу… Только и вы, ребята, напишите мне… Будете писать?

— А как же! — пообещал Кодька. — И мы будем… Вот напишешь нам, мы, может, приедем к тебе…

— Как — приедете? — даже приостановился я от изумления.

— Очень просто, — ответил Кодька. — Нам учитель в школе объяснял, что наш Бузулук впадает в Хопер, а Хопер — в Дон, а

Дон — в Азово море.

— Не в Азово, а в Азовское, — поправил я.

— Ну, это все едино, — сказал Кодька. — Нехай в Азовское. А Мариуполь же, ты мне сам говорил, стоит на Азове-море, — продолжал он. — Ну, лодка у нас есть. Наберем хлеба поболе, сала, пшена, картошки — и поплыли. Вот красота, а! Ден за пять и доплывем.

— Ну, Александр, — сказал подводчик, останавливая лошадей, — прощайся со своими друзьями. Надобно ехать побыстрее, а то ж в сам деле могете на поезд запоздать.

Я по очереди пожал каждому мальчугану руку. Кодька предложил мне:

— Давай, Сашурка, с тобой поцелуемся. Мы ж родня.

— Давай! — согласился я.

Мы поцеловались.

Я вскочил в телегу. Подводчик тронул лошадей. Они бодро побежали по дороге, поднимая клубы сизой пыли. Некоторое время ребята, верхом на хворостинах, следовали за нами, а потом отстали. Долго они стояли на дороге, смотрели нам вслед и размахивали фуражками. Я им в ответ тоже помахал своим картузом.

Потом наша подвода перевалила за пригорок, и мои друзья исчезли из виду.

В порту

Скоро мы приехали на станцию. За дорогу отец немного проспался, протрезвел. Расплатившись с подводчиком, обрюзгший и заспанный, он, оставив нас с Людмилой у багажа, пошел разузнать о билетах. Не появлялся он около часа, а придя, рассказал:

— Сейчас у кассы я встретил одного моряка-офицера. Знает, оказывается, нашего Никодима. Уверяет, что Никодим наш женился и взял богатую невесту… Отец ее, говорит, трактир содержит. Вот ведь какой, и не написал об этом…

— Ну, а как билеты? — оборвала его Людмила.

— Билеты я взял до Царицына, — сказал отец. — В Царицыне у меня есть дела. Остановимся там дня на два… Потом заедем в Ростов, может, найдем Никодима или жену его…

На это Людмила ничего не ответила. Я заметил, что она в последнее время стала какой-то странной, флегматичной, все о чем-то думает, словно бы решает какую-то важную задачу. Даже водки в рот не берет теперь…

К платформе с шумом и грохотом подкатил запыленный пассажирский поезд. Мы уселись в вагон третьего класса. Я первый раз в своей жизни ехал в поезде, поэтому все было для меня необычным.

Народу в вагоне было много. Кроме нас, в нашем купе находилось еще двое пассажиров: священник лет сорока пяти и толстый казак лет пятидесяти с большой, тронутой сединой бородой.

Я забрался на верхнюю полку.

Отец, устроившись у окна, достал из кармана бутылку водки, поставил ее на столик и попросил у Людмилы закуску. Людмила подала ему пирожки, яйца.

Как это часто бывает в поездах, отец быстро перезнакомился со своими попутчиками и пригласил их выпить с ним. Те не стали отказываться… Людмила, ссылаясь на головную боль, и на этот раз не пила.

В купе нашем делалось все шумней и веселей. Компания увеличивалась, из соседних купе пришли мужчины и женщины. Началась попойка — смех, шум, крики, песни. К потолку поднимались синие клубы табачного дыма. На больших остановках бегали в буфет за водкой.

Я не дождался окончания пиршества, заснул…

На рассвете меня разбудил отец. Был он взъерошен, бледен, чем-то взволнован.

— Саша, — сказал он дрожащим голосом, — Людмила-то сбежала от нас… Сбежала и ограбила. А у тебя-то деньги целы, а?..

Я нащупал под рубахой сверток.

— Целы, папа.

— Ну, слава богу! — перекрестился отец.

— Что она у тебя украла, папа? — поинтересовался я.

— Деньги, стерва, из кармана вытащила… Двести рублей… Спасибо не все забрала… Половину я в другой карман отложил. Ушла, — всхлипнул он как-то смешно и по-детски, рукавом, стал вытирать слезы. — Плохо ей было у нас, — сказал он и, сев за столик, налил из недопитой бутылки водки в стакан.

— Папа, не пей, — сказал я.

— Я, сынок, немножко, с горя. — И он снова всхлипнул.

Я понимал, что отец плачет не столько по деньгам, украденным у него Людмилой, сколько по ней самой. Он привык к ней, а может быть, и любил ее… Я же радовался. Наконец-то мы отделались от этой противной женщины. Хоть и дорого нам это обошлось, но на душе у меня стало так празднично, так легко и хорошо, словно огромная ноша, все время давившая меня, свалилась с плеч. Даже не жаль было украденных денег.

Проснулись вчерашние собутыльники — священник и толстый казак, оказавшийся торговцем из соседней, Ярыженской, станицы. До самого Царицына они пили.

В Царицыне отец кутил со своими, новыми знакомыми несколько дней. Он развлекался, заказывал музыку, плясал, а я сидел в уголке и наблюдал за тем, что творили пьяные люди.

Отвратительное это было зрелище. Но что я мог сделать? Куда я мог деться?..

Отец пропивал пока те деньги, которые были у него. К заветной сумочке, что хранилась у меня, он еще не прикасался.

Первым очухался от пьянки поп. Ему надоело пьянствовать. Пожалев меня, он взял у отца деньги, купил нам билеты до Ростова и усадил нас в поезд.

Но в Ростов мы приехали напрасно: ни дяди Никодима, ни жены его, ни родственников ее мы не нашли.

Отец стал меньше пить. Он купил билеты до Мариуполя, предварительно известив телеграммой дядю Иринарха о нашем приезде.

Приехали мы в Мариуполь к вечеру следующего дня. Нас встретили Маша и дядя Иринарх. Я не мог налюбоваться своей сестрой. Как она изменилась, повзрослела! И уже мало походила на ту деревенскую девчонку, какой была у нас, в станице. Вся она была какая-то лучезарная в новом розовом платье, отделанном

кружевами.

Мы поцеловались с Машей, а потом с дядей Иринархом. Дядю я никогда до этого не видел. Стройный мужчина лет сорока, чернобородый, красивый, одетый в морскую форму, он своим видом поразил меня.

— Доехали благополучно? — спросил дядя.

— Доехали ничего, — сказал отец несколько смущенно. — Заезжали в Ростов, думали разыщем Никодима… Я прослышал, что он женился будто на какой-то ростовской богачке… Да разве там найдешь…

— Это верно, что он женился, — подтвердил дядя Иринарх. — Но в Ростове-то его не найдешь. Его тесть живет в Аксае, верстах в пятнадцати от Ростова, а Никодим работает капитаном речного парохода, курсирует по Дону…

— А разве он теперь не в военном флоте? — изумился отец.

— Нет, — сказал дядя Иринарх. — У него вышла история одна. Его разжаловали в матросы и уволили… Поехали, а то поезд наш уйдет.

— Что за поезд? — не понял отец. — Разве нам еще куда-нибудь ехать?

— А в порт, — сказал дядя. — Мы живем ведь в порту, а до него верст пять-шесть. Поезда ходят туда.

Жена дяди Иринарха, Лидия Николаевна, надменная женщина лет тридцати, встретила нас не особенно гостеприимно. Да ее, собственно, нельзя и винить в этом. У нее своих детей было пятеро, а тут еще мы трое свалились на ее голову… Но жить у дяди нам пришлось всего два дня. На третий мы перебрались в квартиру из двух маленьких комнат, снятых отцом. Отец купил два стола, две кровати, стулья и разную необходимую домашнюю утварь.

Первые дни отец крепился, не пил. Он забрал у меня деньги и занялся постройкой лавки, задумав торговать бакалеей.

Плотники быстро соорудили деревянную лавчонку.

Отец накупил в Мариуполе рублей на двести сахару, чаю, селедок, карамели и начал торговать. Но торговля шла плохо, покупатели обходили нашу лавку. Местные богатеи-торгаши смеялись над отцом.

— Купец явился, — издевались они. — Товару у него на ломаный грош… Через неделю придет к нам милостыню просить.

Они были правы. Дела у нас шли очень плохо. Торговать-то мы торговали, а жить нам было не на что. То, что отец выручал за день, мы тотчас же проедали.

Через месяц отец продал за бесценок лавку со всеми товарами богатому греку Попандопуло.

Выгоняют из квартиры

Отец опускался все больше. Мы часто видели его в обществе местных босяков. С ними он пил, с ними спал в канавах.

Мы с Машей голодали. А тут случилась еще одна беда: хозяин дома, в котором мы жили, не получая плату за квартиру, предложил нам немедленно освободить ее.

Почти каждый день к нам стал приходить хозяин дома — старик лет шестидесяти, высокий, горбоносый украинец. Он ругал нас на чем свет стоит.

— Хочь бы вас, дьяволов, холера забрала, — орал он, стуча костылем об пол. — Совести у вас нема. Живут на фатере и грошей не платят.

— Дядечка! — умоляюще упрашивала его Маша. — Да подождите еще немножечко. Вот папа устроится на работу, уплатим за квартиру.

— Ге-ге! — озлобленно ухмылялся старик. — Устроится… Вин вже устроился в босяки… Ни! И слухать не хочу, ослобоняйте фатеру!

— Дядечка, куда же мы денемся? — заплакала сестра. — Ну, подождите немножечко, мы куда-нибудь перейдем… Ой, господи… и за какие такие грехи ты нас мучаешь?

Слезы сестры подействовали на старика удручающе. Он закашлялся. Переминаясь с ноги на ногу, постоял немного, а потом молча вышел.

На следующий день он пришел к нам под вечер какой-то принаряженный, в новой поддевке, в смушковой шапке, с небольшим свертком в руках.

— Здорово були, сироты! — необычно приветливо поздоровался он с нами.

— Здравствуйте! — ответила Маша, ожидая нового скандала.

— Ужин себе готовите? — кивнул старик на керосинку, на которой сестра варила кашу.

— Да… — ответила Маша. — И ужин, и обед, и завтрак — все вместе… Мы еще не ели…

— Бедные сиротки, — сочувственно покачал головой хозяин, — беда с вами. Ей-ей, беда!.. И что с вами робить, ума не приложу.

Старательно обтерев ноги о половик, он прошел к столу и положил на него узелок.

— Возьми-ка вот, девица. — Он вынул из узелка кольцо колбасы домашнего приготовления. — Кабана мы резали да вот начинили колбас… Скушайте с хлопчиком.

Вынув из кармана нож, он раскрыл его и, отрезав порядочный кусок колбасы, протянул мне.

— На, ешь, — сказал старик, — да тикай на улицу, там ребятишки бегают, а я покель побалакую с твоей сестрой…

— Ладно, — буркнул я. Порывисто выхватив из его рук колбасу, я стремглав вылетел на улицу. Я сел на скамейке, врытой у нашего дома, и, весело болтая ногами, стал есть… Ой, до чего ж вкусно!.. Кажется, ничего вкуснее я никогда в своей жизни не едал. «Эх, — мечтал я, — да кабы к этой колбасе кусочек хлеба!» Но хлеба у нас не было.

Вдруг я услышал приглушенные крики сестры. Она звала меня на помощь. С колотящимся от испуга сердцем я подбежал к двери и, распахнув ее, столкнулся с хозяином. Согнувшись и закрывая голову руками, он бежал из комнаты. Маша яростно хлестала его веником.

— Гад бессовестный! — кричала девушка. — Ты в прадеды мне годишься, а лезешь с любовью… На ж тебе!.. На!..

— Подожди, девка! — бормотал старик, пятясь к двери. — Я ж шутейно… Понимаешь, шутейно… Пошутковал…

Из их скупых слов я ничего не мог понять, но одно для меня было ясно, что старик сказал моей сестре, что-то омерзительное, гадкое. Я бросился на него, молотя его кулаками по животу, по спине.

— Уйди, дьяволенок! — взревел старик. — Не то расшибу!..

Ударом ноги он отбросил меня в угол и выбежал во двор.

Побледневшая Маша, тяжело дыша, подняла меня.

— Не зашиб он тебя?

— Нет.

— Ну и слава богу. Закрой дверь на запор. А то еще вернется.

— Не вернется, — сказал я уверенно. — Не посмеет. Я ему так надавал, что он долго будет помнить.

Мои хвастливые слова рассмешили сестру.

— Это верно, что побоится тебя.

— Маша, а что он тебе говорил?..

— Да так, — покраснела девушка. — Глупости говорил.

Только что мы успели поужинать, как в дверь громко постучали.

— Неужели опять старик идет? — недоумевающе посмотрела на дверь Маша, не решаясь открывать ее.

— Да нет, — сказал я, — это папа. Ты, папа? — спросил я, подойдя к двери.

— Откройте! — строго проскрипел хриплый незнакомый голос. — Это городовой. Немедленно откройте!..

Я понял, какой городовой к нам пришел. Я его знал. Он

всегда ходил по нашей улице, такой толстый, важный, с черными закрученными усами. На шее у него мотался красный жгут от револьвера, висевшего в желтой большой кобуре на боку.

У меня от страха оборвалось сердце. Городовой! Тут есть от чего испугаться. Я совсем растерялся и не знал, что и делать.

— Ну, вы что же не открываете-то?! — с силой тряхнув дверью, рявкнул городовой. Крючок, сорванный с двери, звякнув, упал на пол. Через порог перешагнул полицейский.

Не снимая фуражки, стуча сапогами, он протопал на середину комнаты и обвел ее строгим, начальственным взглядом.

— А иде ж сами хозяева-то? — недоумевающе спросил он, не видя в комнате взрослых.

— А вот же и хозяева, господин полицейский, — показал на сестру и меня следовавший за ним старик хозяин. — Вот они-то сами и есть.

— Брось ты мне чепуху-то городить! — сердито прохрипел на него городовой. — Какие это хозяева?.. Ты ж заявляешь, что тебя избили. Разе ж они могут тебя избить?.. Ребятишки ведь…

— Так вот они-то меня и избили… Веником. Вот це побачьте, господин полицейский, — подбежал старик к порогу и поднял с пола два-три обломка от веника. — Бачите?.. Це они меня так молотили.

Городовой глянул на меня и Машу и хмыкнул.

— Что ж у них родителев-то нету, что ли? — поинтересовался он.

— Да у них есть батько, — сказал старик, — да такой непутевый… Ни до чего сам не доходит… Пьянчуга… Пропащий человек — с босяками босякует.

— Подожди, подожди, — поднял густые брови городовой. — Это какой же?.. Не тот ли, что лавку себе было построил да пропил ее со всеми товарами?

— Во-во! — оживленно закивал бородой старик. — Це ж самый и е… Такий красномордый… С дырочкой на щеке… Вин же бросил своих детей… А они, холера их забери, живут в моей фатере и не платят… Четырнадцать целковых задолжали… Почти кажний божий день хожу я до них и христом-богом прошу, щоб ослобонили они мне фатеру, бо я можу пустить добрых квартирантов… Вот же ж и ныне пришел я до них с добрым сердцем: ослобоните, мел, добром фатеру. А вона ж, бисова дивка, як схвате веник да як зачне меня им хлестать… А цей дьяволенок, — указал он на меня, — тоже кинулся на подмогу сестре, зачал поддавать мне под живот… Вот яки они, господин полицейский. За мое ж добро меня же бьют.

— Сколько тебе годов, барышня? — спросил совершенно,

казалось бы, некстати городовой, обращаясь к Маше.

Та испуганно взглянула на него.

— Шестнадцать, — ответила она. — Семнадцатый идет…

— Дитя еще, — заключил городовой. — Правду он говорит? — глядя на не, кивнул он на старика.

Потупив глаза, девушка молчала.

— Ну что же ты молчишь-то? — сказал городовой. — И за квартиру ему не платите?..

— Да ведь денег у нас нету, дяденька городовой, — заплакала Маша. — Если бы были, разве ж мы не уплатили бы… Мы с братиком голодные совсем… Вот работу ищу. Как найду, сейчас же и заплатим… Просим его обождать… А сейчас у нас ни копейки нет, голодаем…

— Голодаете, — усмехнулся городовой. — А еды-то у вас сколько, — кивнул он на стол, где еще лежало фунта полтора колбасы.

— Да… — застенчиво запнулась сестра, — это ж нам хозяин принес.

— Хозяин? — изумился городовой. — Ничего не понимаю. Жалуется, что обижают его, не платят за квартиру, а сам их жалеет, колбасу таскает… Как это понять, Кондратич, а?

Старик побагровел от смущения, забегал глазами по сторонам.

— Это я вон мальчику… Жалко навроде сиротинку…

— Дяденька городовой, — заплакала девушка, — не верьте ему. Это он не из жалости к нам принес колбасу, а… — Она подошла к городовому и что-то ему прошептала. Городовой даже попятился от неожиданности.

— Да ты что, девчоночка? — поразился он. — Да неужто ты правду говоришь?

— Истинный господь, дяденька городовой, — перекрестилась Маша. — Перед святыми иконами клянусь.

Старик, чувствуя недоброе, переминался с ноги на ногу, покашливал и, по-видимому, раскаивался, что позвал городового.

— Вот старый охальник, — с возмущением посмотрел на него городовой. — Да ты что ж это, Кондратич, с ума, что ли, рехнулся, а?.. Бога ты не боишься.

— Гм… Гм… — смущенно откашливался хозяин. — Брешет девка!.. Брешет сука!

— Совести в тебе нет, старый хрыч, — укоризненно покачивал головой городовой. Ишь ведь какими делами задумал заниматься, мерзкий греховодник… Что ж это ты измываешься-то над сиротами?..

— Мне гроши за квартиру треба, — упрямо затвердил

старик. — Более ничего… Деньги…

— Ну, вот что я тебе скажу напоследок, Кондратич, — внушительно произнес городовой. — Нами, городовыми, хочь и пужают малых детей, да не токмо малых, но и взрослых, но не все мы совесть потеряли. Конешное дело, многие из нашего брата злые, сердца не имеют… А я, брат, хочь и городовой, одним словом, полицейский, а сердце человеческое и совесть имею, что она значит-то, сиротская жизнь… Да у меня у самого трое детей, да не дай бог, они осиротеют, а к ним придет такой вот старый обормот, как ты, да зачнет над ними измыву совершать… Да такого мерзавца я собственноручно могу задушить, — в ярости прорычал городовой.

Несколько успокоившись, он снова заговорил, обращаясь к старику:

— По закону ты правый. Ежели не платят за квартиру, то надобно таких квартирантов удалять с квартиры… Но я прошу тебя, хозяин, поимей совесть, обожди немножко. Пущай поживут еще ден пяток… Я сейчас, ребята, — сказал он, обращаясь ко мне и Маше, — строюсь. Новый дом строю. Так вот на своем новом подворье я вырыл погреб… Завтра и послезавтра я обкладу его досками, пол выстелю, покрою… Ну вот вы и переходите жить ко мне в погреб… Никакой платы не возьму с вас… За так живите…

— Спасибо, дяденька, — поклонилась ему Маша, не зная еще, как отнестись к такому поступку городового.

После мы убедились, что городовой пустил нас жить в свой погреб не из добрых побуждений. Новое подворье его находилось на горе, в довольно пустынном месте. Он боялся, что разворуют строительные материалы, которые он подвозил к постройке. Мы же были бы для него надежными сторожами. Хитрец он был большой, но мы в этот момент видели в нем своего благодетеля.

— Прощевайте, ребятки! — сказал городовой. — Я тогда скажу, когда переезжать… Да и подводу дам. А хозяина не бойтесь, он не тронет вас… А ежели будет приставать, скажете мне, я… гм, гм!.. — он посмотрел на старика таким взглядом, что у того даже ноги подкосились.

Через неделю городовой прислал за нами подводу. Мы с Машей уложили на дроги свой скудный домашний скарб и переехали жить в погреб.

Отец все эти дни где-то пропадал и не знал о нашем переезде.

В погребе

Мы спустили в погреб свои пожитки. Сестра посередине погреба поставила стол, вокруг стола стулья, застелила кровать, развесила на стенах фотокарточки. Потом зажгла лампу.

Я огляделся вокруг и от удовольствия даже засмеялся. Замечательно! Красота!

Отец наш, узнав, где мы, пришел к нам однажды поздно вечером.

Подойдя к погребу, он крикнул:

— Эй вы, хозяева!.. Слышите?.. Спускайте меня в преисподнюю.

Мы с Машей бережно спустили его в погреб, уложили спать.

А утром, проспавшись, он снова пропал на весь день. Сказал, что идет искать работу. Так стало повторяться каждый день.

Маша тоже часто уходила из дому. Иногда она находила случайную работу: то полы мыла кому-нибудь, то стирала. Я же в то время находился в погребе: караулил, чтоб кто-нибудь не обокрал нас.

Но однажды я все-таки не укараулил. Отлучился на полчаса, и нас обворовали, утащили последние вещи, которые так берегла сестра. Нечего и говорить о том, сколько, было пролито слез по этому поводу.

Мне скоро должно было сравняться десять лет, а я в школу по-прежнему не ходил, хотя читал уже бегло и зачитывался книжонками о приключениях знаменитых сыщиков Ната Пинкертона, Шерлока Холмса и Ника Картера. Брал я эти книги у двоюродного брата и его друзей.

Брат Митя нынешней весной уже закончил начальную школу и готовился осенью сдавать экзамены в гимназию. Остальные мои приятели, дети состоятельных родителей — капитанов, штурманов, механиков, тоже или учились в гимназии, или готовились поступить в нее. Только я среди них был неучем. Но надо сказать, что по развитию своему я от них не отставал.

Начитавшись Шерлока Холмса и Ната Пинкертона, мы очень любили играть в сыщиков и преступников. Роль сыщика почти всегда я брал на себя.

Иногда в наших играх принимали участие девочки — мои двоюродные сестры Лида и Нина и их подружки. Но они решительно отказывались играть в сыщиков. Нам приходилось играть в горелки, в испорченный телефон, в краски, водить хороводы, петь песни.

Среди девочек была одна, которая мне очень нравилась. Это

была десятилетняя дочь капитана, Катенька, гимназистка первого класса, хорошенькая розовенькая девочка. Она мне так нравилась, что даже снилась во сне. И если когда-либо мне приходилось становиться в паре с Катей, я страшно робел и смущался. Я так терялся, что даже забывал, что мне надо делать… Когда надо было бежать, я стоял, как столб. Дети весело хохотали надо мной. Несмотря на то, что друзей у меня было много, я тосковал по своей станице, по ребятам. Иной раз от тоски по родному краю я просыпался ночью и плакал.

Я давно, еще как приехал в Мариупольский порт, написал Кодьке Бирюкову письмо, описал ему подробный маршрут, по которому он с ребятами мог бы плыть на лодке в Мариуполь. Но ни ребят, ни ответа от них не было. Это молчание друзей очень меня угнетало…

Наступила осень. Наш хозяин — городовой, уже не такой добрый, как вначале, потребовал, чтобы мы освободили погреб.

Мы не стали возражать. На зиму нам все равно надо было перебираться куда-нибудь в теплую квартиру.

Отец наш несколько облагоразумился, перестал пить. Он нашел маленькую комнату за умеренную плату, и мы перебрались в нее.

— Эхо-хо-хо! Довел же я вас, ребята, что называется, до ручки, — вздыхая, как-то раз сказал нам с Машей отец. — Дожили мы… Скотина я. Простите уж меня, дети, ради бога… Пойду к Иринарху Дмитриевичу, буду просить его, чтобы помог мне устроиться куда-нибудь на работу.

Дядя Иринарх был добрым человеком. Он искренне хотел помочь нам. Обрадованный тем, что отец бросил пить, он предложил ему работу на пароходе, на котором служил капитаном.

— Поваром сумеешь быть? — спросил он у отца.

Никогда в своей жизни отец поваром не работал. Но отказываться ему не хотелось.

— Да как тебе сказать, — неуверенно ответил отец. — Домашнюю пищу приходилось готовить. Думаю, что сумею и команду твою обслужить… Угожу, постараюсь.

Первое время все шло хорошо. Отец вроде приспособился к своей новой специальности и научился готовить команде борщи, супы, котлеты. Может быть, все это было и не так уж вкусно, но матросы помалкивали, зная, что новый кок — близкий родственник капитана.

Но все же обеды были, видимо, неважнецкие, потому что команда стала выражать вслух свое недовольство, и однажды чуть не произошел бунт.

Дядю Иринарха вызвали в управление порта к самому высокому начальству, сделали нагоняй и приказали немедленно выгнать незадачливого кока с парохода.

С горя отец снова запил… Опять наступили голодные дни.

— Саша, — сказала мне однажды сестра, — ты уже стал большой, должен все понимать. Так больше жить нельзя. Если сидеть дома, то мы будем все время голодать… Ты оставайся с отцом, а я поеду в город. Может, там устроюсь на завод какой или еще куда… Устроюсь, тебе помогать буду… Прощай, братик. Печку-то ты сам можешь затопить и кашу себе сварить…

И она уехала.

Мечты о станице

Предоставленный сам себе, я был волен делать все, что мне хотелось. К дяде Иринарху я теперь не ходил. Считая меня уличным мальчишкой, могущим дурно повлиять на детей, Лидия Николаевна запретила мне приходить к ним. И я почти не виделся со своим двоюродным братом и сестренками. Оборвалась моя дружба и с «чистенькими» детьми капитанов и механиков. По совету тети родители запретили им играть со мной…

Однажды я пошел за чем-то в бакалейную лавку. Там я неожиданно встретился с Катенькой. Разодетая, как куколка, девочка куда-то торопилась. Увидев меня, она с надменным выражением лица отвернулась и прошла мимо. Меня это очень огорчило.

Но вскоре я нашел себе новых друзей. Это были наши дворовые ребята — дети матросов, грузчиков и сапожников. С ними я тоже играл в сыщиков. Игры наши были интересные, шумные.

Иногда мы веселой ватагой бегали на пристань. Там кипела напряженная трудовая жизнь. Скрипели краны. Как муравьи, суетились грузчики.

По пристани под руку с проститутками расхаживали иностранные моряки. Мы клянчили у них деньги, сигареты, спички.

— Гив ми, — орали мы, — смоук сигарэтес, плиис!

— Гив ми, бокс ов мэтчиз, плиис!..

— Гив ми, пенс!

Моряки, шаря в карманах, охотно бросали нам монеты, сигареты или спички. Мы, как одержимые, сбивая друг друга с ног, кидались, норовя первыми захватить брошенный предмет, крепко стукались лбами. Иностранцы хохотали над нами.

В воскресенье к нам из города приехала Маша, привезла мне конфет и сообщила, что она устроилась судомойкой в аптеку, мыла флаконы и баночки из-под лекарств. Хозяин аптеки, провизор, был добрый немец, к Маше относился хорошо и обещал, если она будет внимательной, сделать ее даже фармацевтом.

Потом она стала приезжать к нам каждое воскресенье, привозила мне деньги, подарки. И я зажил неплохо. Правда, бывало не раз и так: проем я все деньги, а потом и сижу голодный… Жду, когда снова приедет сестра.

Мы спали с отцом на одной кровати. В комнате было холодно, и мы лежали, крепко обнявшись, согревая друг друга.

Однажды утром отец, проснувшись, сказал:

— Слышишь, Саша, я пить-то все… бросил…

— Как, папа, бросил? — удивился я. — Насовсем?

— Ну, может, и не насовсем, — заколебался отец, — но… на некоторое время… Надо, брат, за дело браться. Да, надо! — решительно заявил он. — Нынче же пойду работу искать… Уголь у нас есть ай нет?

— Вчера я из порта ведро принес, — сказал я. — С ребятами наворовал из вагона…

— Нет, Саша, — сказал отец, — воровать не надо. Я хоть и пьяница, но вором никогда не был… И тебе не велю. Слышь, не воруй!.. Ну, уголь это еще ничего… Уголь можно, потому что он казенный… Но вот что касаемо другого, то боже тебя упаси!..

Он вскочил с кровати, оделся и растопил печку. Сразу же от раскалившегося чугунка потекло по комнате тепло.

— Ежели хочешь, то полежи, Сашурка, — сказал мне отец ласково. — Понежься… У тебя картошка-то есть?.. Сейчас наварим.

Я лежал в постели, наслаждался. Трезвый отец такой добрый, ласковый, мягкий.

Намыв картошки, отец положил ее в кастрюлю, поставил на чугунок варить. Он заглянул в шкафчик, где обычно хранился хлеб. Там было пусто.

— Что, хлеба-то нет, оказывается? — спросил отец.

— Н-нету-у! — протянул я виновато. — Вчера доел весь.

— Ах ты, черт возьми! — выругался отец. — И денег, должно, у тебя нет, а?

— Нету, папа, все закончились… Маша давно уже не привозила.

Отец задумался, а потом стал рыться в карманах своего пиджака. Что-то бормоча себе под нос, он рылся долго. Но, увы! Карманы были пусты. Кроме табачных и хлебных крошек, там ничего не было.

— Не повезло! — вздохнул он. — Не повезло!..

Он стал ощупывать полу своего драного пальтишка… Что-то нащупав в уголке полы, он просиял.

— Вот, никак, есть… Но, может, пуговица?..

Он распорол ножницами подкладку в том месте, где-что-то прощупывалось.

— Пятиалтынный! — выкрикнул отец радостно, вынимая серебряную монету. — Ну, брат, живем!.. Вставай, Саша, беги в лавку хлеба купить да пяток огурцов соленых… Ну, брат мой, повезло так повезло… — Он смеялся таким счастливым смехом, словно выиграл по лотерейной облигации крупную сумму.

Одевшись, я быстро сбегал за хлебом и огурцами. Картошка сварилась. Она стояла на столе, белая, разварившаяся, такая аппетитная.

После завтрака отец пошел на пристань искать работу. Не найдя работы, он уже поздно вечером, злой и голодный, возвращался домой. В этот момент с ним случилось несчастье, едва не стоившее ему жизни. Идя в темноте по пирсу, он шагнул и, не нащупав ногой опоры, полетел вниз. Ремонтируя здесь днем помост, рабочие забыли закрыть на ночь дыру. Падая в пролет, отец каким-то чудом попал ногами на перекладину и сумел на ней устоять.

Всю ночь отец простоял на бревне, тщетно взывая о помощи. Только утром рабочие вытащили его.

Некоторое время отец держался, не пил. Кое-как мы сводили концы с концами., жили на случайные отцовы заработки. Когда он приносил домой несколько заработанных рублей, для нас это было настоящим праздником. Мы покупали на них картошки, масла, сахару, кренделей и пировали. В такие минуты я считал, что мы самые богатые и счастливые люди на свете.

В последнее время отец все чаще стал задумываться.

— Эх-хо-хо! — вздыхал он. — Зря мы уехали из станицы: Ей-богу, зря!.. Там все свои… В беде не оставили б, помогли б… Да и работенка там всегда была б.

— Папа, а давай поедем туда, — сказал я. — Ну чего мы тут будем бедствовать?.. Будешь в станице красить дома, иконы рисовать. Я тебе буду помогать… Поедем, папа. Заработаешь там денег, опять купим дом… Будем себе жить-поживать.

— Э, дорогой мой помощник, — притянул отец меня к себе, обнимая. — Я б с удовольствием сейчас бы уехал отсюда. На что уедешь-то?.. Денег ни копейки нет. А дядя Иринарх не даст, мы ему и так сколько задолжали… Его из-за нас жена загрызла… Прямо-таки жалко становится…

На мгновение задумавшись, он проговорил:

— Вот заработаю, Сашурка, денег на билеты, тогда, брат, и поедем… Обязательно уедем!..

— А Машу тоже заберем?

— Беспременно. Заберем и ее. Чего ей тут делать?

Творчество

Обычно в здешних местах зимы бывают сырые, промозглые, но не холодные, терпимые. В этом же году зима, на удивление всем, выдалась морозная, снежная, вьюжная. Море замерзло. Маломощные ледоколы не успевали прокладывать фарватер во льду. Жизнь порта замерла. Появилось много безработных.

Отец пал духом. Если до этого на пристани еще находилась кое-какая работенка, кормившая нас, то теперь ее невозможно было найти. Для нас наступили самые тяжелые дни. Мы стали жестоко голодать. Все, что можно было еще продать, отец уже давно распродал. Больше у нас ничего не оставалось. Надеяться было не на что. К дяде Иринарху мы не смели обратиться за помощью.

…Днями отец бродил по городу, ища работу. В отсутствие его ко мне приходили мои приятели — Гришка Чубарь, озорной мальчишка лет двенадцати, сын прачки-вдовы, и Володька Свистун, сын портового грузчика. В их компании мне было не скучно, я отвлекался, и мне меньше хотелось есть. Правда, иногда они приносили чего-нибудь покушать — луковицу, морковку или пару картошек. Все это они добывали на рынке, где окрестные крестьяне торговали с возов разной снедью.

— Пойдем с нами, — уговаривали они меня. — Шапнем там картошки или капусты. На красоту будет… Пойдем, Сашурка!

Я отказывался.

— Дундулук ты, — с презрением говорил Гришка.

Ребята уходили промышлять на рынок, а я жарко растопив печку-чугунок, ложился на кровать и принимался читать книги Фенимора Купера или Густава Эмара об индейцах. Забывая о голоде, о своей нищете и обо всем на свете, я уносился в иной мир, жил жизнью героев этих чудесных произведений. Я переживал радости и печали полюбившихся героев, жил в индийских вигвамах, скакал по девственным прериям и саваннам на быстрых, как ветер, мустангах, охотился на львов и бизонов…

Подолгу всматривался я в портреты авторов этих, поистине волшебных книг, изумляясь, как они, эти писатели, по виду своему ничем не отличающиеся от других простых смертных людей, обладают такой чародейской силой, заставляют своих читателей уноситься в созданный ими прекрасный мир.

Однажды я и сам, потрясенный до глубины души книгой «Последний из могикан», взял ученическую тетрадь и принялся писать повесть об индейцах. Но так как индейцев я знал совсем мало, только по книгам, то для большей убедительности я решил

включить в повесть в качестве героев и донских казаков. Их-то уж я знал отменно.

Над повестью я трудился с неделю, а когда прочитал написанное, то так растрогался, что даже прослезился. Мне показалось, что до того хорошо написал повесть, что затмил и Майн Рида, и Фенимора Купера, не говоря уже обо всех других писателях, когда-либо писавших об индейцах.

Я заважничал, с большим почтением стал относиться к себе.

Наконец я решил прочесть повесть ребятам. Воспользовавшись тем, что отца не было дома, я позвал их к себе. Пришли семь мальчишек во главе с Гришкой Чубарем. Все они чинно расселись на табуретах и стульях в нашей комнате. Двое даже взгромоздились на кровать.

— Ребята, — сказал я с волнением, — послушайте! Я написал повесть об индейцах… Я вам ее сейчас прочту, а вы послушаете и скажете, понравилась она вам или нет?.. Ладно?

— Да, — проворчал кто-то из ребят, — скажешь тебе плохо, а ты морду набьешь.

— А вот этого он не видел? — показал мне кулак Гришка.

— Только вы, ребята, не шумите и не разговаривайте, — предупредил я, не обратив внимания на Гришкин кулак.

— Ну да ладно уж, — недовольно скривился Гришка. — Валяй, трепись!

Я снова не удостоил его вниманием и стал читать:

— «Смелое Сердце вскочил на полудикого мустанга и помчался по прерии…»

— А что это такое «прерия»? — спросил самый маленький из моих слушателей, шестилетний Павлик.

— Не перебивай, — толкнул его в спину Гришка.

Но я охотно ответил Павлику:

— Прерия — это степь. Так она там называется…

— А где там?

— Да там, — терпеливо отвечал я, — где, значит, живут индейцы. Понял?

— Понял, — мотнул головой мальчишка.

— А вот что это «мустанг», а? — спросил Володька Свистун.

— Лошадь такая.

— Не мешайте ему, — снова прикрикнул Гришка. — Не бухтите! Читай!..

— «А в это время на горизонте показалась группа всадников. Их было человек десять. Это были донские казаки, — читал я. — Увидев Смелое Сердце, они помчались ему наперерез…»

Снова посыпались вопросы:

— Кто это «Смелое Сердце»?

— А казаки с пиками?

Меня сбивали с толку эти многочисленные вопросы, но я старался спокойно на них отвечать. Удовлетворив любопытство ребят, я снова продолжал читать:

— «А в стороне, по балке, ехали индейцы. Их было много — человек сто. Казаки их не видели…»

— Сашурка! — вскричал пораженный Павлик. — Как же это так? Ведь это ж они увидят друг друга и зачнут воевать, а?..

— Ну да, — кивнул я. — Так же оно и должно быть.

Хотя и с перерывами, но все же мне удалось дочитать до конца свою повесть. Я пытливо посмотрел на слушателей: что скажут они о моем произведении?

Несколько секунд мальчишки сидели молча, с серьезными, сосредоточенными лицами. Потом все разом заговорили:

— Вот здорово-то!

— Неужто это ты, Сашурка, сочинил?

— А вождь у индейцев-то какой хороший!

— А казаки ловко воевали!

Нахмурившись, Гришка с недовольным видом слушал ребячью болтовню.

— Замолкните! — прикрикнул он властно. — Раскаркались, как вороны.

— А тебе что? — огрызнулся кто-то из ребят.

— Гляди, а то я те покажу «что», — грозно посмотрел на него Гришка.

Удивительно, до чего же Гришка Чубарь похож на Кодьку. Такой же властный, грубиян. Такой же зачинщик шумных игр и налетов на огороды. Я выжидающе смотрел на Гришку. Его-то слово для меня, конечно, было авторитетно.

— Брехня! — выпалил Гришка.

— Что — брехня? — подскочил я от изумления.

— А то брехня, что это не ты написал.

— А кто же?

— Это ты переписал из какой-нибудь книжки.

Мне было лестно слышать от Гришки, что он мне не верит, что это именно я написал об индейцах, а в то же время обидно, что он усомнился в моих способностях.

— Да ты что, Гриша, — миролюбиво сказал я. — Чего же мне переписывать. Да ты знаешь, какой я писучий?.. — расхвастался я. — Да если я захочу, то и получше этого могу сочинить…

— Тож мне, сочинитель, — с пренебрежением процедил сквозь зубы мальчишка. — Напишет он… Знаем мы таких бумагомарак… — В добавление к этому он сказал такое отвратительное и похабное, от чего ребятишки смущенно

захихикали, а меня так взорвало, что я закатил ему добрую пощечину.

— Ах ты, гад! — взвыв от ярости, ринулся на меня Гришка. — Драться еще…

Сцепившись друг с другом, мы завертелись по комнате, опрокидывая стулья и табуретки. Мальчишки, давая нам место для драки, рассыпались по сторонам, искрящимися глазенками наблюдая за каждым нашим движением.

— У-у! — скрипел зубами Чубарь. — Изу-ве-чу!

— А я тебя покалечу! — в тон ему отвечал я.

Мой противник был года на два старше меня, крепче и сильнее. Но я ему не уступал. Крепко сжимая друг друга в объятиях, мы катались по полу.

— Сдавайся, Сашка! — кричал мне Чубарь. — А то все едино задушу.

— Я тебя сам задушу, — воинственно хрипел я, чувствуя, что последние силы мои иссякают. Гришка, по-видимому, это понял. Он еще раз встряхнул меня и шваркнул на пол. Падая, я услышал, как на мне затрещала рубашонка. Я похолодел: она у меня была единственная. Ребята испуганно завопили:

— Рубашку порвал!.. Рубашку порвал!..

Я заплакал. Моргая, Гришка озадаченно смотрел на меня.

— Ну чего ты ревешь-то? — сказал он ворчливо. — Сам же налез… Ежели б не лез, так ничего б и не было.

— Не плачь, Сашурка, — сочувственно сказал Володька Свистун. — Мы ее тебе зашьем… Есть у тебя нитки и иголка?..

— Чего зря ляскать-то, — оборвал Гришка Свистуна. — Разве ж ее теперь зашьешь? Она же свой век-то отжила уж. Вишь, какая трухлявая. Надо Сашке новую рубаху добывать.

— А где ты ее добудешь-то? — недоумевающе поднял на него глаза Володька.

— А это уж не твоя забота-печаль, — подмигнул Гришка. — Может, свою рубаху отдам…

— Фьють! — насмешливо свистнул Володька. — Богач, продай куски!

— Вот возьму и отдам свою рубашку. Понял? — презрительно произнес Гришка.

— Хвастаешь, — махнул рукой Володька.

Я тоже, конечно, не особенно-то верил Гришке. Подумаешь, действительно, какой богач. Откуда бы он взял рубашку? У него и у самого-то, наверно, не более двух.

Поговорив о происшедшем, ребята разошлись. Ушел и Чубарь. Я остался один. Плача, я стал зашивать рубашку. Но у меня ничего не клеилось. Я то зашивал, то снова распарывал… За

этим занятием меня и застал Гришка Чубарь.

— Да брось ты ее к дьяволу, — вырвал он у меня из рук рубашку. — Она же негожа… Бери-ка вот эту лучше, — сунул он мне почти новую ситцевую синюю рубашку. — Надевай!

Недоверчиво взглянув на мальчишку, я надел ее, но она была мне велика.

— Где ты ее взял? — спросил я у Гришки.

— А тебе не все едино, — ухмыльнулся мальчишка. — Носи себе на здоровье.

— Нет, ты все-таки скажи, где ты ее взял? — допытывался я упрямо.

— Ну, украл, а что?

— Ворованную не буду носить, — твердо заявил я и, проворно сняв с себя рубаху, вернул ее Гришке.

Чубарь опешил. Этого он от меня никак не ожидал.

— Не будешь носи-ить? — протянул он и расхохотался. — Подумаешь, фря какая. Не хочешь носить — не надо. Я сам изношу. А ты вот походи голый. Ха-ха-ха!..

— Буду ходить голый, а ворованного не надену, — сказал я.

— Ну и черт с тобой, дурак! — рявкнул Гришка. — Не надевай. Пожалел гада, а он еще задается.

Сунув рубаху себе в карман пальто, он, гневный, распаленный, направился к двери. Но у порога остановился и сердито взглянул на меня.

— А мою рубаху возьмешь? — спросил он хмуро.

— Какую?

— А вот эту, — распахнул он пальтишко и показал мне свою старенькую, латаную, но чистую рубашку.

Я молчал.

— Ну, что молчишь-то? — гаркнул Гришка. — Ежели будешь носить, так бери, носи, пока дают… Возьмешь, что ли?

— Твою бы взял, — нерешительно проговорил я, все еще сомневаясь в том, что Гришка делает это искренне.

— Ну и бери, — простодушно сказал мальчуган и, сбросив пальто, стянул с себя рубашку.

— Надевай!.. Когда дают — бери, а бьют — беги, — нравоучительно приговорил он.

Я надел на себя Гришкину рубашку, а он ту, синюю, которую предлагал мне раньше. Потом Гришка любовно оглядел меня со всех сторон, похлопал по спине и расплылся в довольной улыбке.

— Ну, чертяка, носи себе, да знай, что Гришка, брат, такой человек, что для дружка своего он ничего не пожалеет.

Я промолчал, хотя видел, что мальчишке очень хочется услышать от меня слова признательности и благодарности за

свой великодушный дар.

Постояв у порога, Гришка сказал:

— А знаешь, Сашка, сочинение-то об индейцах ты здорово написал. Ей-богу, не брешу! — И он вышел.

* * *

Однажды отец пришел домой чем-то возбужденный и немного подвыпивший.

— Ну, Сашурка, — сказал он весело, — наши дела поправляются.

— Работу нашел, папа?

— Нашел, сынок, слава богу. Всю зиму буду работать, пока лед на море не стает. Море будем обмерять… Понимаешь, сынок, — говорил радостно отец, — какая выгодная работа-то. По целковому в день будут платить. Это, пожалуй, ежели лед продержится зиму, то можно рубликов пятьдесят-шестьдесят подработать.

— Соберем на дорогу, — мечтательно проговорил я, — и уедем в станицу… Правда, папа?

— Непременно, сынок, — подтвердил отец. — Подсоберем деньжат и трахнем отсюда… Ха-ха!.. Ну их и с морями, не подходят они нам для жизни.

Улегшись спать, мы долго не могли заснуть, все строили планы на будущее, мечтали. Утром отец проснулся еще до рассвета. Он растопил чугунок, вскипятил чай и, одевшись потеплее, ушел на море.

В первые дни работы отца морозы были легкие. Отцу даже приятно было работать при такой бодрящей температуре. Приходил он с работы уже вечером, раскрасневшийся от мороза, веселый и жизнерадостный.

Каждый раз к его приходу я докрасна накалял чугунок. В комнате нашей стояла приятная теплота. Мы с отцом ели горячую картошку, пили чай с кренделями, блаженствовали, наслаждаясь жизнью.

Уходил отец на работу с рассветом, наскоро позавтракав холодной картошкой с луком. С партией рабочих и специалистов он отправлялся далеко в море. Там, прорубая во льду лунки, они лотами производили обмер глубины фарватера.

Недели две все шло хорошо. Отец был доволен работой. Он уже заработал рублей пятнадцать. Мы зажили сытнее. Из этих денег отец сумел даже купить мне новые штаны и рубаху и отложить на наше возвращение в родные края пять рублей.

И вдруг случилась непоправимая беда — ударили сильные морозы. У большинства рабочих, выходивших в море на обмер фарватера, были валенки и меховые полушубки. А отцу и еще двум-трем подобным ему беднякам в их пальтишках и сапожонках пришлось плохо. Все они простудились и обморозили ноги. Отец заболел воспалением легких. Его положили в больницу.

Пролежал он в ней до весны. За его лечение платила администрация порта. В больнице отцу ампутировали большие пальцы на обеих ногах.

Вышел отец из больницы уже в конце апреля, под пасху, бледный и похудевший, весь какой-то прозрачный. Дня через два к нам зашел дядя Иринарх.

— Ну, что теперь будешь делать, Илья? — спросил он у отца.

— Да и сам не знаю, — нерешительно проговорил тот. — Советуют вот судиться с управлением порта, чтоб уплатил мне за увечье.

— Чепуху говоришь, — отмахнулся дядя, — С казной трудно судиться. Ничего с нее не высудишь… Я думаю, тебе надо отсюда уезжать… Зря я тебя сюда выманил. Я вот тебе принес на дорогу денег. Собирайся и уезжай. В станице для маляра работа всегда найдется. А к здешней жизни ты не приспособился. Надоело мне на твою горемычную жизнь смотреть, порой так даже от людей стыдно становится за тебя.

— Значит, не советуешь мне с казной судиться? — спросил отец.

— Нет, — сказал дядя. — Все равно ничего не получится. Езжай вот лучше.

— Ладно, — согласился отец. — Ехать так ехать. Поедем, Сашурка, в родные края… Навроде приезжали мы с тобой на море полечиться… Вот мы тут полечились, маленько облегчились, а теперь и полетим налегке… Ха-ха!.. Люди там все свои, — заключил отец, — помогут.

— Когда же в путь-дорогу соберетесь? — спросил дядя Иринарх.

— Голому собраться — лишь подпоясаться, — усмехнулся отец. — Сегодня соберемся, а завтра поедем.

— Ну, в добрый час! — сказал дядя, вставая. — Езжайте с богом. Проводить вас не смогу: в море завтра уйду.

Он расцеловался с нами и ушел. После этого мы дядю Иринарха уже никогда не видели.

На следующий день мы с отцом, захватив с собой небольшие узелки с вещами, поехали в Мариуполь, там разыскали Машу и попрощались с нею.

Неласковый прием

Приезд наш к Юриным был неожиданным для них, они даже немного растерялись. Когда из комнаты все ушли и мы остались вдвоем с сестрой отца, тетушкой Агафьей Петровной, она мне прямо и откровенно высказала свое отношение к нашему приезду:

— Черти вас принесли, оглоеды проклятые…

Как ошпаренный, выскочил я из комнаты, разыскал во дворе отца и, обливаясь слезами, рассказал ему, что услышал по поводу нашего прибытия из уст тетушки. Отец это сообщение принял совершенно равнодушно.

— Э, да пусть! — усмехнувшись, махнул он рукой. — Она всегда такая. Ты, Саша, не обращай на нее внимания… Все дело в Ефиме Константиновиче. А он человек золотой.

Ефим Константинович, супруг моей тетушки, маленький, тщедушный старичок, добрейшей души человек, с патриаршей серебряной бородой, веером лежавшей у него на груди, был живописцем, имел свою мастерскую.

Хороший он был старик. За всю свою жизнь никогда никому грубого слова не сказал.

На облысевшей, блестящей, словно отполированной, его голове росли реденькие кучерявые седые волосы, будто серебристым ореолом окружая его лысину.

Я находил разительное сходство между дядей Ефимом Константиновичем и богом-отцом Саваофом, изображенным на большой иконе «святой троицы», висевшей на стене в мастерской.

Всматриваясь в бога-отца, я думал, что у него борода была точно такая же, как у дяди, — широкая, серебряная, лопатообразная. Да и серебристые петушки на лысине у бога-отца были такими же, как и у Ефима Константиновича.

Долго я не мог понять такого совпадения, а потом разгадка пришла сама собой. Оказывается, живописцы, работавшие в мастерской дяди, образ бога-отца списывали со своего хозяина.

Это показалось мне до того забавным, что каждый раз при встрече со стариком я фыркал от смеха.

— Ты чему это смеешься-то? — недоумевал дядя.

Я отмахивался и, давясь от смеха, убегал от озадаченного старика. Ну разве же это не смешно: представить себе дядю Ефима Константиновича, сидящего на троне рядом с Иисусом Христом и богом-духом святым на иконах в церкви и домах казаков?

Нас с отцом поселили жить во флигеле, в котором находилась мастерская Юриных.

Флигелек этот состоял из двух комнат, дополна забитых мольбертами, иконами, картинами, вывесками, красками, кистями, коробками, бутылками и самым разнообразным хламом.

Конечно, кроватей в мастерской не было, и мы с отцом, расстелив на полу рогожи и дерюги, укладывались спать.

— Вот раздолье-то, Сашурка, — смеясь, говорил отец.

Я молчал. Раздолье это мне совсем не нравилось.

Все бы, конечно, было ничего, да уж очень вставать рано не хотелось. А что делать? Приходилось. Работа в мастерской начиналась в семь часов утра. К этому времени мы должны были уже убрать свою постель…

Первым в мастерскую приходил дядя Ефим Константинович.

— С добрым утром! — приветствовал он нас.

Затем появлялись два мастера — длинноволосый рыжий Иван Максимович Лужин и плешивый старичок Егор Лукич Курочкин. Вслед за ними торопливо прибегали заспанные, вечно зевающие ученики Васька Морковкин и Андрей Орлов.

Все усаживались за мольберты. Кто писал Николая-чудотворца, кто богоматерь, а кто просто вывеску или, по заказу, какой-нибудь фривольный, веселенький этюд.

Минут через пять после этого в мастерскую приходил старший сын Ефима Константиновича — Степан. А через час после этого появлялся здесь и самый младший сын хозяина, любимец всей семьи, Петя, девоподобный юноша лет семнадцати, с вьющимися длинными волосами, локонами спадающими на плечи.

Были у Ефима Константиновича и еще два сына — Павел и Александр. Павел отбился от семьи и жил сейчас где-то в Ростове, а Александр отбывал военную службу.

Отец бросил пить, работал у Юриных прилежно, копил деньги, чтобы с чем-нибудь приехать в станицу. О станице своей мы с отцом мечтали, как о чем-то несбыточном. Так уж нам хотелось попасть в нее поскорее!

Возможно, мы скоро бы и уехали туда, но возникло обстоятельство, которое нас задержало на довольно продолжительное время: совсем неожиданно приехала Маша. Ей надоело жить на чужбине одной и она, скопив денег на дорогу, решила приехать к нам.

Для меня приезд ее был большой радостью. Я не мог наглядеться на свою сестру. Она повзрослела, похорошела, стала настоящей барышней.

Но тетка Агафья Петровна на приезд Маши посмотрела совсем по-другому. Никого не стесняясь, тетушка недовольно ворчала:

— Не было заботы, так вот господь-бог наслал мне ее… Что мне с тобой делать?.. У меня у самой дочь на выданье, а тут ты еще заявилась… Надо тебя поскорее замуж выдать.

И, не откладывая в долгий ящик, она с большим рвением начала подыскивать для Маши жениха. И старания ее не пропали даром. Жених нашелся. За Машу приехал свататься молодой парень, казак с хутора Белогорского, Георгий Ковалев.

Устроили смотрины. Жениху невеста понравилась очень. Невесте жених — не особенно. Но девушка понимала, что ей надо наконец устраивать свою жизнь, и дала согласие выйти за Георгия замуж.

Чтоб поскорее спровадить с глаз своих нелюбимую племянницу, тетушка Агафья Петровна поспешила сыграть свадьбу. Она даже не поскупилась справить ей кое-какое приданое.

После свадьбы Георгий увез Машу к себе на хутор.

Побег

Вот так мы и дожили до зимы 1912 года. Мне шел двенадцатый год.

— Балбес какой вырос, — ворчала тетушка, неприязненно оглядывая меня, как только я попадался ей на глаза. — Шлындает здесь. Тьфу, прости меня господи!.. К делу надо определять.

К какому, собственно, делу хотела определить меня тетушка, я не мог понять. Если она вообще имела в виду, чтобы я приучался к какой-нибудь профессии и помогал отцу, так это я уже делал. Я вместе с отцом красил палисадники и заборы. Мне даже очень нравилось красить. Обмакнешь этак кисть в ведерко с краской и размазываешь по забору. Сначала нарисуешь чертика с рожками и хвостом, а потом закрашиваешь его постепенно, и он исчезает, словно в пучине морской. Интересно!

Но тетушка имела в виду другое. Ей очень нравились приказчики, живые, веселые пареньки, торгующие у купцов в лавках. Она мечтала выдать замуж свою дочку Любу за приказчика. Ей хотелось, чтобы отец отдал и меня на выучку к какому-нибудь купцу.

— Ведь они, приказчики-то, живут, боже мой, как! — внушала она моему отцу. — В крахмалочках ходят, на жилетах золотые цепочки… Многие лисопеты имеют…

Все это, быть может, и очень было соблазнительно, но меня мало трогало. Я хотел быть маляром и живописцем, как и отец мой. Но тетушка, не переставая, зудела отцу:

— Отдай же ты мальчишку-то в приказчики… Слышь, брат, отдай. Нехай-ка приучается к делу… Человеком ведь будет.

Разговоры тетушки все же возымели действие. Отец послушался своей старшей сестры и договорился с купцом Чаговым, чтобы тот взял меня на выучку.

Как-то раз вечером отец сказал мне:

— Завтра, Саша, отведу тебя к лавочнику. Говорил я с одним, берет тебя. Будешь у него покуда керосин разливать, а потом приглядишься и за прилавок станешь.

Я стал умолять отца, чтобы он не водил меня к купцу. Но отец был непреклонен.

— Пойдем, пойдем. К делу ведь приучишься. Я тоже приказчиком был.

— Не хочу, папа, приказчиком. Буду маляром.

— Одно другому не мешает.

— Но мы ж в станицу уедем летом. Зачем мне учиться на приказчика?.. Разве ж за зиму я научусь?

— Когда надумаем ехать в станицу, тогда возьму тебя от купца, а пока учись.

И вот на следующий день отец отвел меня к купцу Чагову. Чагов, сухой, поджарый мужчина лет под пятьдесят, с козлиной бородкой и злыми тонкими губами, одетый в крашеный черный полушубок, встретил меня насмешливо:

— Вот это и есть твой деляга? — спросил он у отца, оглядывая меня своими черными глазами.

— Он и есть, Павел Николаевич, — подобострастно произнес отец. — Приучите его к делу, пожалуйста.

— Пущай остается, — важно сказал купец. — Поглядим, на что он будет пригоден…

— Он парнишка-то смышленый, — промолвил отец. — Понятливый.

— Сказал, погляжу, — раздраженно прикрикнул купец, — стало быть, и все. Нечего приставать-то зря… Ленька! — строго крикнул Чагов пареньку лет четырнадцати, вертевшемуся в лавке.

— Чего изволите, Павел Николаевич? — подскочил к хозяину тот.

— Научи-ка вот этого мальца керосин покупателям разливать. Понял?

— Понял, Павел Николаевич, — угодливым голоском пропел паренек. — Научу.

— А как научишь, я тебя к другому делу приставлю.

— Благодарю покорно, Павел Николаевич, — ответил Ленька.

Я заметил, что не только Ленька, но и старшие приказчики подхалимничали перед хозяином. С первой минуты мне стало все это невыносимо противно. Еще не приступив к работе, я стал уже обдумывать, как мне убежать отсюда.

— Ну, я пошел, Сашурка, — сказал отец. — Бог тебя благослови. Слушайся тут старших, будь покорным, не своенравничай…

Хмуро выслушивал я нравоучения отца. Не нравилось мне здесь.

Отец ушел. Ленька шепотом спросил меня:

— Как тебя зовут-то?

— Сашурка.

— Это как же понимать? Сашка, что ли?

Я мотнул головой.

— Ты. Сашка, не бойся, — промолвил Ленька. — Тут хорошо… Поперву, конечно, страшновато… а потом привыкнешь… Я тож поначалу боялся, а потом вот, видишь… Хозяин-то повышение мне обещал. Слыхал, небось? Ну, пойдем, я тебя научу керосином орудовать.

Он подвел меня к большим железным бочкам, стоявшим в углу. У каждой бочки был кран, а под краном таз.

— Ежели к тебе подойдет, скажем, какой-нибудь покупатель, — поучал меня Ленька, — так ты его спроси; сколько ему надо фунтов керосину… Ну, он, к примеру, скажет: десять фунтов. Ты возьмешь у него посуду и нальешь ему десять вот таких фунтовых корцов… А когда нальешь, то пошлешь его оплатить в кассу за десять фунтов… Да старайся недоливать керосину. Понял?

— Понял.

— Хозяин это любит, потому как ему прибыль, — продолжал поучать меня паренек. — Вот этот корец полуфунтовый. А этот — четверть фунта.

Целый день возился я с керосином. Я не мог дождаться вечера, когда наконец лавка закроется. У меня теперь окончательно созрело твердое решение не приходить больше сюда.

Я думал о том, как мне избавиться от ненавистной лавки с ее вонючим керосином. И вот придумал.

Завтра утром я сделаю вид, что собираюсь идти в лавку, сам же между тем, захватив коньки и кусок хлеба, махну на Хопер, приверну к сапогам коньки и помчусь по льду к Маше…

Наступил долгожданный вечер. Купец подсчитал в конторке дневную выручку, приказчики навели порядок в лавке. Гремя ключами, хозяин попрощался, с нами и стал запирать лавку.

— Эй ты, малец! — крикнул он мне. — Гляди не проспи. Чтоб завтра к семи был здесь, как стеклышко. Как он, Ленька, работал-то?

— Хорошо, Павел. Николаевич, — закрутился перед хозяином Ленька. — Из него будет толк… Ей-богу, правда!.

— То-то же, — снисходительно сказал купец, кладя ключи в карман. — У меня и должен быть толк у всех… Бестолковых мне не надобно. Понял, Сашка? Не опоздаешь?

— Понял, — буркнул я угрюмо. — Не опоздаю.

— Разве ж так хозяину отвечают? — сказал мне старший приказчик, старик лет шестидесяти. — Надо быть учтивым, вежливым.

— Невежа! — сказал купец. — Ленька, как надо ответить?

— Не извольте беспокоиться, Павел Николаевич, — тоненько пропел мальчишка, — не запоздаю. Приду ровно к семи часам утра.

Сказав это, Ленька с превосходством взглянул на меня, как бы говоря своим взглядом: «Эх ты, размазня, вот как надо!»

— Ну, так-как надо сказать? — строго спросил у меня Чагов.

Я был упрямый мальчишка. В другой раз он черта с два бы от меня чего добился. Но сейчас я шел на все, лишь бы скорее отделаться от хозяина с его лавкой и керосином, от Леньки, от всех. Кривя душой, я даже слаще, чем Ленька, угодливо пропищал:

— Не извольте беспокоиться, Павел Николаевич. Завтра я чуть свет приду сюда.

— Хе-хе!.. — удовлетворенно засмеялся лавочник. — Это ты уж того, переборщил… Ну, ладно, прощайте!

Только этого я и ждал. Как стрела понесся я домой. Жили мы с отцом в это время уже не у Юриных, а снимали комнату неподалеку от них.

— Ну как? — встретил меня отец. — Понравилось?

— Очень, — сказал я угрюмо.

— Я же говорил, что понравится, — оживленно заговорил отец. — Пойдет у тебя дело на лад. Ей-богу, пойдет.

Потом отец куда-то ненадолго вышел из комнаты. В одно мгновение я разыскал под кроватью свои заржавленные коньки, сунул их и кусок хлеба в сумку…

Отец разбудил меня еще до рассвета.

— Вставай, Саша, — сказал он. — Уже шесть часов… Вставай и умывайся… Да садись завтракать.

Когда я сидел уже за столом, отец сказал мне:

— Может, тебе и не понравится возиться с керосином, но это недолго. Все-таки, я думаю, весной мы с тобой уедем в станицу. Но поработать в лавке тебе надо, потому как навык будет, да и вообще, что тебе бездельничать-то?

Я молча слушал отца…

Позавтракав, я схватил приготовленную с вечера сумку с хлебом и коньками и побежал на Хопер. Он протекал верстах в трех от станицы.

В полынье

Наступал мутный рассвет. Над рекой на яру в задумчивом оцепенении, словно завороженные, стояли покрытые инеем молчаливые дубы, тополи, клены, ясени. Посреди реки, прямо на льду, сосредоточенно глядя в лунки, сидели несколько ранних рыбаков.

Пристроив к сапогам коньки, я двинулся вверх по течению реки. Лед был скользкий и блестящий, как стекло. Бежать по нему было одно удовольствие. Река извивалась змеею… Мимо мелькали коричнево-желтые крутояры. С них, как будто с любопытством глядя на реку, интересуясь, что там делается, свешивались верхушки кустарников.

Еще издали завидя меня, не иначе как злословя на мой счет, взбалмошно начинали стрекотать болтливые сороки…

Я мчался уже часа два-три. Спина моя взмокла, по разгоряченному лицу струился пот. Я снимал шапку и подставлял потную голову ветру, и он ласково теребил мои волосы. Хотелось пить. По сторонам изредка мелькали синие полыньи. Я мог бы прилечь к краю и напиться, но боялся простудиться. В прибрежных кустарниках в снегу, как на кусках ваты, пятнами крови краснели тяжелые гроздья калины. По моим расчетам, я пробежал уже около тридцати верст. Казалось, давно бы должен был показаться Машин хутор. Ведь по прямой дороге до него всего только семнадцать верст. А я, наверно, и полпути еще не проделал.

Хопер сделал крутой изгиб влево, и передо мной вдруг предстало десятка два столпившихся на обрывистом берегу казачьих куреней. Из труб их поднимались тусклые клубы дыма.

Что это за хутор? Как бы узнать здесь, далеко ли до Машиного хутора?

На мое счастье, посередине реки я увидел древнего старика, удившего в лунке рыбу.

— Дедушка, — подъехав к нему, спросил я, — это какой хутор?

Старик поднял на меня свои выцветшие, затуманенные глаза.

— Это не хутор, — сказал он, шамкая беззубым ртом, — а станица Добринская… А ты откель, детина, будешь-то?

— Из Урюпинской.

— Да ну?! — вытаращил на меня глаза старик и с необычной для его лет живостью вскочил на ноги. — Да ты что, ай дьяволенок, а? Хи-хи-хи!.. Очумел, что ль?.. Неужто из Урюпинской на коньках притилюпал, а?

— На коньках, дедушка.

— Вот холера те забодай, — смеялся старик, оглядывая меня. — Прям, истинный господь, дьяволенок. Чудеса!.. Ведь это, почитай, ежели по Хопру ехать, так верстов, должно, сорок будет… Тебе куда ж надоть-то?

— А я к сестре еду, на хутор… — Я назвал, куда мне надо.?

— Ого-го! — всплеснул руками старик. — Это ажно к сатане на кулички… Это далече тебе… Верстов, должно, двадцать пять с гаком отмахать надобно. Докатишься, а?..

— Ну а чего ж, конечно, — сказал я.

— Ну, и чертушка ж ты, сукин сын, — доброжелательно похлопал меня голицей по спине старик. — Одним словом, молодчага!.. Ну, дуй!.. Господь тебя благослови. К вечеру доберешься. А ну катись — погляжу на тебя.

Я распрощался с веселым дедом и, желая показать ему свое молодечество, лихо разогнался и, как вихрь, исчез за поворотом реки.

Но я все-таки порядочно утомился и чувствовал огромную усталость во всем теле.

Теперь я бежал тише, чаще отдыхая. За дорогу я очень проголодался и, съев весь свой хлеб, даже не почувствовал, что утолил голод..

На сугробы легли фиолетовые сумеречные тени. Скоро завечереет, а до конца пути еще далеко. Ноги налились свинцовой тяжестью, и я еле передвигал ими.

С лесистого яра вдруг грохнул выстрел, у меня с испугу все внутри дрогнуло. Эхо долго рокотало по лесу, постепенно затихая где-то вдалеке. Затем снова прогрохотали один за другим два выстрела. И оттуда, где только что стреляли, на лед стремглав выскочил ошалевший от страха заяц. Прижимая уши и скользя по льду, он бежал в мою сторону. Но вдруг, завидя меня, он круто шарахнулся назад и запрыгал вдоль берега. Свернув, я помчался за ним. На льду, как горошины, алели капельки крови. Видимо, заяц был ранен…

— А-яй-яй! — вопил я пронзительно, несясь за косым. — Держи его!.. Держи!..

Азарт был до того велик, что я забыл обо всем на свете — и об усталости, и о голоде, и об осторожности. Единственным моим желанием было сейчас поймать зайца. Я уже нагонял его. Вот-вот я нагнусь и схвачу его за длинные уши.

Впереди мне почудилось что-то подозрительное, как будто распласталась синяя полынья, слегка подернутая ледком и запорошенная снегом. Вообще-то таких замаскированных полыней по пути мне попадалось немало. Я научился их

распознавать.

Но сейчас я плохо соображал. Мне мерещился только заяц.

— Держи его! — истошным голосом крикнул я.

В это мгновение я услышал предостерегающий крик. Но… было поздно. Подо мной треснул лед, и я провалился в полынью.

Пришел я в сознание уже у Маши на горячей печке.

Охотник, казак с Сатраковского хутора, успел ухватить меня за шиворот и вытащить из полыньи. На счастье мое, казак этот был родственником Георгия, гулял на Машиной свадьбе. Он узнал меня и привез к Маше.

* * *

Как и следовало ожидать, купание это не прошло для меня бесследно — я заболел. Чем болел — неизвестно. Поставить диагноз было некому: не только врача, но и захудалого фельдшера в хуторе не было.

Меня лечила древняя старуха Панкратьевна разными отварами из трав.

— Горячка у него, горячка, — говорила она. — Простудился… Это ничего… Вот попьет моих травок, попотеет и очунеется.

И, действительно, я скоро «очунелся», выздоровел.

Некоторое время я жил у Маши, а потом за мной приехал отец. Я боялся, что он будет меня ругать за побег от лавочника. Но об этом он ничего не сказал.

— Я приехал за тобой, — обнял он меня. — Поедем, родной, в нашу станицу.

Я затрепетал от счастья — так уж мне хотелось туда поскорее попасть.

На другой день, распрощавшись с Машей и ее мужем, мы уехали.

В родной станице

— Вон она, ваша станица-то, — сказал подводчик.

Сердце мое бурно заколотилось. С пригорка хорошо были видны сквозь зеленые клубы садов белые стены казачьих куреней. Из-за косматых верхушек верб ослепительно вспыхивали золотые кресты маленькой станичной церковки.

Боже мой, как колотилось мое сердце! Оно, кажется, готово было выскочить из груди и полететь туда, откуда доносило к нам душный и терпкий аромат цветения.

Когда мы въехали на окраину, то увидели, что вся станица белеет в весеннем цвету.

Был воскресный предвечерний час. Отовсюду слышались веселый говор, смех. Кое-где, расположившись прямо на траве, играли в карты и лото казаки. Слышались заунывные казачьи песни. Надрывно плакала где-то гармошка.

По улицам бегали мальчишеские ватаги. Я присматривался к ним, стремясь найти среди них моих товарищей. Но никого из них не увидел.

Казаки узнавали отца и весело кричали ему:

— Илья Петрович, с приездом, родной!..

Отец, помахивая фуражкой, раскланивался с ними.

Некоторые казаки даже подбежали к нашей повозке, стали обниматься с отцом, целоваться.

Такая теплая встреча станичников тронула меня.

Мы подъехали к покосившемуся, замшелому домишке деда Карпо. Отец стал расплачиваться с подводчиком.

Из ворот выскочила бабка Софья.

— Здравствуйте, бабушка! — сказал отец.

— Здравствуйте, родные! — старуха потянулась целовать нас.

— Милые мои, — расплакалась, она.

— Можно у вас, бабушка, остановиться на недельку? — спросил у нее отец. — Пока мы квартиру себе найдем.

— Ой, и о чем там спрашивать, — всплеснула руками добрая старушка. — И спрашивать нечего… Живите у нас сколько вам захочется.

— А Карпо Парамонович не будет возражать?

— У-у ты, боже мой! Да он рад без ума будет.

Пока отец разговаривал с бабкой Софьей, я внимательно оглядывал улицу.

Вот большой, крытый железом, дом Кодьки Бирюкова, а вот рядом с ним и наш бывший дом, в котором теперь живут Вохлянцевы… У меня тоскливо заныло сердце. Сколько милых

воспоминаний связано с нашим домом. Такой он родной, близкий, и вот теперь в нем живут чужие люди… Глаза мои затуманились…

— Сашурка! — окликнул кто-то меня.

Широко расплывшись в улыбке, по улице бежал веснушчатый мальчишка.

— Хо! — закричал я обрадованно. — Коля!

Ко мне бежал один из друзей детства — Коля Самойлов.

Подбежав, мальчуган с радостным изумлением уставился на меня своими серыми глазенками.

— А где ж Кодька? — спросил я.

— Кодька-а, — протянул Коля, — в Усть-Медведице… Он там второй год уже учится в духовном училище… И вохлянцевы ребята тоже там учатся.

Вот, оказывается, почему не видно Кодьки. Учится. Меня это поразило. Никодим не был большим охотником до учения, и вдруг он в духовном… Чудеса!

— А Андрей Поляков где?

— Ну, Андрей-то тут… — сказал Коля, — Да и другие ребята тоже тут.

Он не спускал с меня восторженного взгляда.

— Совсем приехал, Саша? — спросил он.

— Совсем. Теперь никуда уже не поеду.

— А дом свой не отберете у Вохлянцевых?

Вопрос был коварный. С каким удовольствием я отобрал бы свой дом, но ведь это же невозможно.

— Нет, Коля, — вздохнул я. — Как же его отберешь? Ведь деньги-то мы с отцом растранжирили.

— А надо б отобрать, — сказал Коля. — А то они все, Вохлянцевы, такие задаваки… Ванька с Андреем, когда приезжают из Усть-Медведицы, так на нас и не глядят… Корчат из себя благородных. Подумаешь! Мы им собираемся морду набить.

— А Кодька тоже задается?

— Нет. Кодька не задается. Он с нами играет… А ты, Сашурка, тоже где-нибудь учишься?

Я смутился, покраснел.

— Фу ты, подумаешь, — с пренебрежением сказал я. — А чего мне учиться?.. Я и так все знаю… Я так читаю, — расхвастался я. — Я все книги про индейцев прочитал… Ты читал Майн Рида?

— Нет, — закрутил головой Коля.

— А Фенимора Купера?

— Н-нет.

— А Густава Эмара?

Бедный Коля заморгал, пораженный моей начитанностью.

— Н-нет.

— А Жюль Верна? — с горячностью наступал я.

— Нет.

— А про сыщиков Нат Пинкертона и Шерлок Холмса читал?

— Н-нет, — сконфуженно прошептал мальчик, совершенно ошеломленный и уничтоженный моим превосходством.

— Я и книги Вальтер Скотта читал, — стал перечислять я. — И Виктора Гюго, и «Пещеру Лехтвейса»… Да я и сам книгу написал про войну индейцев с казаками. Вот как-нибудь прочту ее тебе…

Коля посмотрел на меня с изумлением.

— Вот ты какой, — прошептал он почтительно. — Ты, наверно, пишешь красиво, с нажимом?..

Этот вопрос немного охладил меня.

— Да как тебе сказать, — с запинкой проронил я. — Ничего так пишу, но… подучиться писать лучше не мешает.

Коля обрадовался.

— А я, Сашурка, пишу, ух, как красиво!.. — сказал он, довольный тем, что хоть чем-то он может похвалиться. — Я учусь в третьем классе на пятерки… А по чистописанию все время мне ставят пять с плюсом… Хочешь, я тебя научу красиво писать?

«Тоже мне, учитель», — подумал я, но вслух ничего не сказал.

— А арифметику ты тоже знаешь? — спросил Коля.

— Есть чего, — самодовольно фыркнул я.

— А сколько семью восемь? — спросил Коля.

— Семью восемь? Семью восемь… Семью восемь… — Я вспотел. — Да черт его знает, сколько это семью восемь… Семью восемь, — шептал я, — это семь раз по восемь… семь да семь — четырнадцать… Да еще четырнадцать — двадцать восемь…

— Ну, чего ты, Саша, шепчешь? — весело рассмеялся Коля. — Семью восемь — пятьдесят шесть.

Я был поражен тем, как быстро считает Коля.

— А шестью семь? — спросил он снова, весьма довольный тем, что привел меня в замешательство.

Я было снова начал шептать, складывая в уме, но Коля, развеселившись, перебил меня.

— Да сорок два ж! — воскликнул он, — Да ты что, Саша, не знаешь таблицы умножения, что ли?

— Нет, — сконфуженно ответил я. — А это что такое?

— Неужели не знаешь? — изумленно спросил мальчуган. — Да ведь ее еще в первом классе изучают…

Я был окончательно посрамлен. Авторитет мой был подорван.

Опустив голову, я молчал. Мне было стыдно.

— Ну, ничего, — успокаивающе проговорил Коля. — Я тебе дам таблицу умножения, ты ее выучи… Это пустяки. За два дня ты ее выучишь и сразу будешь знать, сколько пятью пять и шестью шесть…

— Завтра же принеси. Ладно? — попросил я.

— Ладно.

— Сашурка! — позвала меня бабушка Софья. — Иди вечерять.

Мы расстались с Колей, договорившись назавтра встретиться.

Хочу учиться

Отец взял в аренду пустовавший дом казака Астахова, проживавшего в хуторе Березовском.

В доме было три комнаты. Для нас с отцом как будто и многовато, но дом нам сдали за такую ничтожную плату, что отец решил все-таки поселиться в нем. Правда, в первые дни у нас не было ни кроватей, ни стульев, ни столов, и мы спали на полу, ели на подоконнике стоя. А потом все постепенно появилось у нас — и кровати, и стол, и стулья.

Отец всерьез занялся малярной работой, а ее в станице оказалось очень много. Мы с отцом ходили малярничали, красили в домах казаков полы, окна, ставни, палисадники, крыши. У нас появились деньги, вкусная, сытная еда. Казаки часто расплачивались с нами натурой.

Я с содроганием вспоминал теперь об ужасной нашей жизни в Мариупольском порту, о том, как мы голодали, как жили в погребе… Все это казалось страшным сном.

Теперь отец и пить стал реже. Совсем бросить он не мог, так как соблазнители-собутыльники находились всегда.

* * *

В июне на каникулы из Усть-Медведицы приехали Кодька Бирюков и братья Вохлянцевы — Иван и Андрей, «духовники», как их называли ребята. «Духовники» ходили важные и подобранные, в темно-серых форменных костюмчиках с голубой окантовкой, с эмблемами УДУ — Усть-Медведицкое духовное училище — на серебряных гербах и бляхах.

Мы, ребятишки, с завистью поглядывали на них. А я так просто голову потерял от огорчения: уж так мне хотелось пощеголять в штанах с голубыми кантами и в фуражке с ветвистым гербом!

Я даже ночи стал плохо спать, все мерещилось мне, что я тоже «духовник» и у меня есть костюмчик с голубыми кантами.

Однажды я не выдержал и заявил отцу:

— Папа, я хочу учиться в духовном училище.

— Где-е? — изумленно протянул отец. — В каком это таком духовном?..

— А вот где учатся Кодька Бирюков и вохлянцевы ребята.

— Где ж они учатся, что-то не слыхал?

— В Усть-Медведице, где наша Оля.

— Гм… Ты что же, дьячком, что ли, захотел быть? — засмеялся отец. — Чудак!

— Ну и что ж что дьячком, — захныкал я. — Буду и дьячком.

— Я лучше из тебя хорошего маляра сделаю.

— Не хочу маляром, хочу в духовном учиться. Отдай меня в духовное училище.

— Ну что ты пристал, как смола, — отмахивался от меня отец. — Куда ж тебе в духовное училище, ежели ты малограмотный. Самоучкой научился писать-читать… Ни арифметики, ни закона божьего не знаешь. Тебя ж не примут в училище.

Целыми днями я ныл, лежа на кровати. Даже на работу с отцом перестал ходить.

— Пойдем к Василию Никитичу, — как-то сказал, мне отец, видя, что я не унимаюсь. — Посоветуемся с ним, что делать.

Василий Никитич Морозов был старый приятель отца. Он заведовал станичным двухклассным училищем.

Когда мы пришли к учителю, отец рассказал ему, чего я от него требую. Тот отнесся к моему желанию весьма положительно.

— Молодец!.. Сам додумался, что ему учиться надо… Давно б тебе, Илья Петрович, надо его учить… Я тебе не раз об этом говорил. А ты все свое: маляру, дескать, не обязательно знать грамоту. Не те теперь времена. Сейчас все стараются учиться. Вон вохлянцевы ребята и Бирюков учатся. А твой Саша разве хуже их?.. Раз просится, значит, учи.

— Да ведь вырос он, — слабо возражал отец. — Куда его такого большого? Ведь ему скоро двенадцать будет.

— Учиться никогда не поздно, — сказал Василий Никитич. — Вон Ломоносов уже парнем стал учиться и, видишь, великим ученым стал… Неизвестно, может, твой Сашурка выучится да еще каким-нибудь генералом станет.

Отец, польщенный, засмеялся.

— Да, он у меня башковитый. Может, в сам деле до чего дойдет…

— Ты как читаешь-то, Саша? — спросил у меня учитель. — На-ка почитай. — Он подал мне какой-то журнал с педагогической статьей.

Я от начала до конца одним залпом прочитал страницу. Василий Никитич поразился.

— Читаешь ты хорошо. А как пишешь?.. Ну-ка, садись к столу. Вот бумага, чернила… Пиши, я буду тебе диктовать… Ну, пиши: птичка поет в лесу… Написал? Дальше: на дворе мычала корова…

Продиктовав еще несколько предложений, он сказал:

— Хватит. Покажи-ка, что написал.

Прочитав, он покачал головой.

— Читаешь ты хорошо, а с письмом у тебя дело неважно… А как с арифметикой дело обстоит? Таблицу умножения знаешь?

— Знаю, — уверенно ответил я.

Учитель спросил у меня несколько примеров. Я отвечал без запинки. Таблицу умножения я вызубрил на отлично.

Со сложением и вычитанием у меня тоже было неплохо. Ну а вот с делением ничего не выходило — делить я не умел.

— С такими зданиями мальчика в духовное училище не примут, — сказал Василий Никитич. — Но способности у него есть. Месяца за два его можно подготовить к экзаменам. Надо тебе как-то помочь, Саша.

Закурив папиросу, учитель стал задумчиво ходить по комнате.

— Так, — сказал учитель, что-то надумав, — мои дочки приехали из Москвы на каникулы. Я поговорю с ними. Может быть, кто-нибудь из них и согласится подготовить тебя…

Закончив в Урюпинской гимназию, дочери его теперь учились в Москве на каких-то педагогических курсах.

— Приходи, Саша, завтра к нам, — сказал на прощание Василий Никитич.

На следующий день, придя к Морозовым, я, к радости своей, узнал, что младшая дочь учителя, восемнадцатилетняя, хорошенькая белокурая Леля, согласилась подготовить меня к экзаменам в духовное училище…

И вот я теперь ежедневно после обеда ходил к Морозовым, занимался с Лелей.

На ярмарке

Собрав ватагу ребят из числа самых отчаянных головорезов станицы, Кодька Бирюков совершал с ними налеты на огороды и сады. Раза два и я участвовал в них, в чем впоследствии очень раскаивался.

Как только сторож сада, какой-нибудь ветхий старичок, отлучался из своего шалаша, наша орава, перескакивая через плетни, влетала в сад и бесчинствовала вовсю, срывая еще зеленые яблоки, груши, сливы, ломала и калечила деревья, кусты малины, смородины, вытаптывала грядки…

В такие минуты главарь наш — Кодька — весь преображался: ноздри у него раздувались, глаза загорались необузданным молодечеством. Весь он отдавался дикому озорству, неуемная его душа не знала, где применить свою энергию. Он делал гадости как только мог: ломал деревья, разрушал шалаши, бил посуду, горшки, пакостил в ведра с питьевой водой.

Мне казалось, что в таком состоянии ему ничего не стоило убить и человека. «Вот бы ему быть атаманом разбойничьей шайки», — думал я, глядя на него. В конце концов так и получилось. После наших налетов на сады и огороды по станице ходили самые зловещие рассказы. Я сам был свидетелем того, как, горько рыдая, бедные казачки рассказывали о сорванцах-хулиганах, вытоптавших у них на огородах все грядки с огурцами и помидорами.

— Проклятые, — плакали женщины, — да ежели б им надо было пожрать огурцов али помидоров, ну, и нарвали б сколько их чертячьей душе угодно… Пусть бы, но зачем же вытаптывать грядки?.. Ведь они ж, дьяволы, оголодили нас с малыми детьми в зиму…

После этого походы на сады и огороды мне так опротивели, что, как ни упрашивал меня потом Кодька пойти с ними, я наотрез отказывался.

Вспоминая о своем детстве, я думаю, сколько же разных соблазнов было тогда. Рос я без надзора, предоставленный сам себе, и как легко мог бы я скатиться тогда на преступный путь.

Однажды в середине августа, в день престольного праздника успенья, в соседней станице, Ярыженской, открылась ярмарка.

Ярмарка!..

Может быть, целый год каждый ждал этого великого дня. И вот наконец он наступил…

…Ранним утром, когда на траве еще искрилась роса, а с голубых озер струился легкий пар, мы, ребячья ватага, все одетые

в новые цветные сатиновые рубахи и штаны с лампасами, уже поджидали Кодьку у его дома.

Кодька вышел из ворот в своей форменной фуражке с серебряным гербом, в белой полотняной рубашке и длинных, навыпуск, брюках с голубым кантом….

— Пошли, ребята! — сказал он.

Мы тронулись в путь.

До Ярыженской было верст семь-восемь.

Стояло тихое, задумчивое утро. Из-за верхушек левад тянулся ввысь багровый шар солнца.

По дорогам и тропам к Ярыженской беспрерывными лентами тянулись целые обозы подвод, запряженных быками и лошадьми. Телеги полны людьми. За телегами бредут на привязи лошади, коровы, бычата для продажи. Справа и слева обочь дороги большими группами идут молодые нарядные казаки, бабы, парни, девки. На девушках и молодых бабах широкие цветастые юбки, шелковые кофточки, махрастые, броских расцветок и тонов, дорогие платки. Казаки и парни, как лохмоногие петухи, шагают в широченных, синего сукна, с алыми лампасами, шароварах. На них переливаются разноцветьем атласные рубахи, вспыхивает солнце на голенищах их лакированных сапог.

Отовсюду слышатся смех, гогот, веселые возгласы, песни.

Мы, ребята, как воробьиная стая, перелетаем от одной группы к другой, всюду успеваем побывать: и среди поющих какую-то задорную, залихватскую казачью песню парней, и среди девушек, радостных и смеющихся.

Из-за левад доносятся пронзительные мелодии шарманок. Мы вглядываемся туда: сквозь ажур ветвей белеют ярмарочные балаганы.

— Ура-а! — кричит Кодька, бросаясь вперед.

— Ура-а! — подхватываем мы и кидаемся вслед за ним.

Навстречу нам плывет ярмарочный гул. Все здесь стонет, ревет, надрывается. У каруселей и лодочек визгливо и нудно поют шарманки. У балаганов рычат в трубы клоуны, зазывая народ на представление. Тонкоголосо тянут песню слепцы… Бренчат балалайки, визжат флейты… Все в движении, народ толкается взад-вперед между шатрами и палатками… Под смех и испуганные выкрики толпы пьяный цыган борется с не менее пьяным медведем.

Хотя я и не впервые попал на ярмарку, но она меня прямо-таки очаровала. Удовольствий здесь было хоть отбавляй. Мы лазали на верх каруселей, крутили их, за что хозяин разрешил нам прокатиться на деревянных конях; лакомились мороженым, которое в то время нам, деревенским ребятам, было в диковинку;

смотрели на женщину-русалку с рыбьим хвостом и на женщину-паука; хохотали до упаду над острыми прибаутками клоунов, паясничавших у балаганов, где шли представления.

Много увидели мы в тот день интересного. Солнце клонилось к закату, когда некоторые из нас стали намекать на то, что пора уже, дескать, и домой собираться.

— Погодите, ребята, — подмигнул нам Кодька и остановился около торговца, хрипло выкрикивающего:

— Любая вещь пять копеек!.. Пятак — любая вещь!.. Только пятак! Пять копеек!.. А ну, налетай!

— Видал его? — кивнул на торговца Кодька.

— Очки, крючки, брошки, ложки — пятак!.. — выводил торговец. — Пятак на выбор!.. Снимательные картинки, для чулок резинки — все по пять копеек! Занимательные книжки, игральные картишки, носовые платки, детские катки! Все по пять копеек!

— Ребята, — таинственно проговорил Кодька, — интересные вещи он продает… Давайте «купим» у него, а?

— Да у нас уже денег не осталось, — наивно заметил я.

— А они нам не нужны, — рассмеялся Кодька. — Мы без денег у него «накупим» товару… Давайте так: подойдем к нему все гурьбой. Я навроде буду покупать, приценяться, рассматривать товары, а вы станете сзади меня… Как торговец засмотрелся, я под мышку вещь, а вы сзади хватайте и передавайте другому. Ладно?..

Мысль эта понравилась нам.

— Ладно, — согласились мы.

— Ну, пошли «покупать», — захохотал Кодька, таща нас к прилавку, на котором были разложены пятикопеечные товары.

— Любая вещь пять копеек! — выкрикивал длинновязый, худой, как высушенная тарань, торговец. — Пять копеек!..

Как только он заговаривал с каким-нибудь покупателем, Кодька совал под мышку первую попавшуюся ему под руку вещь. Мы подхватывали ее и передавали друг другу, пока она не исчезала у кого-нибудь из нас в карманах.

Нам это нравилось. Мы так увлеклись своей «игрой», что вскоре на прилавке незадачливого торговца товаров заметно поубавилось. Торговец с беспокойством стал поглядывать то на Кодьку, то на нас, то на убавляющиеся товары.

— Молодой человек, — сказал он Кодьке, — ты уже час стоишь у прилавка, а ничего не купил. Отходи!.. Дай другим подойти к товарам.

— Как так не купил? — огрызнулся Кодька. — На гривенник давай вот те очки и карандаши цветные.

Торговец взял гривенник и, завернув в бумагу очки и

карандаши, передал Кодьке. Оставаться теперь у прилавка было нельзя. Хохоча и дурачаясь, мы отошли от него.

— Ну, ребята, — сказал Кодька, — теперь домой!.. Товаров «накупили», всего насмотрелись.

Мы завернули в лесок и высыпали в кучу все, что успели наворовать у торговца. Чего только тут не было. Очки, свистки, монисты, куколки, подвязки, ручки и прочая мелочь.

— Ну, давайте дуван дуванить, — сказал Кодька как заправский атаман средневековой казачьей разбойник чьей ватаги и стал наворованное делить на восемь равных частей, никого не обделяя.

Каждому мальчишке досталось по пять вещей, на двадцать пять копеек. Следовательно, мы обокрали торговца на два рубля. А у того, видимо, и всего-то товару было рублей на десять.

Я вспомнил желтое испитое лицо торгаша, его потрепанную одежду, голодные глаза, и мне его стало жалко. Может быть, на эти товары бедный человек истратил все свое состояние, надеясь заработать несколько рублишек, а мы вот обокрали его.

— Бери, Сашка, это твои, — указал Кодька на мою долю.

— Не возьму.

— Как — не возьмешь? — изумился Кодька. — Это почему же?

Моим отказом были поражены и все ребята.

— Почему ты не хочешь взять? — допытывался Никодим. — Ведь это ж твоя доля, а раз твоя — то и бери.

— Не хочу вором быть, — сказал я мрачно.

— Ха-ха-ха! — расхохотался Кодька.

Засмеялись и ребята.

— Подумаешь, какой честный нашелся, — проворчал Кодька. — Бери!.. Да пошли домой, а то уже поздно.

— Бери уж, Сашурка, чего там, — стали уговаривать меня и ребята.

Коля Самойлов собрал мою долю и стал засовывать наворованные вещи в мои карманы.

Потом в нашей квартире долго валялись без всякого употребления эти украденные вещи, напоминавшие мне о моем позоре.

* * *

Леля Морозова занималась со мной месяца полтора. Хотя сдавать экзамены в духовное училище я и не поехал, зато меня без экзаменов приняли в третий класс станичного двухклассного

училища.[7]

…Учеба захватила меня. Учился я только на пятерки. Смущало меня лишь то, что в классе я был самый большой, почти на голову выше всех учеников. Мне шел четырнадцатый год. Роста я был высокого, и среди своих маленьких одноклассников выглядел настоящим Гулливером.

Экзамены я выдержал и с похвальным листом перешел в четвертый класс. Из Усть-Медведицы на каникулы приехали «духовники».

Началось наше ребячье привольное летнее житье, полное увлекательных приключений и забав.

Вставая утром, я хватал кусок хлеба и бежал на улицу. Там меня уже ждали друзья. Мы отправлялись на целый день в лес, на реку. Купались, жарились на солнце. От загара мы стали совсем черными, носы у нас облупились, а волосы так выгорели на солнце, что были как седые.

Учитель Морозов имел небольшую, хорошо подобранную библиотечку.

В свободные часы, когда мне не надо было помогать отцу, я укрывался где-нибудь в лесу или на лугу от досужих глаз и предавался чтению Джека Лондона. Как живые, передо мной возникали образы сильных, волевых людей — золотоискателей Клондайка. Не отрываясь, запоем читал я «Мартина Идена», переживая все его злоключения. Я искренне, всем сердцем полюбил умных собак Белого Клыка, Джерри и Майкла…

* * *

В июне 1914 года в Сербии был убит австрийский престолонаследник Франц Фердинанд.

— Будет война! — печально покачивали серебряными бородами старики. — Будет!

Утром семнадцатого июля от станичного правления помчались с алыми флажками на пиках верховые курьеры объявлять по хуторам всеобщую мобилизацию казаков.

Теперь станичный майдан целые дни шумел от народа. Много семей приезжало из хуторов в станицу провожать своих служивых. Слова команды, причитания матерей, рыдания жен слышались здесь со всех сторон.

Под звуки старенького дребезжащего оркестра, играющего «Боже, царя храни», казаки воинственно кричали «ура» и отряд за отрядом отправлялись на фронт.

И так каждый день.

Около нашего дома, на плацу, старый боевой вахмистр Зиновий Иванович учил воинскому делу малолеток — девятнадцати-двадцатилетних парней.

Когда малолетки, неуклюжие, деревенские увальни, выезжали на лошадях на станичный плац, поглядеть на их учение собирались толпы народа. Движения молодых казаков были пока еще неловкими.

— Эй ты, раззява! — под смех толпы кричал парню какой-нибудь служивый казак, познавший на военной службе все премудрости строевой муштры. — Тебе не на коне ездить, а свиней бы пасти.

— Тоже, казак! — подхватывал второй. — Ему б надобно не казаком, а бабой родиться.

Приезд дяди Никодима

Однажды в августе, уже под вечер, к нам совершенно неожиданно заявился дядя Никодим. Был он не в морской форме, как раньше, а в широких, синего сукна шароварах с лампасами и гимнастерке, подпоясанной щегольским казачьим ремнем, украшенным серебряным набором в виде сердечек и ромбиков с прочернью искусной кавказской работы.

— Здравствуйте, мои дорогие! — сказал он, ставя на пол чемоданчик и бросая шинель на кровать. — Не ожидали?

Он обнял отца, расцеловал меня.

— Да, конечно, не ожидали, — сказал отец. — Какими судьбами к нам?

— А вот умоюсь, расскажу.

Я не спускал с дяди восхищенного взгляда.

Пока дядя умывался, отец приготовил закуску, поставил на стол припрятанную на всякий случай бутылку водки.

За обедом дядя рассказал о причине, заставившей его приехать к нам в станицу. Последнее время он работал капитаном пассажирского речного парохода на Дону. Сейчас его призывали на военную службу. Как казак нашей станицы, он обязан был явиться в распоряжение станичного атамана.

— Дурацкий закон, — жаловался дядя Никодим. — Я моряк и, казалось бы, должен быть мобилизован во флот. А вместо этого я, как казак по происхождению, обязан явиться в свое станичное правление, которое и должно направить меня в действующую армию, в один из казачьих кавалерийских полков. Ну, разве ж это неглупо?.. Я и на лошади-то боюсь ездить, а меня в кавалерию… Дураки!

— Ты ведь морской офицер, Кодя, — заметил отец. — Как же тебя могут сделать рядовым казаком, кавалеристом?

— Был когда-то офицером, — усмехнулся дядя. — Я ведь разжалован…

— За что же это тебя разжаловали-то, а? — спросил отец.

— Да была там одна история, — неохотно ответил: дядя. — Подрался… Морду набил одному офицеру-дворянчику… Но это предлог… А вообще-то, только между нами, разжаловали меня за революционную деятельность… За связь с рабочими организациями… Только ты никому не говори об этом.

— Ты, значит, революционер, Кодя?

— Да выходит, что так.

— Да… — задумался отец. — А как же ты без коня пойдешь на фронт?

— Вот в том-то и дело, — вздохнул дядя. — Надо коня покупать, надо обмундирование справлять… Сволочи! — выругался он озлобленно.

— Так как же ты теперь? — полюбопытствовал отец.

— Буду просить, чтоб атаман под мой паевой надел выдал ссуду на покупку коня и обмундирования.

На другой день дядя пошел в станичное правление. Атаман сказал ему, что нужно подождать недели две, пока будет запрошена войсковая канцелярия…

Мы с дядей очень подружились. Ходили с ним в лес, купались на речке, иногда удили рыбу в Иванкове.

Как-то раз в воскресный день мы отправились на реку.

— Какая благодать! — воскликнул дядя, когда мы с ним вошли в лес. — Разве ж можно этот чудный лесной воздух сравнить с пыльным воздухом города?

— Дядя, а почему люди живут в городах, если там так плохо?

— Так уж при капитализме устроено. А вот придет время, когда люди будут жить везде одинаково хорошо.

— Когда же это, дядя?

— Не скоро, мой милый, — при социализме.

— А что такое «социализм»?

— Социализм — это, дорогой, мечта лучших людей о том времени, когда все люди будут равны, когда не будет ни богатых, ни бедных… Когда…

Всю дорогу дядя объяснял мне, что такое социализм. Я внимательно слушал его.

Мы шли по едва приметной тропе между кустарничками. Навстречу нам все время попадались парочки.

— Беззаботная юность, — улыбнулся дядя. — Ей и дела нет до того, что сейчас на фронте кровь льется.

Мы свернули к реке и расположились с удочками под огромным тополем. Долго сидели молча на горячем песке, устремив взоры на торчавшие из воды поплавки. Рыба не клевала.

На противоположном берегу, под тенью коричневого крутояра, на подмостках, сделанных из ветвей и травы, разместились рыболовы. Их взоры, как и наши, словно магнитом, прикованы к поплавкам.

Изредка кто-нибудь из них вынимает из кармана кисет, не спеша скручивает цигарку и закуривает. Над рыболовом всплывает голубоватый дымок.

И вдруг клюнет — поплавок задергается, заколеблется из стороны в сторону, от него по гладкой воде пойдут кольца. Весь напружинившись, рыболов судорожно хватается за удилище, напряженно ждет, когда поплавок совсем нырнет в воду. И вот

этот блаженный миг наступает: поплавок исчез. Видимо, клюнула большая рыба. Как отпущенная пружина, рыболов вскакивает на ноги, подсекая, делает рывок удилищем и торжествующе выбрасывает на берег серебристого трепещущего леща.

Заклевало и у нас. Мы с дядей начали вытаскивать красноперых окуней. А один раз дядя поймал даже крупную щуку с оскаленной пастью, унизанной мелкими острыми зубами. И поймал-то он ее как-то странно — за брюхо. Видимо, щука как раз проплывала мимо крючка, когда дядя дернул лесу и подсек ее…

Вечером к дяде пришли два казака в форменных защитных рубахах с погонами. Я не знал, откуда они появились. Поручив мне наблюдать за удочками, дядя отошел с ними в сторону. Они расположились в кустах, и стали о чем-то говорить. В разговоре они часто упоминали о каком-то Владимире Ильиче.

Наконец казаки стали собираться уходить, дядя проводил их и вернулся ко мне.

— Ну, как, поймал что-нибудь за это время? — спросил он у меня.

— Поймал, — сказал я. — Трех окуней больших.

— Молодец! — похвалил дядя и подсел ко мне.

— Кто это приходил?

— Да знакомые казаки.

— Чего они приходили?

— Какой ты любопытный! — засмеялся дядя. — Так просто.

— А кто это Владимир Ильич? — спросил я.

— Где ты о нем слышал? — удивился дядя.

— Да вы же о нем говорили.

— А-а… — протянул дядя. — Подслушал.

— И вовсе не подслушал. Я так слышал. Вы громко разговаривали… Кто это?

— Ну, брат, тебе о таких вещах еще рано знать… А много будешь знать — состаришься.

Мы возвращались уже вечером, когда солнце заходило за вершины леса. Было еще совсем светло. Заря ярким пурпуром заливала небо, и в ней, как в крови, плавали нежно-розовые облака.

Было так тихо, что, казалось, все вокруг замерло в томлении. Пахло дурманящим ароматом сочных трав… Теперь в лесу уже почти никого не было. Лишь суетливые птицы, готовясь на ночлег, о чем-то звонкоголосо переговаривались.

Мы шли по той же лесной тропе, по которой пришли и сюда, в траве шуршали какие-то мелкие зверушки.

В станице, как всегда вечерами по воскресеньям, большое оживление. По улицам, поднимая пыль, бредут с пастбища сытые

коровы, овцы и призывно блеющие козы. Девки и ребята с криками и смехом загоняют скотину по дворам. На завальнях и крылечках, беседуя о былых ратных делах и почти забытых походах, сидят седобородые старики. Ребятишки шумными ватагами бегают с одного конца улицы на другой.

К правлению стекаются молодые парни на гульбище. Вот, управившись со скотиной, подоив коров, скоро придут сюда девушки, и тогда здесь начнется бурное веселье. Сначала будут петь сладкие и тягучие, как мед, и буйные и хмельные, как забродившее вино, хватающие за душу песни, а затем начнутся под гармонь веселые пляски.

До чего ж хорошо поют у нас в станице парни и девушки!.. А пляшут!.. Посмотрели бы вы!

Мы проходим мимо куреня деда Карпо. На бревнах, у плетня, сидят старики и старухи. Увидев нас, дед Карпо вскакивает с бревна, бежит к нам.

— Ну, что, рыболовы, наловили? — спрашивает он.

Дядя открывает кошелку, и дед с любопытством заглядывает в нее.

— Ух ты! — изумляется он. — Вот это да!.. Доброй рыбины наловили. А щука-то какая!.. Ну, что ж, Никодим Митрич, зови, видно, на уху-то..

— Милости просим, — приглашает дядя.

— А что ж, придем со своей бабкой, — охотно отзывается старик на приглашение… — А ежели уж так, то, — хитро подмигивает дед, — и сороковочку могем принести с собой. Припрятана у меня там… Раздавим по стакашку.

Еду на войну

На запрос атамана из Новочеркасска ответили, что дядю надлежит отправить на пополнение в 30-й Донской казачий полк без коня и обмундирования. Там его снабдят всем необходимым.

Дня через три после этого, получив в правлении документы, дядя собрался в путь. У него оказались и попутчики — военный фельдшер Беликов и два казака, отправлявшиеся из отпуска в 30-й полк. Это дядю устраивало: веселее ехать.

Отъезд дяди Никодима меня сильно огорчил. За время его пребывания у нас мы с ним очень подружились.

Меня вдруг осенила мысль: «А что если мне поехать с дядей на войну?»

Убежать на фронт мне давно хотелось. В станице, в училище нашем, да и всюду, только и говорили, что о войне.

Бывало, прислушаешься к разговорам парней, чего только не услышишь: и о нашумевшем на всю Россию подвиге усть-медведицкого казака Кузьмы Крючкова, и о том, как два шестнадцатилетних казачонка в лихой атаке полонили взвод австрийцев, и о многом другом.

А тут, на грех, еще я увидел фотографический снимок отличившегося на войне мальчугана с двумя георгиевскими крестами и лычками унтер-офицера на погонах, напечатанный в журнале «Нива».

«А что я, хуже этого мальчишки, что ль? — размышлял я. — Может быть, еще и похрабрее его… Убегу на войну!.. Уеду обязательно с дядей…»

Открыто сказать дяде о своем намерении я не решался, так как наверняка знал, что он меня не возьмет. А вот тайно уехать, чтоб он меня не видел, это другое дело. Ну предположим, дядя сядет в один вагон, а я — в другой. Ведь это же замечательно. Когда будем подъезжать к фронту, я объявлюсь. Дяде тогда некуда будет деваться, и волей-неволей придется ему взять меня с собой.

Так я и сделал. Как только дядя, распрощавшись со всеми, уселся в телегу вместе с казаками, своими попутчиками, и поехал, я тотчас же принялся за дело. Я надел защитного цвета рубашку, которую мне недавно сшили, приделал к ней погоны, приберегаемые с давних пор. Фуражка у меня была с кокардой. Сунув в сумку кусок сала и хлеб, я побежал на станцию.

На вокзале, дожидаясь поезда, дядя сидел в ресторане; я спрятался на перроне.

Когда подошел поезд, я проследил за тем, в какой вагон сел

дядя Никодим. И, переждав некоторое время, нырнул вслед за ним. Кондуктор, стоявший у вагона, даже не спросил у меня билета. В вагоне мне удалось залезть на самую верхнюю полку, куда обычно пассажиры ставят багаж.

До самого Киева никто меня не беспокоил.

В Киеве дядя со своими товарищами вышел из вагона. Сдав в камеру хранения багаж, казаки поехали куда-то на трамвае, наверное, осматривать город.

Я вскочил во второй трамвайный вагон.

Объехав город, казаки вернулись на вокзал и забрали из камеры хранения свой багаж. В переполненном солдатами зале ожидания они сели за стол, стали развязывать мешки. На столе появились яйца, курятина, сало, пирожки… У меня потекли слюнки. Никогда в жизни я не хотел так есть, как сейчас, свой запас я уже давно истребил. Я решил, что теперь уже можно показаться дяде.

Когда я предстал перед дядей, он от изумления даже откинулся на спинку дивана.

— Ты? — воскликнул он, пораженный. — Откуда? Как ты попал сюда?..

— Есть хочу, дядя, — вместо ответа сказал я.

— Садись! — подвинулся он на скамье, давая мне место.

Утолив голод, я рассказал, дяде, каким образом я попал сюда. Слушая меня, казаки качали головами, посмеивались.

— Удалец, нечего сказать, — заметил фельдшер Беликов.

— Ты что же это, в самом деле, что ли, хочешь попасть на фронт? — спросил дядя.

— Очень, — кивнул я. — Возьми меня с собой.

— А что ты будешь делать на фронте?

— Воевать, — храбро сказал я.

Казаки расхохотались.

— Вояка, — покачал головой дядя. — Ты думаешь, что это все так просто…

— Я все понимаю, — твердо заявил я. — Я не маленький. Мне уже скоро четырнадцать лет.

— Вот это дела, — усмехнулся дядя. — Но ты подумай, что я с тобой буду делать?.. Я и сам не знаю еще, что меня ожидает, а тут с тобой надо нянчиться…

— А тебе нечего со мной нянчиться, — возразил я. — Я сам по себе устроюсь… Мне б только добраться до фронта.

— Давай возьмем его, Никодим Митрич, — сказал фельдшер, — Я поговорю с военным врачом, мы заберем его в свой околоток. Будет у нас заместо санитара.

Вот так сказанул фельдшер! Разве я за этим с такими

трудностями пробираюсь на фронт? Чудак! Я хочу совершить подвиг!

— Ну, ладно, поедем, — сказал дядя. — Там посмотрим, что с тобой делать, куда определить. Только так нельзя. Отец, наверно, беспокоится… Надо ему телеграмму послать, что ты со мной.

И он послал отцу телеграмму.

Дальнейший свой путь я продолжал уже вместе с дядей. 30-й полк находился где-то в Румынии. Из Киева мы поехали в сторону Бессарабии. Железнодорожные пути были забиты эшелонами с солдатами и военными грузами. Ехали мы медленно.

Мне страшно надоело ехать, так надоело, что я уже и передумал продолжать свой путь на фронт. Я затосковал по станице, по ребятам, своим друзьям. Я был бы уже не прочь возвратиться домой. Но мне стыдно сознаться в этом дяде. Вот если б он сам сейчас предложил мне вернуться. Но он молчал… А я уже начал придумывать, как бы так сделать, чтобы мне вернуться, не вызвав насмешек дяди и казаков…

И вот на станции Раздельной, под Одессой, нам надо было сделать пересадку на другой поезд.

В то время, когда наш поезд подходил к станции, у платформы стоял встречный, готовый вот-вот двинуться на Киев.

Замедляя ход, поезд остановился у перрона. Мои спутники стали выгружаться из вагона. Поезд, направлявшийся на Киев, дрогнул, загремел буферами и медленно двинулся. Я сообразил, что более удобного случая вернуться домой мне не представится. Отстав от дяди, я вскочил на подножку вагона и поехал обратно. Оглянувшись на дядю и казаков, я убедился, что они не заметили еще моей проделки.

…Погоны на моих плечах совершали чудо. Они позволяли мне без всяких документов и билетов входить в любой вагон. Я ехал домой беспрепятственно.

Пошли четвертые сутки, как я расстался с дядей. Еще каких-нибудь часов восемь-десять езды, и я буду на своей станции, от которой до нашей станицы всего семь верст. Всего десять часов езды!.. Это не так много. Не много, но я изнемогал. С того момента, как уехал от дяди, я крошки хлеба не съел. От голода я обессилел, вялый, аппатичный, лежал на полке. Вагон, в котором я ехал, был переполнен солдатами. Они ели, пили чай, смеялись, шутили. Никто из них и не подозревал, что вот этот лежащий на полке мальчишка четвертые сутки ничего в рот не брал…

Был уже вечер, когда я приехал на свою станцию. Я тотчас же отправился в станицу.

Но я напрасно надеялся на свои силы. Хотя от станции до станицы нашей и близко, но шел я до нее очень долго и так

ослаб, что едва передвигал ноги.

Часам к десяти я наконец с великим трудом добрался до своего дома. Рванув дверь, я крикнул во все горло:

— Давайте скорее есть!

В глазах у меня потемнело, все в комнате закувыркалось. Я упал на пол и потерял сознание.

Когда я открыл глаза, то, к своему удивлению, увидел наклонившуюся надо мной встревоженную сестру.

— Маша! — крикнул я.

— Ну, слава богу, — сказала она. — Пришел в себя. Ты, Саша, голодный?.. Попей-ка молочка горячего…

Я с наслаждением выпил сразу два стакана.

— Когда ты приехала, Маша? — спросил я.

— Вчера приехала с детьми проведать вас, — сказала она. — А ты, видишь, воевать ушел, — улыбнулась она.

Я покраснел.

Ко мне подошел отец.

— Ну как, Сашурка, — спросил он. — Навоевался?

Я промолчал. Мне было стыдно. Но зато как хорошо оказаться дома, в кругу своих родных.

ЮНОСТЬ

(часть вторая)

Начало юности

Скоро мне исполнится шестнадцать лет. Я окончил училище, и надо уже выбирать какую-то профессию.

…Наступила осень. Казаки заканчивали сельскохозяйственные работы. В станице начались запои, смотрины, девишники[8]. Веселое пришло время.

У меня появились новые друзья: Миша Ермаков и Ваня Королев. Были они значительно старше меня, им было уже лет по двадцать. Но это не мешало нашей дружбе.

Они славились как отчаянные танцоры, а Ваня Королев к тому же был и неплохим гармонистом.

Когда я с ними познакомился, я плохо танцевал, но мои друзья быстро научили меля этому несложному делу.

Девушки нас приглашали на девишники и запои, а иной раз даже и на свадьбы.

С Никодимом Бирюковым я уже не дружил. Он ушел из духовного училища и теперь с ватагой таких же озорников, как и сам, дебоширил вечерами на улицах, хулиганил, избивал парней, а порой и девушек. Его стали бояться, как огня.

Но меня Никодим не трогал, хотя часто встречал на улицах одного или в обществе девушек. Видимо, не делал он этого, помня нашу детскую дружбу.

Война продолжалась. В станицу на побывку и из госпиталей после излечения приезжали фронтовики. Поблескивая крестами и медалями, они горделиво расхаживали по улицам, вызывая зависть у неслуживых ребят. Среди фронтовиков были и совсем еще юные парни. На них смотрели как на героев. За ними ухаживали наперебой, приглашали на вечеринки, угощали. Я тоже завидовал им, тщеславие мое было уязвлено. Очень уж мне хотелось быть таким же…

Отец получил письмо из Дагестана. Писал ему племянник Павел Ефимович Юрин. Он служил в Темир-Хан-Шуре в какой-то военной строительной конторе техником-чертежником. Службой своей он был весьма доволен. К тому же его жена, Варвара Ефимовна, была актрисой местного театра. И все это давало им возможность неплохо жить.

Отвечая Павлу, отец, между прочим, написал ему о том, что я все время брежу военной службой.

«Может, ты, Паша, пристроил бы его куда-нибудь…»— попросил отец.

Вскоре мы от Павла получили ответ. Он писал, что устроить меня на военную службу для него ничего не стоит, так как

благодаря своей жене, принятой в местном обществе, у него имеются большие знакомства среди офицеров.

Павел советовал мне побыстрее подготовиться и сдать экзамен на вольноопределяющегося второго разряда, а затем ехать к нему в Темир-Хан-Шуру. Он обещал устроить меня всадником (так там назывались солдаты) в 1-й Дагестанский кавалерийский полк, маршевая сотня которого постоянно находилась в городе.

В то время отец пустил к себе на постой учителей Михаила Андреевича Сухотина и Николая Петровича Левченко. Оба они охотно согласились подготовить меня к экзамену.

* * *

По моему заявлению меня вызвали в станицу Урюпинскую для сдачи экзаменов на вольноопределяющегося второго разряда.

Экзамены я сдал, получил документ и собрался ехать в Темир-Хан-Шуру.

Теперь, когда я имел звание вольноопределяющегося, ко мне стали относиться с уважением, как к человеку, у которого в жизни есть вес и положение.

— Быть тебе офицером, Сашурка, — радостно предрекал мне отец. — Ей-богу, быть!

Со дня на день откладывал я свой отъезд.

В это время случилось одно непредвиденное обстоятельство, которое на некоторое время отложило мой отъезд. В феврале 1917 года, как разорвавшаяся бомба, ошеломила всех в станице весть о том, что царь Николай II отрекся от престола.

Взволнованные толпы казаков прибежали на майдан, к правлению, требуя, чтобы атаман вышел к ним и обо всем этом подробно рассказал.

Но атаман побоялся народа. Он выслал к людям своего писаря, добродушнейшего толстяка Лазаря Михайловича Уварова.

Лазарю Михайловичу было уже лет под пятьдесят. Седовласый, полнотелый, он был хорошо начитан, грамотен. По натуре своей он был мягким, добрым человеком, и его в станице все любили.

Когда он, сняв фуражку, вышел на крыльцо правления, толпа встретила его одобрительным гулом.

— Здравствуйте, граждане свободной России! — крикнул он, размахивая фуражкой.

— Здорово живешь, господин писарь! — послышалось в

ответ. — Здравствуй, Лазарь Михайлович!.. Здравствуй, господин урядник!..

Но некоторые бородачи из числа богатеньких казаков мрачно молчали. Им не понравился развязный тон писаря. Они привыкли к тому, чтобы с ними здоровались почтительно, так, например, как всегда здоровался сам станичный атаман: «Здравствуйте, господа старики, казаки и урядники!» А тут вдруг: «Граждане свободной России…»

— Никак, Лазарь Михайлович под хмельком, — шепнул мне Михаил Ермаков.

— Граждане свободной России, — снова закричал Лазарь Михайлович, — поздравляю вас с новой жизнью!.. Нет у нас теперь царя… Все!.. Отцарствовал он… Триста лет цари пили из народа кровь…

— Стой! — гневно заорал Руднев, грудастый старик с пышной серебряной бородой, первейший богач в станице. — Ты что болтаешь-то?.. Подумал о том али нет?.. Кровь пили… Да можно ли такие слова про царей гутарить?..

— Можно, — смело сказал писарь. — Царь Николай над нами не царствовал. За него всеми делами заворачивал царицын любовник Гришка Распутин.

Из толпы послышались гневные вопли, в воздухе замелькали костыли.

— Что он гутарит?.. Что гутарит?..

— Морду, проклятому, набить!

— Стащить его с крыльца!

— Предатель казачий!

— Тихо! — ничуть не испугавшись, поднял руку Уваров. — Тихо!

Толпа замолкла не сразу. Долго еще слышались отдельные гневные выкрики:

— Разжирел, проклятый!

— Шею бы ему накостылять!

Дождавшись, когда все умолкли, писарь спокойно сказал:

— А ведь зря, граждане казаки, ругаетесь… Ей-богу, зря!.. Я ж вам чистую правду говорю… Ведь царь-то Николашка дурак был. Всеми делами управлял самый что ни на есть сиволапый простой мужик Гришка Распутин…

И снова взрыв яростных голосов.

— Брешешь, сукин сын!

— Стащить!..

— Бить!..

Не сдобровать бы тут писарю, избили бы его. Но заступились фронтовики.

— Чего набросились, старые, на человека!

— Правду ведь он гутарит!

Старик Руднев задрался с фронтовиком. За фронтовика вступились. И пошла свалка.

Про писаря Уварова все забыли.

В Темир-Хан-Шуре

Желание стать военным у меня уже совсем пропало, а все же пришлось мне поехать в Темир-Хан-Шуру. Теперь уже неудобно было не ехать, так как о своем отъезде я слишком много наболтал в станице.

Поезда во время войны ходили страшно медленно, ехал я очень долго. В то время по железной дороге ездили почти одни только военные. Вагон, в котором я ехал, был забит до отказа солдатами. Настроение у всех веселое, жизнерадостное. На груди у каждого — алый бантик. А у некоторых, видимо наиболее революционных, солдат кокарды, а порой так даже и погоны были обернуты красной материей.

Среди солдат велись нескончаемые жаркие споры о будущем России. Каждый говорил свое…

Из станицы я выехал еще зимой; на улицах лежали сугробы, а когда приехал на Кавказ, весна там была в полном разгаре.

Квартиру брата Павла я разыскал быстро.

На второй день после моего приезда Павел повел меня в канцелярию маршевой роты Дагестанского полка.

Канцелярия помещалась в небольшой комнате многоэтажного кирпичного здания. Здесь за большим столом сидел седовласый, подстриженный «под ершик» пожилой полковник в пенсне и черкеске.

— Разрешите войти, — обратился к нему Павел.

— А, Павел Ефимович! — поднялся навстречу ему полковник. — Здравствуйте!

Я с уважением посмотрел на брата. Сам полковник с ним здоровается.

— Я, господин полковник, вот насчет своего двоюродного брата, — кивнул на меня Павел. — Помните, я с вами уже говорил по поводу его… Вы обещали.

— Да-да… — проговорил полковник и взглянул на меня. Хорошо. Зачислим. Пусть оставит заявление. Придет командир сотни, штаб-ротмистр Джафаров, проведем приказом…

— Он имеет права вольноопределяющегося второго разряда, — сказал Павел.

— Очень хорошо. Значит, грамотный… Нам такого сейчас надо… Мы вас оставим служить у нас в канцелярии, — сказал мне полковник. — Сколько вам лет?

— Скоро семнадцать будет, — сказал я тихо, боясь, что полковник откажет мне.

Но полковник засмеялся.

— Молод. Очень молод. Так решено, здесь останетесь. Господин Зейферт! — позвал он.

Один из писарей подскочил за своим столом.

— Я вас слушаю, господин полковник.

— Помогите молодому человеку устроиться.

— Слушаюсь, господин полковник.

Писарь вывел меня из комнаты в прихожую и указал место за шкафом.

— Вот здесь поставим койку, — сказал он. — Прикажу привезти ее из цейхгауза. Белье, одеяло и обмундирование вы сами получите… Тут спит наш штаб-трубач… Я думаю, вы с ним подружитесь, и вам вдвоем будет не скучно… Устраивайтесь!

…Назавтра я уже был зачислен всадником в сотню, хотя работать надлежало в канцелярии. В тот же день я получил из цейхгауза все полагающееся мне белье и кое-что из обмундирования. С удовольствием надел на себя серую, дешевенького материала, гимнастерку с такими же погонами, дряненькие брючишки-галифе и грубые козловые сапоги. Все было бы хорошо, но мне не терпелось получить черкеску, папаху, кинжал и кавказскую шашку.

В канцелярии нас ежедневно работало шестеро: полковник князь Аргутинский, два писаря, старшие унтер-офицеры, Ковальчук, Зейферт и я. Какую роль я выполнял в канцелярии, я и сам хорошо не уяснил. Меня усадили за пишущую машинку и заставили учиться печатать на ней. Числился я в маршевой сотне, командиром которой был дагестанец, штаб-ротмистр Джафаров, фактически же я был в распоряжении полковника Аргутинского и работал в канцелярии.

Работа в канцелярии

Я научился печатать на машинке. Князь и писаря были довольны мной.

Но разве это могло удовлетворить меня? Разве я об этом мечтал, когда ехал сюда? Конечно, нет. Тысячу раз нет! Я был романтически настроенным юношей…

Я видел себя носящимся на великолепном скакуне в дыму сражений. Как молния, пылает в моей руке сабля. Бросая оружие, падают на колени передо мной немцы, прося пощады… Благодаря моему героизму наши войска одерживают победу… Меня прославляют, грудь мою увешивают крестами и орденами. За смелость и отвагу меня производят в офицеры (а может быть, и в генералы). Все восхищены мной, моей храбростью, особенно молоденькие красивые девушки…

Вот о чем я мечтал и вдруг… машинка… переписчик.

Из нашей маршевой сотни на пополнение действующих на фронте дагестанских кавалерийских полков часто отправлялись команды всадников. Я завидовал им.

Мне очень хотелось быть вместе с этими юношами, ехавшими сражаться с немцами.

Мое откомандирование на фронт зависело от полковника Аргутинского. Но он молчал, довольный, видимо, тем, что я делал.

Я все собирался попросить полковника, чтобы он откомандировал меня на позиции, но я был очень застенчив. Однако желание поехать на войну у меня было настолько велико, что однажды я все-таки решился заговорить об этом с князем.

Я, как обычно, сидел за машинкой, перепечатывал какую-то бумажку и с трепетным волнением посматривал на полковника Аргутинского, размышляя о том, как бы улучить момент и поговорить с ним.

Полковник, вероятно, заметил, что я что-то хочу ему сказать. Возможно, я и ошибаюсь, но мне кажется, что князь тогда нарочно услал куда-то писарей, и мы с ним в канцелярии остались вдвоем.

Долго мы с полковником сидели молча, занятые каждый своим делом. Я постукивал на машинке, а он что-то писал. Побагровев от волнения, я все порывался встать и заговорить с князем, но у меня не хватало духу это сделать…

На лице у полковника блуждала усмешка. Он, видимо, понимал мои мучения.

— Не хотите ли вы мне что-нибудь сказать, а?.. — вдруг

спросил он у меня.

— Да… нет… — смешался я. — Так точно, господин полковник, — наконец, придя в себя, вытянулся я перед ним. — Я… я хочу просить вас, чтобы вы откомандировали меня на фронт…

— На фронт? — сняв пенсне и усмехнувшись, переспросил меня полковник. — Гм!.. На фронт… Юноша, юноша… А вы хорошо представляете себе, что это такое фронт?

— Конечно, представляю, господин полковник, — сказал я умоляюще. — Я очень хочу попасть туда… Пошлите меня, господин полковник… Я вас очень прошу.

— Мальчик вы, мальчик, — снисходительно улыбаясь, сказал полковник. — Глупый еще… Вам, кажется, шестнадцать, да?

— Скоро семнадцать будет, — торопливо поправил я его.

— Ой, как много! — засмеялся князь. — Вы, надеюсь, читали книгу «Война и мир» Льва Николаевича Толстого?

— Читал, господин полковник.

— Помните, у него там есть такой же, как вы, взбалмошный, романтически настроенный шестнадцатилетний мальчик Петя Ростов?

— Да, помню.

— Он тоже поступил добровольцем в армию. А помните, какой конец его постиг?

— Он был ранен и умер.

— Вот в том-то и дело.

Полковник закурил папиросу.

— А вы разве исключение?.. — спросил он меня. — Вы вот, вероятно, мечтаете о каких-то подвигах. А вы не думаете, что вас могут убить? — продолжал он. — Да убьют, это еще ничего… Поплачут родные, друзья — и все… А вот, если будете больны, искалечены, будете всем в тягость, тогда и девушки на вас не взглянут… Надеюсь, вы меня понимаете, к чему я это все говорю?

Я хотел что-то сказать, но полковник остановил меня.

— Одну минутку. Этот разговор, который я вел с вами, должен остаться между нами. Это я вам говорю так, другому бы я, вероятно, иначе говорил… В заключение я вот вам что скажу: время сейчас тревожное. Революция еще не окончилась, и неизвестно, чем она закончится… Война, как видно по всему, долго не продлится, а поэтому рисковать вам своей головой не следует. Она вам еще пригодится в жизни… Все!.. На этом разговор наш будем считать законченным.

Пришли писаря. И все снова потекло по-прежнему. Мне совали бумажки, а я исправно их перепечатывал.

Тоска по станице

Да, все, что я делал в канцелярии маршевой сотни, было далеко от моих романтических представлений о войне и вообще военной службе. Все оставалось прозаичным, нудным и скучным. Порой, забившись в «крысиный» уголок, как я называл свою койку, стоявшую за шкафами, я предавался думам о станице, тосковал по друзьям.

Мне грезились роскошные, расцвеченные огоньками чудесных цветов наши луга, дивные ковыльные степи, наша маленькая такая милая речушка, небольшой лесок.

В минуты грусти я смотрел в окно.

Часто я видел, как из противоположного окна большого красного кирпичного дома, ласково улыбаясь, выглядывает молоденькая, красивая Персианка. Она совсем еще девочка, ей не больше пятнадцати лет. Но она уже замужем за старым толстым персом с огненной крашеной бородой. Я знаю этого перса. Он тут вот недалеко, на углу, торгует в ларьке фруктами и разными восточными сладостями.

Когда мне приходится покупать что-нибудь у него, я каждый раз вспоминаю его молоденькую жену, и мне почему-то становится ее жалко.

Она смотрит на меня полными тоски и отчаяния глазами, словно умоляет, чтобы я избавил ее от неволи и кабалы, в какой она живет…

Я постепенно приобретаю вещи, украшаю ими себя. Например, у трубача Станислава Зеньковского я выпросил драгунские шпоры, которые тотчас же прикрепил к своим сапогам. На так называемой толкучке, где продавался разный старый хлам, я отыскал у одной старушки, продававшей разнообразную рухлядь, две красивые металлические эмблемы «1-й ДП», означавшие «1-й Дагестанский полк». Я купил их и тотчас же прикрепил к своим погонам. Вид мой доставлял мне удовольствие.

Иногда к нам, в канцелярию, заходили фронтовики, юноши-дагестанцы, прибывшие домой на побывку с фронта или из госпиталей на поправку.

О, как я им завидовал! На них все блестело и сверкало. Прекрасные черкески, великолепные папахи из первосортного каракуля. Козыри, кинжалы, пояса, шашки горели в золоте, серебре. На груди у них сверкали кресты и медали. На малинового цвета штанах поблескивали серебряные лампасы.

Как мне хотелось быть таким же блистательным!

Тогда я еще не понимал того, что деньги делали их такими красивыми и нарядными. Ведь все они были сынками богатых, состоятельных родителей. После я встречал горцев и других бедно одетых солдат, в залатанных штанах и грубошерстных черкесках, в шапках из собачьих шкур.

По воскресным дням я бродил по городу, а вечерами шел в городской парк, заполненный до отказа молодежью.

Посреди парка гремел духовой оркестр. Перед ним на бетонированной площадке танцевали пары.

Однажды оркестр заиграл Наурскую лезгинку. Все в такт музыке хлопали в ладоши. На площадку, как кошка, гибко выпрыгнул затянутый в белую черкеску горец. Легко перебирая ногами, обутыми в мягкие кавказские сапоги, он завертелся по кругу волчком.

— Аса!.. Аса!.. — выкрикивала толпа, хлопая в ладоши.

Знакомый солдат слегка толкнул меня в спину.

— А ну, дай, Саша, им чертей!

Я рванулся на площадку.

— Аса!.. Аса!.. — хлопали солдаты, девушки, горцы. — Аса!..

Я носился по кругу вслед за горцем.

— Аса!.. Аса!..

Но вот оркестр умолк, пляска закончилась.

— Браво!.. Браво!.. — хлопали в ладоши зрители. Вспотевший, тяжело дыша, я пошел по саду.

Знакомый солдат разговаривал с двумя девушками.

— Иди сюда! — позвал он меня. — Иди познакомься с барышнями… Гимназистки…

Я подошел к ним.

— Знакомьтесь, — сказал солдат. — Вольноопределяющийся…

— Саша, — добавил я.

— Люба, — сказала несколько жеманно высокая красивая девушка, пожимая мою руку.

Я подал руку второй девушке.

— Катя, — тихо назвала себя та.

— Вы восхитительно танцуете, — сказала Люба. — Правда, дагестанец-то, конечно, лучше вас танцует, но на то он и дагестанец.

— А по-моему, и не лучше, — возразила Катя. — Саша лучше танцует. У Саши получается как-то… ну, как это сказать… поэтичнее, что ли… Нет!.. Вы танцуете очень хорошо!.. Вы и бальные танцы танцуете?

— Немного танцую, — сказал я.

Катя была маленькой, изящной девушкой лет семнадцати.

Черненькая, кудрявенькая, с живыми смешливыми глазами. Она, быть может, была и не так красива, как ее подруга Люба, но понравилась мне больше. Больше в ней было простоты.

Домой!

Город Темир-Хан-Шура[9] сравнительно небольшой. Но центральная улица его всегда была заполнена праздно разгуливавшей публикой. Весело щебеча, сновали по магазинам нарядные дамы, фланировали взад-вперед по тротуарам военные всех родов войск. По вечерам высыпали на улицу гимназисты и гимназистки. Расхаживали щегольски разодетые в черкески горцы, обвешанные оружием в дорогой золотой и серебряной оправе — кинжалами и револьверами.

После занятий в канцелярии я бывал свободен до утра следующего дня. От нечего делать я выходил на главную улицу и бродил по ней.

Иногда совсем неожиданно то там, то здесь возникали митинги. Вокруг оратора скапливались любопытные.

Протискиваясь в толпу, прислушивался и я к ораторам, пытаясь понять и разобраться, о чем они говорят. Выступали представители разных направлений и партий: эсеры, кадеты, меньшевики, октябристы, трудовики, анархисты, большевики и многие другие.

Солдаты всем ораторам дружно хлопали в ладоши и кричали: «Правильно!»

Так казалось вначале, а потом я заметил, что все-таки охотнее солдаты слушали большевиков. Им они громче и аплодировали. Я не понимал, почему это так, а потом догадался: большевики говорили о более близких для солдат вещах. Они требовали прекращения кровопролитной войны и немедленного раздела земли между крестьянами…

Лозунги большевиков о прекращении войны и заключении мира с Германией стали популярными в народе. О них заговорили повсюду.

Меня только поражало, с какой смелостью большевики говорят об этом. Будь это при царском режиме, не миновать бы таким смельчакам каторги.

Все то, что я видел и слышал, конечно, не могло пройти бесследно мимо моего сознания. Я уже не был тем наивным деревенским увальнем, каким приехал сюда из станицы. Жизнь в течение полугода в городе, общение с горожанами, а также с бывалыми, разбитными солдатами делали свое дело. Я взрослел, стал кое в чем разбираться. Детские мечты о подвигах и приключениях теперь мне были смешны. Да и военная служба в пропахшей табаком канцелярии, с постоянной трескотней на машинке, опротивела.

Я затомился, заскучал, захотелось очень в станицу.

Однажды, улучив момент, когда мы с князем в канцелярии были одни, я с трепетом сказал ему:

— Господин полковник, разрешите к вам обратиться.

Князь, сняв пенсне, взглянул на меня.

— Говорите.

— Господин полковник, отпустите меня в отпуск домой… Пожалуйста, господин полковник, хоть на недельку… Мне надо.

Полковник усмехнулся.

— Очень надо?

— Очень.

— Соскучились?

— Да.

— Ну, хорошо, — сказал князь. — Я не буду возражать… Но только вы поговорите насчет отпуска со штаб-ротмистром Джафаровым. Неудобно его обходить: он ваш командир…

Я сник. Командир сотни Джафаров был вспыльчивый, раздражительный человек. Он никогда не говорил спокойно, все кричал. Его все боялись. Говорить с ним для меня было страшным делом…

Но делать нечего, поехать в отпуск мне все-таки очень хотелось. Преодолевая свою робость, я решился поговорить с Джафаровым.

Однажды в коридоре слышу, бряцают шпоры: идет Джафаров, я похолодел. Как только он ко мне приблизился, я, отдавая честь, запинаясь, проговорил;

— Раз…решите, господин штаб-ротмистр…

Офицер остановился, удивленно оглядывая меня.

— В чем дело? — с горским акцентом спросил он. — Что надо?

Я коротко изложил свою просьбу.

— А ты кто?.. Откуда?

Оказывается, он меня даже и не знал. Полгода ходил в канцелярию и не замечал меня.

— Я всадник маршевой сотни, вольноопределяющийся… — с достоинством назвал я свою фамилию. — С вашего разрешения, господин штаб-ротмистр, служу в канцелярии сотни, в распоряжении полковника Аргутинского…

— Ах, да-да! — закивал Джафаров. — Я не узнал сразу… Близорук немного. Хочешь в отпуск?.. Нет!.. Нет!.. Мало служил… Не могу отпустить. Все!

Круто повернувшись, он направился к выходу..

Подавленный и грустный вернулся я в канцелярию, сел за машинку, начал печатать. Князь внимательно посмотрел на меня

и, видимо, поняв, в чем дело, покачал головой.

Дня через три после этого, когда мы с полковником остались в канцелярия снова одни, он спросил у меня:

— Говорили с командиром сотни?

— Так точно, господин полковник, — поднялся я. — Говорил.

— Не отпустил?

— Нет.

— Даю вам два дня, — сказал полковник, — подуправьтесь за это время с делами.

— Так точно, господин полковник, подуправлюсь. У меня тут всего перепечатать два списка.

— Ну и отлично. Послезавтра можете оформлять себе документы на выезд в отпуск.

— Господин полковник! — вскричал я. — Неужели правда?

— Ну вот вы какой, — добродушно рассмеялся князь. — Что же я вас буду обманывать?.. Господин Зейферт оформит документы, я скажу ему.

— Как я вам благодарен, господин полковник! — воскликнул я.

— Что же делать, поезжайте, — сказал князь. — Жалко мне вас. Беру на себя ответственность, думаю, с командиром сотни мы из-за вас не поссоримся… А на него вы не обижайтесь. Он, вероятно, прав, что отказал вам в отпуске. Мало ведь вы у нас еще служили. Да бог с вами, поезжайте… Вам же, я знаю, так хочется поехать домой… Вы хороший паренек… Учиться вам надо бы, а вы вот на войну захотели… Да, время сейчас очень тяжелое… Чувствую, впереди еще много событий будет.

Через два дня я, радостный и счастливый, уезжал в отпуск в родную станицу.

В родных краях

Мое появление в станице в военной форме — с золотыми эмблемами и жгутами вольноопределяющегося на погонах, с серебряными лампасами на штанах и шпорами на сапогах — произвело фурор среди моих друзей. Парни относились ко мне с заискивающим вниманием, девушки восхищались.

Уже тогда между фронтовиками и казаками-богачами начались споры. Фронтовики поддерживали большевиков, а богачи — кадетов. Особенно споры эти разгорелись в связи с тем, что на 12 ноября 1917 года, по старому стилю, намечались выборы в учредительное собрание России, а поэтому населению раздавались для голосования листки с фамилиями кандидатов от различных партий…

Я был еще несовершеннолетний, поэтому мне такой листок не вручили.

Подходил срок моего возвращения в Темир-Хан-Шуру. Но в станице было хорошо, и со мной все были так приветливы, что ни о каком отъезде думать не хотелось.

Да если б я и вздумал ехать снова на Кавказ, то едва ли меня отпустил бы отец. В станицу стали проникать тревожные слухи о том, что всюду по России — в Петрограде, Москве, Донбассе и на Кавказе стало неспокойно, начались волнения рабочих и крестьян.

— Поехал бы к Маше, — сказал мне отец. — Проведал бы племянников. Давно ведь не видел…

И я решил поехать к сестре. Сосед-казак отвез меня на станцию. Там я сел на поезд, доехал до Урюпинской, а оттуда до Машиного хутора дошел пешком.

Маша была рада моему приезду. А что касается детей — а их теперь у Маши было трое, — то они меня буквально осаждали, требуя, чтобы я с ними играл.

Георгий был на фронте, и сестре приходилось вести хозяйство. Маша была довольна тем, что я приехал и хоть немного помог ей.

От работы я поздоровел, стал настоящим хуторским парнем.

Бывая на вечеринках, я там познакомился с гармонистом Марушкиным Алексеем. Это был плотный, кряжистый казак лет двадцати четырех, с рябоватым лицом.

Наступили первые заморозки. Я собирался ехать к себе домой, но неожиданно получил письмо от отца. Он писал, что работал в кооперативе, а теперь ушел оттуда и намеревается в скором времени переехать жить к Маше. Она его об этом давно

просила. Поэтому он предупредил, чтобы я задержался у сестры.

* * *

Свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция.

Хотя наш хутор и был далеко от железной дороги, но вести о революции доходили до нас быстро.

С фронтов мировой войны возвращались солдаты. Они-то и будоражили хутор. Они рассказывали о революционных событиях, происходящих в Москве и Петрограде.

Опять между фронтовиками и бедными и зажиточными казаками стали возникать споры. Но споры эти еще кончались мирно…

Дождались и мы приезда с войны своего Георгия.

К тому времени отец уже перебрался на житье к Маше. У зятя был дом из трех комнат, одну из них мы и заняли с отцом.

В этом году зима была великолепная, не холодная, снежная.

Однажды на рождественские праздники Георгий пригласил меня пойти с ним поохотиться на зайцев. Один дробовик у нас был, а другой мы достали у соседей. Раздобыли и поджарую, лягавую собаку Пальму.

Наутро встали мы еще затемно. Пока собрались, забрезжил рассвет. Хутор спал. Лишь на окраине, видимо, почуяв волков, хрипло лаяли собаки.

Вокруг сказочно тихо. Пальма с визгом прыгает около нас, вертится под ногами, мешает идти.

За хуторами, как огромная подсиненная простыня, расстилается бескрайняя заснеженная степь. С трудом мы вытаскиваем ноги из сугробов…

Из-за куста выскочил заяц. Поджав уши, он ошалело помчался по оврагу, оставляя на мягком снегу кудрявую вязь следа… Собака с громким лаем метнулась за ним. И тотчас же и заяц и собака исчезли за бугром.

— Давай разойдемся, — сказал Георгий. — Ты иди там, — махнул он вправо, — а я пойду здесь по следу… Так будет лучше.

Мы разошлись.

Теперь уже хорошо развиднелось. Из-за облаков выглянуло далекое холодное солнце. Снег вспыхнул мириадами радужных причудливых искр. Мертвая, безжизненная до этого степь ожила, заиграла чудесной россыпью разноцветных огней.

Я брел по глубокому снегу в одиночестве, предавшись любимому своему занятию — мечтанию…

Выстрел вывел меня из мира грез. Я посмотрел в ту сторону, где выстрелили. Георгий кричал, что-то показывая.

«Наверно, зайца убил», — подумал я.

Бродили по полям и оврагам мы до вечера. Георгий убил трех зайцев, я — ни одного.

…Как-то Георгий сказал мне, как бы между прочим:

— Завтра начинается рубка леса. Если хочешь — помоги мне.

Разумеется, я согласился помочь ему.

Утром, захватив топоры, мы направились в лес. Подходя к нему, мы услышали дробный перестук топоров лесорубов, словно в лесу шла жаркая перестрелка… То там то сям со свистящим шумом падали срубленные дубы, тополи, ясени, клены. Навстречу нам то и дело выскакивали из леса обалдевшие от страха зайцы. А один раз, как язык пламени, метнулся в кустах рыжий хвост лисы.

— Ах! — вскрикнул Георгий. — Ружье-то не взял!

Перескакивая по верхушкам деревьев, недоумевающе трещали взволнованные нарушенным покоем сороки. Кружась над лесом, негодующе горланили потревоженные галки…

Георгий выбрал толстый дубок на своей делянке.

— Смотри, Александр, учись! — сказал он мне.

Размахнувшись топором, он вонзил острие в подножие дерева.

— Подрубив с этой стороны, — поучал меня Георгий, — начинай потом подрубать с другой.

Еще несколько сильных ударов топором — и дуб зашатался.

— Уходи! — крикнул Георгий мне. — Уходи скорей!.. Прибьет!

Я отбежал. Закачавшись, дуб заскрипел, зашумел ветвями и упал в снег на то место, на котором я только что стоял.

Начал и я рубить дубок. Вначале у меня ничего не клеилось, а потом дело пошло на лад.

Срубив десятка три деревьев, мы стали их возить в хутор.

Возить толстые стволы надо было умеючи. Обчистив ствол от ветвей, мы наваливали его утолщенным концом на санирозвальни, а тонким — на подсанки и увязывали.

Возились мы с лесом целую неделю. Удивительно приятная это была работа.

…В воздухе чувствовалось первое дыхание весны. Все чаще появлялось горячее, ослепляющее солнце на нежном голубом небе. По дорогам побежали мутные ручьи.

— Весна ведь!.. — сказал Георгий. — У нас корма скотине не хватит… Александр, — обратился он ко мне, — поедем со мной в Долгое за сеном, а?..

Ну как можно отказаться? Конечно, я согласился поехать с ним.

Долгое — это длинная, заросшая лесом балка. В гущине леса обосновалось несколько казачьих куреней. Недалеко от Долгого находился участок земли Георгия. Весной Маша на этом участке накосила травы, но перевезти сено домой не смогла. Там, на месте, она и сметала его в стог.

Вот теперь-то туда нам и надо было поехать.

* * *

Конь легко бежал по морозной дороге. За полчаса мы доехали до стога, быстро наметали воз сена, увязали.

— Александр, — сказал Георгий, — подожди меня, а я сбегаю к Астаховым: узнаю, как живет мой однополчанин Алексей.

— Смотри, недолго, — сказал я.

— Сейчас же вернусь.

Ушел Георгий и пропал. Наверно, однополчанин Алексей оказался дома и теперь потчевал его.

Все это было ничего. Но солнце припекало все жарче, и снег таял быстро. Я беспокоился, а вдруг разольется по дороге вода, как мы тогда доставим домой сено? Даже конь, перестав жевать сено, поглядывал на меня умными глазами и тихо ржал, просился домой. Ему тоже, видимо, надоело стоять здесь без толку.

И только в полдень заявился наконец раскрасневшийся, с затуманенными глазами Георгий. Он блаженно улыбался.

— Ты, Александр, извини меня, — сказал он. — Задержался, парень, я… Нельзя было. Товарищ ведь мой, Алексей-то… Давно не видались… Ну, по рюмочке выпили… Сейчас поедем… Но! — замахнулся он кнутом на лошадь.

Но лошадь не смогла столкнуть с места тяжелый воз. Полозья глубоко увязли в талом снегу. Лишь после того как мы с Георгием подперли их кольями, конь наконец сдвинул воз и, тяжело упираясь ногами, потащил его к дороге.

Я не напрасно беспокоился. Дорога вся сплошь была залита. Мы брели по колено в ледяной воде. В сапогах ее тоже было полно, ноги окоченели.

Лошадь трудно тащила воз, часто останавливалась, отдыхала. Только к вечеру дотащились мы домой.

У Георгия, как у ветеринарного фельдшера, на всякий случай хранилось немного спирта. Он развел его водой и разделил пополам.

— Выпей! — подал он мне стакан. — Надо погреться, а то

заболеешь.

Мы выпили спирт, поужинали и залегли на горячую русскую печь. Я тотчас же заснул.

Ночью я почувствовал озноб — простудился.

Праздничные дни

Наступала пасха. Хуторяне хлопотливо готовились к праздничным дням: казаки резали кабанов, коптили окорока, начиняли колбасы, бабы мыли, скребли полы, белили стены, пекли куличи, красили яйца.

Зять тоже зарезал небольшого кабанчика и теперь возился с колбасами. Маша взбивала сдобное тесто, готовясь печь куличи. Я с маленькими племянниками, на потеху им, раскрашивал яйца. Благо что у отца было много разных красок, в том числе порошковой бронзы.

Под вечер в страстную субботу ко мне пришел Алексей Марушкин с белым узелком.

— Пойдем в станицу, — пригласил он меня.

— Зачем?

— Святить куличи.

— Ладно, — согласился я.

Я оделся в праздничную одежду: в синие галифе, сатиновую бордовую рубаху и сапоги. Забрав приготовленный Машей узелок с куличом и яйцами, я отправился со своим приятелем в станицу.

Половодье было в самом разгаре. Вешние воды залили все рощи, займища и дороги. В станицу теперь можно было пройти только обходным путем, через дворы и сады хуторян. Так надо было пройти версты две до того места, где приставали баркасы, перевозившие народ через разыгравшуюся реку.

У баркасов стояла большая очередь.

Через полчаса примерно уселись и мы в баркас. Передав мне свой узелок с куличом, Алексей взялся за весла. Я сел у кормы, около перевозчика, управлявшего рулем. Баркас до отказа был переполнен народом.

На середине реки сильное стремя подхватило баркас и понесло его вниз по течению.

— Нажми! — крикнул перевозчик гребцам. — Нажми сильней! Что как вареные курицы гребете?.. Давай!.. Давай!.. — Он рванулся, чтобы выровнять баркас, и толкнул рукояткой весла стоявшую на корме девочку. Пронзительно вскрикнув, девочка упала за борт. Бросив куличи, я успел ухватить ее.

— Танечка! — испуганно закричала молодая казачка.

— Ничего, ничего, — успокоили ее. — Все в порядке…

— Дайте ж мне пройти к ней. Это моя племянница.

— Разве ж к ней пройдешь? — закричали на женщину. — Лодку еще перепрокинешь. Вот зараз к берегу пристанем… Ничего не сделалось с твоей племянницей. Жива-здорова.

— Племянница, — укоризненно сказала какая-то старуха. — Бросила дитя и увихрилась на нос кавалерничать… А теперь жалко стало.

— Не усмотрела я, — оправдывалась женщина.

— Ну, не ругаться, бабочки, — успокоил мужской голос. — Нельзя этого делать. Великий праздник подходит.

Я усадил девочку к себе на колени. Она испуганно приникла своей головкой ко мне. Ей было лет десять-одиннадцать.

Народ оживленно заговорил о происшествии. Меня расхваливали.

— Молодец, парень, молодец!.. Ежели б он не ухватил ее вовремя… погибла б девочка… Утопла… Поминай как звали…

Баркас мягко стукнулся носом в песок. Народ стал выбираться из лодки. Ко мне пробралась тетка девочки.

— Спасибо вам, родной, — сказала она. — Вы ее спасли.

Я смутился.

— Танечка!.. — наклонилась женщина к девочке. — Да жива ли она?.. Танюша!..

— Тетя, — потянулась к ней, приоткрыв глаза, девочка.

Женщина взяла девочку на руки и вынесла на берег.

— Как мне только и благодарить вас, — обернулась она ко мне.

Я с нежностью погладил девочку по шелковистым волосам. Разве ж я мог подумать тогда, что судьба надолго свяжет меня с ней?

Алексей, держа узелки с куличами, огорченно разглядывал их. Салфетки были изрядно выпачканы.

— Как же мы их теперь понесем святить? — сказал он удрученно. — Пожалуй, неудобно в таком виде… Грязные…

— Дай-ка мой кулич, — попросил я.

Пристроившись на скамейке у чьего-то двора, я перевернул салфетку на куличе другой стороной. Все было в порядке. Узелок стал чистым.

— Здорово! — повеселел мой приятель и последовал моему примеру.

Всю ночь мы бродили с девушками около, церкви, а рано утром, освятив куличи, пошли домой. На берегу, дожидаясь переправы, уже собралась огромная, празднично разодетая толпа с белыми узелками.

Всюду слышалось:

— Христос воскресе!..

— Воистину воскресе!..

Народ христосовался, целовался.

— А вот и твоя крестница, — сказал Алексей.

Мимо, улыбаясь, прошла молодая женщина, ведя за руку Таню. Маленькая девочка, плутовато улыбаясь, взглянула на меня.

— Ну как, Танечка, — спросил Алексей у девочки. — Не боишься теперь переправляться через Хопер?

Девочка побледнела, глазенки ее испуганно забегали.

— Ой, не напоминайте ей об этом! — сказала молодая женщина. — Я ее едва уговорила идти домой, никак не хотела переправляться… Боится теперь воды.

— Ничего, — успокоил Алексей. — Пройдет.

Вступаю в Красную гвардию

В начале гражданской войны по хуторам и станицам разъезжали белогвардейские офицеры и вербовали в свои отряды молодых парней. Сынки зажиточных казаков охотно откликались на зов белого офицерства и вступали в ряды белогвардейцев. Но иногда, попав под их влияние, шли в отряды и юноши из бедняцких семей.

Поддавшись офицерской агитации, с нашего хутора тоже ушли к белым несколько юношей. Основная же масса казацкой молодежи хутора оставалась нейтральной: не шла ни к белым, ни к красным.

В это время на хутор с фронта (не знаю, почему с таким опозданием) вернулся казак большевик Долгачев Иван Борисович. Был он развитым, образованным человеком, хорошим оратором.

Внешность он имел неказистую: небольшого роста, толстенький, сутулый; голова почти вся лысая. Но храбрости он был необычайной. В войну совершил ряд героических подвигов, за что награжден был четырьмя георгиевскими крестами и четырьмя медалями и произведен в подхорунжие.

Авторитетом Долгачев пользовался не только в нашем хуторе.

Кличка Большевик укрепилась за Долгачевым. Но так тогда называли и многих казаков-фронтовиков. А вот никто в хуторе, конечно, не знал, что Иван Борисович Долгачев был коммунистом. Мы узнали об этом уже значительно позже. Был, оказывается, у нас в хуторе и еще один коммунист — девятнадцатилетний сын нашего хуторского казака Ивана Ивановича Ермолова — Николай. Человек он был умный, недавно закончил Новохоперскую гимназию.

Вот эти-то два коммуниста, надо прямо сказать, сыграли в те смутные дни решающую роль в судьбе многих хуторских парней.

И Долгачев, и Николай Ермолов часто собирали нас в лесу или на берегу реки во время купания и вели с нами долгие беседы.

Они рассказывали нам и о Ленине, и о его борьбе с самодержавием, и о большевиках, которые, сплотившись вокруг Владимира Ильича, добивались счастья для народа. Разъясняли нам, что такое социализм. Убеждали нас ни в коем случае не вступать в отряды белогвардейцев. А если доведется участвовать в гражданской войне, то рекомендовали поддерживать сторону большевиков.

После таких бесед мир перед нами вставал в совершенно

других очертаниях.

За те несколько недель, что мы общались и беседовали с Долгачевым и Ермоловым, мы прошли такую политическую школу, которая помогла в дальнейшем правильно ориентироваться в развернувшихся событиях и избрать в жизни верный путь.

В станице жил мой приятель Миша Пеков. Он был удивительно развитым и начитанным юношей.

Отец его, Иван Панферович, по происхождению казак, доводился родственником нашему зятю. Но занимался Иван Панферович отнюдь не казачьим делом — он был ремесленником, славился как искусный жестянщик, кровельщик. Знал и малярное дело.

Это сблизило его с моим отцом. Иногда они сообща брали подряды у казаков на отделку домов. Иван Панферович крыл железом крышу, делал водосточные трубы, а отец красил, застеклял окна. Мы с Мишей помогали родителям: красили ставни, окна, палисадники.

Мне доставляло большое удовольствие вечерами после работы бродить с Мишей за Хутором, в поле, и вести с ним всякие разговоры. Мы говорили о прочитанных книгах, философствовали, мечтали…

Удивительные это были вечера! Они запомнились мне на всю жизнь! Собственно, говорил больше Миша, а я слушал. Он рассказывал мне о развитии философского мышления в Индии: об йогах, о том, как их система оздоровляюще действует на человеческий организм. Он чуть ли не наизусть знал «Божественную комедию» Данте.

Мне было интересно дружить с ним.

Как-то я затеял с Мишей разговор о социализме.

— У меня есть дядя, — сказал я. — Он социалист. Он мне много рассказывал о социализме… Да и от других слышал… Ты ведь, наверное, знаешь, что это за штука?

— Еще бы, — усмехнулся Миша. — Конечно, знаю.

— Ну и что? — оживился я. — Правда ведь, при социализме хорошо будет жить всем, а?

— Не знаю, — как-то рассеянно промолвил Миша. — Может быть. Но только это утопия. Я не верю в то, что при социализме люди будут нормально жить.

— Это почему же? — изумился я.

— Слишком мы все разные, — стал развивать свою мысль юноша. — Есть прекрасные люди, замечательные. Они, конечно, могли бы жить при социализме… Но ведь среди хороших, добрых людей есть негодяи и мерзавцы… И выходит, что эти дряни будут

пользоваться благами при социализме наравне с хорошими людьми, будут жить за счет хороших людей…

— Нет, — сказал я. — Ты неправ…

Миша усмехнулся и как-то странно посмотрел на меня.

— Но, а как же большевики-то, — сказал я. — Ведь они добиваются социализма? Значит, они верят в него?

— Большевики — фанатики, — ответил Миша. — Они хотят добиться того, чего сами не понимают. Придет время, они поймут свои заблуждения.

Прошло несколько дней. Михаила я в эти дни не видел.

…Однажды ранним утром, когда мы с отцом собирались пойти на соседний хутор красить дом у казака, на улице послышался топот скачущей лошади. У наших ворот топот оборвался. Скрипнула калитка. В ней показался мой друг Миша Пеков, ведя за собой оседланную лошадь.

Я изумился. У парня был воинственный вид: на нем была защитная гимнастерка с погонами, на боку болталась шашка, а за спиной — винтовка.

— Ого, вояка какой! — засмеялся я. — На кого это ты собрался в поход?..

— На большевиков, — сказал он серьезно.

— На бо-ольшевиков? — протянул я.

— Да. Поедем со мной, Сашурка.

— Куда?

— В станицу. Я за тобой.

— Зачем?

— В станицу приехали офицеры. Замечательные, образованные люди… Они собрали молодежь и рассказали, как бесчинствуют сейчас на Дону красногвардейцы… Они грабят население, насилуют малолетних, оскверняют храмы… Когда они обо всем этом рассказывали, мы плакали… Офицеры призвали нас, истинных сынов Дона, поднять свой карающий меч против насильников-пришельцев, наказать их.

Юноша достал папиросы из кармана. Закурил сам и угостил меня.

— Короче говоря, — продолжал он, — они нас своими рассказами взволновали. Мы все, как один, записались в отряд, который эти офицеры организовали.

— Сколько же вас записалось? — спросил я.

— Да, может, сотня, а может, и две.

— Кто же записался?

— Все гимназисты и реалисты, которые приехали домой на каникулы… И наших из второклассного училища много. Есть студенты. Видишь, мы и оружие получили и лошадей.

— Где ж лошадей набрали? — полюбопытствовал я.

— Ого!.. Лошадей сколько угодно. Богатые казаки пожертвовали… Сейчас командир нашего отряда, есаул Сычев, разослал нас по ближайшим хуторам, чтобы пригласить в отряд всех знакомых ребят… Я попросился поехать к тебе… Поедем, Саша!.. Поступишь в наш отряд… Тебе коня дадут… шашку, ружье, да и обмундирование тоже… Какая честь-слава нам будет, когда мы, изгнав красногвардейцев, вернемся домой!.. Мы же самыми почетными людьми будем… Поедем!

— Нет, — покачал отрицательно головой я. — Я не поеду в станицу… В отряд ваш вступать не буду…

— Почему? Ты подумай только…

— А я уже подумал. За белых я воевать не стану. А тебе я, Миша, посоветую: беги, беги немедленно из этого отряда.

— Как это так — беги? — рассерженно крикнул юноша. — Да ты понимаешь ли, что говоришь?.. Если мы разбежимся и не пойдем в отряд, мы дадим возможность большевикам захватить власть в станицах.

— И хорошо будет.

— Как это — хорошо? — взвизгнул Михаил. — Да ты что, за них стоишь? А-а… — протянул он догадливо. — Ну, конечно, ты за них. Ведь ты же говорил мне, что твой дядя социалист и что большевики социализм построят… Вот оно в чем дело. Теперь все понятно. Тогда мне с тобой нечего говорить… Прощай!

Он торопливо вывел лошадь из ворот, вскочил на нее, хлестнул плетью и помчался в станицу.

— Уходи от греха в Долгое, — посоветовала мне Маша, бывшая свидетельницей моего разговора с Пековым. — А то он еще может прислать сюда полицейских арестовать тебя.

Я ушел в Долгое.

Через день меня разыскала там сестра и рассказала, что муж ее, Георгий, видел, как из станицы под звуки духового оркестра, в неизвестном направлении выехал отряд мальчишек. Среди них горделиво восседал на лошади и Миша Пеков.

…В станице установилась Советская власть. Вместо станичного атамана теперь в правлении разместился ревком. Председателем ревкома был назначен казак из нашего хутора — Земцов Матвей Афанасьевич.

Потом одна за другой посыпались еще новости… Мы только руками разводили от изумления. Оказывается, Николай Ермолов, этот мальчишка, вчерашний гимназистик, был назначен ответственным секретарем окружного комитета Коммунистической партии. Окружкома партии!..

Затем четверо наших хуторских парней — Степан Храмушин,

Петр Ленчуков и братья Судаковы — под влиянием бесед Долгачева и Ермолова ушли в окружную станицу и вступили там в Красную гвардию.

— Вот черти паршивые, — ругался мой приятель Алексей Марушкин. — Не сказали нам… Может, тоже вступили б, Сашка, а?.. Как ты думаешь?

— Да, может, и вступили б, — сказал я. — Надо подумать.

— А чего думать?! — воскликнул Алексей. — Я вступлю, ей-богу!.. А чего ждать?..

— Посмотрим.

Старики, главным образом из зажиточных слоев населения, все больше ожесточались против молодежи, ругали на чем свет стоит молодых казаков, стоявших за Советскую власть.

Споры эти часто оканчивались настоящими побоищами.

Об отряде мальчишек, в который попал мой бывший приятель, Миша Пеков, долго ничего не было слышно.

Но все же однажды я услышал о нем. Услышал нерадостную весть.

Как-то вечером мы с Алексеем Марушкиным сидели на бревнах, наваленных у забора нашего двора. Алексей крикнул, указывая в конец улицы:

— Гляди, что это за люди?

По улице устало брели двое мужчин. Были они босы, в изодранном нижнем белье, грязные, в кровоподтеках.

Мы с любопытством смотрели на них.

— Да ведь это ж Храмушин и Ленчуков! — крикнул я с изумлением.

Да, это действительно были наши хуторяне Степан Храмушин и Петр Ленчуков, недавно вступившие в Красную гвардию. Подойдя к нам, они тяжело опустились на бревна, закурили и стали рассказывать, что вчера на рассвете, когда они мирно спали в казарме, в окружную станицу ворвался белогвардейский добровольческий отряд есаула Дудакова, составленный из мальчишек.

Налетчики застали руководителей партийных и советских организаций врасплох. Красногвардейцы, беспечно спавшие в казарме, выскакивали в окна в одном нижнем белье и тут же в упор расстреливались белыми. Много было тогда побито и руководящих работников. В числе этих мальчишек наши красногвардейцы видели и Пекова.

В тот же день дудаковцев из Урюпинской выгнал подошедший из Поворино красногвардейский отряд.

Налет Дудакова был как бы сигналом к выступлению всех контрреволюционных сил округа. Теперь то там то тут по

станицам, как грибы после обильного дождя, появлялись белогвардейские шайки. Ночью они налетали на станицы и хутора и вырезали должностных лиц и коммунистов.

В окрестностях нашей станицы стала орудовать банда белогвардейцев казачьего офицера Мотарыгина. Появились и первые жертвы этой банды.

Вот тогда-то в целях самообороны и было решено в ряде станиц создать красногвардейские дружины. Создавался такой отряд и в нашей станице. Организатором его оказался наш хуторянин, Долгачев Иван Борисович.

Я уже говорил о том, что среди населения Долгачев пользовался большим авторитетом. Как только стало известно, что он организует дружину, в нее сразу же хлынула казачья голытьба и иногородние — жестянщики, сапожники, портные…

Долгачев убедил вступить в дружину и своих братьев — старшего Василия и младшего Петра. Вслед за ними записалось и еще человек пятнадцать молодых казаков с нашего хутора, в том числе и мы с Алексеем Марушкиным. Алексей уговорил вступить в дружину и своего младшего брата.

Под казарму для нашей дружины было отведено училище. Нас зачислили на довольствие, выдали ружья-берданки, сохранившиеся еще с Севастопольской кампании 1854–1855 годов, а к ружьям — по два десятка патронов.

Немало мы потешались над этими ружьями. Стволы у них были длинные, как пищали, стреляли они с ужасающим громом.

Из нас, хуторян, был составлен целый взвод. Взводным командиром мы выбрали своего хуторского парня — Петра Дементьева, очень молодого, но бывалого солдата, командовавшего на фронте стрелковым отделением.

Долговязый, белобрысый, щедро осыпанный веснушками, Петр был боевым парнем и хорошим товарищем.

Моя ошибка

На ночь вокруг станицы выставлялись посты, а днем в окрестностях ее патрулировали наши конные разъезды.

С неделю было спокойно, а потом сразу же на территории станицы одно за другим произошло несколько событий: на хуторе Беспавловском бандиты зверски изрубили милиционера, на хуторе Черкасском обстреляли и тяжело ранили ревкомовского работника, а на Акуловке убили разведчика нашей дружины Александра Петрова.

Через неделю бандой было совершено еще несколько убийств. Особенно страшным было убийство комиссара ревкома хутора Краснянского — Челышева. Бандиты не только изрубили его шашками, но и надругались над трупом: распороли живот, выбросили внутренности, а вместо них насовали навозу.

Теперь налеты на хутора и убийства общественников бандиты совершали почти каждый день.

До нас доходили слухи, что банда Мотарыгина насчитывала уже более сотни всадников. Мы ждали нападения на станицу.

Однажды командованию нашей дружины потребовалось послать срочный пакет командиру Котовской дружины самообороны. Станица Котовская хотя и была расположена близко — за полтора часа можно съездить туда и обратно, — но ехать надо было мимо тех мест, где еще вчера видели бандитов.

Возможно, банды теперь уже там и не было, так как бандиты не любили долго задерживаться на одном месте, но охотников везти пакет в Котовскую не находилось даже и среди бывалых вояк. Перебрав многих, командир дружины Долгачев остановил свой выбор на мне: молодой паренек, не откажется…

В моем распоряжении был рыжий, лысолобый жеребчик-трехлеток, страшно пугливый, норовистый и капризный. Если заноровится, так ты его хоть убей, а он и с места не тронется. Или, наоборот, все губы ему в кровь издерешь удилами — не остановили.

Оседлал я этого жеребчика, взял пакет, вскочил в седло и помчался.

Дорога была пустынна. Бандиты всех распугали.

Озираясь по сторонам, я мчался, как ветер. За каждым придорожным кустом мне чудилась засада. Блеснувший на солнце стебель казался направленным на меня дулом, и я холодел от ожидания, что вот-вот прогрохочет выстрел.

Но прибыл я в Котовскую благополучно.

Передав пакет и ожидая ответа, я стал кормить жеребчика.

Меня окружили котовские дружинники.

Они смотрели на меня с почтительным вниманием, как на человека, много повидавшего на своем веку, обстрелянного, не раз рубившегося насмерть в жестоких схватках с бандитами.

— И не страшно тебе было ехать одному? — допрашивали они меня.

— А чего ж бояться-то? — снисходительно отвечал я.

— Ну как же, еще вчерась на хуторе Трухенском всю банду Мотарыгина видали…

— А вот! — воинственно показывал я им свою берданку.

— Ну, одного ты убьешь… А остальные тебя схватят, казнят.

— У меня жеребчик резвый, ускачу, — бахвалился я.

Получив ответ, я бодро вскочил на жеребчика, кивнул своим новым знакомым и помчался…

Вечерело. Солнце клонилось к закату.

На этот раз я ехал не спеша, часто переводя лошадь с рыси на шаг. Теперь я убедил себя, что мне, собственно, и бояться-то нечего. Если я до Котовской доехал благополучно и не встретил ни одного бандита, то за короткое время; что я пробыл в станице, они не могли здесь появиться. Они, видимо, перебрались в другие места.

Я уже мысленно представлял себе, как приеду в свою станицу, каким героем покажусь товарищам… Я размечтался об этом, представляя свой приезд в мельчайших деталях. Мне вспомнилось, как однажды Андрей Земцов пренебрежительно отозвался обо мне: «Трус!»

«Я тебе дам, трус, — мысленно восклицал я. — Сайты трус… Посмотрел бы я на тебя сейчас, если бы ты был на моем месте…»

Случайно бросив взгляд направо, я похолодел: с пригорка ко мне стремглав скакало с десяток всадников.

«Бандиты!» — пронеслось в голове. Сердце бешено застучало в моей груди. «Что делать?»

Решение созрело молниеносно… Я соскочил с жеребчика и припугнул его прикладом, чтоб он бежал куда угодно, сам же бросился в высокую рожь с намерением уползти в гущину и затаиться там до ночи, а в темноте пробраться в станицу к своим…

Но жеребчик никуда не побежал от меня. Как преданный слуга, словно прикованный, он остановился на том же месте, где я его оставил и, звеня удилами, стал мирно пощипывать хлебные колосья.

«Ну, все, — в отчаянии подумал я. — Жизнь моя кончилась».

Снова взглянув на пригорок, на котором показались бандиты, я обомлел от радости.

— Ну какой же я осел! — ликующе хлопнул я себя ладонью по лбу. Как я был счастлив, что жеребчик не убежал от меня.

— Кось!.. Кось!.. — позвал я, подходя к нему, чтобы сесть. Но коварный жеребчик решил, видимо, поиздеваться надо мной. Он отбежал на почтительное расстояние и снова принялся жевать вкусные колосья. Я подкрадывался к нему, чтобы схватить за повод, а жеребчик с насмешливым, как мне казалось, ржанием отбегал от меня…

Долго он так меня мучил. Потом ему, наверное, надоело играть со мной, а быть может, он сжалился над своим хозяином и поддался.

Я взобрался в седло и помчался в станицу, бросив последний взгляд на испугавших меня… овец. Да, да, именно овец. Это я в страхе своем принял мирно пасшихся на пригорке овец за бандитов… Было смешно и стыдно…

Вполне понятно, о своем промахе я не сказал никому, а то бы меня засмеяли.

Эвакуация

События разыгрывались с головокружительной быстротой. Белогвардейское командование во главе с атаманом Красновым разработало в Новочеркасске план разгрома красных.

Собрав в кулак значительные силы, белые повели наступление. На первых порах им удавалось на своем пути сокрушать слабые, разрозненные части Красной гвардии, разбросанные по станицам небольшие отряды красных партизан и совсем малочисленные дружины самообороны, вроде нашей.

В июле 1918 года волна отступающих красногвардейских частей и огромные обозы беженцев, главным образом из числа иногороднего населения Дона, хлынули через станицу.

Нашей дружине было приказано быть начеку. Никто не знал, куда мы должны идти: вперед или назад. Кто говорил, что мы должны отойти с отступающими частями в глубь России, а кто, наоборот, утверждал, что нас пошлют навстречу грозно двигавшемуся врагу. Оказалось, что нас действительно хотят отправить на передовую, но в последнюю минуту перед нашей отправкой нашлись умные люди, которые рассудили, что посылать на фронт горстку парней с прадедовскими примитивными берданками просто безумие, убийство, и нам было приказано эвакуироваться на разъезд Калмычек, находившийся в пятнадцати километрах к северу от станции.

Мы влились в общий, двигавшийся беспрерывной лентой, поток отступавших частей и беженцев.

От солнца, как о раскаленной печки, пышет жаром. Зной. Духота. Пыль хрустит на зубах. У каждой заплесневелой речушки, как мухи, роятся огромные толпы измученного народа; у каждого колодца — длиннющие очереди.

В сизых облаках горячей пыли, как в дыму, движутся по широкому шляху нескончаемой рекой военные обозы, пушки, санитарные двуколки, подводы с беженцами, толпы отступающих солдат.

К телегам привязаны еле двигающиеся от усталости коровы, молодые бычата. Их подгоняют хворостинами не менее уставшие, измученные длинным путем бабы, старики, старухи. Телеги завалены домашней рухлядью. Подушки, ведра, зеркала, перины, самовары, швейные машины, иконы — все свалена в одну кучу, а среди этого домашнего скарба, как пучки ковыля, торчат беловолосые головенки ребятишек.

Позади всех, поднимая клубы пыли, бредут наши дружинники, печально опустив головы. Каждый из них думает:

что-то его ждет там, впереди, в будущем?

Мы, конники, едем за своей пехотой. Мой жеребчик притих, присмирел, словно чувствуя, что не скоро ему доведется вернуться в прохладную конюшню…

На Калмычек мы прибыли к вечеру. Весь небольшой хутор, а также все пространство вокруг него были сплошь забиты народом, подводами, пушками, военными фургонами. Здесь образовалась такая толчея, словно это была многолюдная ярмарка.

Мы расположились на окраине хутора, около чьего-то огорода.

Наступила ночь. В лагере загорелись тысячи костров. Разбросав старенький плетень на огороде, мы зажгли костры и стали варить себе ужин, кипятить чай.

Ночь прошла спокойно. Часов в десять утра к нам пришел командир дружины в сопровождении двух щеголеватых казаков.

Нас выстроили во фронт.

— Товарищи, — обратился к нам командир дружины, — случилось такое дело, что мы навроде отступили из своих родных станиц и хуторов.

— Не навроде, а в самом деле отступили, — крикнул кто-то из нашей шеренги.

Послышался смех.

— Ну, и в самом деле отступили, — поправился командир. — Стало быть, теперь нам нужно вступать в ряды Красной Армии да честно отбивать свои дома и семьи от белых. Сейчас здесь формируются два казачьих полка: первый советский кавалерийский казачий полк под командованием нашего хоперского казака, фронтовика и большевика Оленева и второй советский пехотный казачий полк под командованием тоже нашего казака-хоперца Потапова. Вот сейчас со мной пришли сюда представители этих полков. Скажите им, кто в какой полк пожелает вступить, они вас запишут…

— Товарищи, — крикнул один из пришедших казаков, — кто хочет вступить в первый советский конный полк, подходи ко мне, записывайся!

— А ко мне подходи, кто в пехоту желает! — объявил второй.

Мы стали совещаться между собой, куда лучше вступить. Дружина разделилась пополам. Половина пожелала идти в кавалерию, а другая — в пехоту.

Мы с Алексеем Марушкиным записались в пехотный полк.

Нам объявили, что дня два-три мы должны питаться своими харчами, а потом, как только будут окончательно сформированы полки, нас зачислят на продуктовое довольствие.

Легко сказать, питаться своими харчами. Деньги-то у нас хотя

и были, но а где что купить? Тут, на небольшом разъезде, собралось много голодного народа, и у местных жителей раскупили все, что можно было.

Тогда наш командир решил послать на ближайший хутор Бугровский несколько дружинников, чтобы они собрали там у жителей печеный хлеб и реквизировали бы у какого-нибудь хуторского богатея пару быков на нужды дружины. Мысль эта всем нам понравилась. Живо запрягли пару добрых лошадей в телегу, в нее уселись четыре дружинника. Я и наш хуторской парень лет двадцати, Андрей Земцов, были назначены сопровождать их в качестве верховых разведчиков.

Выехали мы из Калмычка в десятом часу утра. До Бугровского было километров семь-восемь. Обосновался он вблизи Хопра, между станицей и разъездом Калмычек. Следовательно, нам надо было возвращаться назад.

Недалеко от Бугровского паслось коровье стадо. Мы подъехали к пастуху.

— Чье это стадо? — спросили мы у него.

— А чье же оно может быть? — ответил пастух, посконный старичишка в лаптях. — Наше.

Пожилой казак в артиллерийской фуражке, наш дружинник, соскочил с повозки.

— Вот оно-то нам и надо, — сказал он. — Дед, отбери-ка нам пару быков самого что ни на есть богатого вашего казака…

— Это для каких же таких надобностев? — удивленно посмотрел на него пастух.

— Зараз сналыгаем их да поведем на Калмычек.

— Ишь, храбрый, — скривился старик в усмешке. — Ерой, погляжу я на тебя… Укажи ему пару быков… А кто за них в ответе будет, а?.. Ты-то возьмешь бычков да фьють!.. И улетел, а мне за них голову скрутят… Накось вот, выкуси! — показал старик ошеломленному артиллеристу фигу.

Это все было так неожиданно, и старичишка настолько был смешон, что мы все расхохотались.

— Ну-ну, дед, — сконфуженно сказал артиллерист, повышая голос, — ты не дюже, а то…

— Чего — а то? — воинственно задрав бороденку, взвизгнул старик. — Ну, чего?.. Пристрелишь, что ли?.. Так стреляй! — выпятил он свою тщедушную грудь с нательным крестом. — Стреляй!

Сценка была забавная, но любоваться ею было некогда.

Оставив у стада своих дружинников договариваться с пастухом, мы направились в хутор. Как мы и предполагали, в хуторе белые пока еще не появлялись. Но ждать их здесь можно

было каждую минуту.

Казак-артиллерист сказал мне и Андрею Земцову:

— Ну, вы, хлопцы, поезжайте на тот конец хутора, понаблюдайте там за дорогой из станицы… Ежели покажутся белые, выстрелите два раза и скачите сюда. Понятно?

— Попятно, — ответил я.

— Ну, езжайте с богом. А мы зараз пойдем по дворам собирать хлеб…

— А до каких пор нам там наблюдать? — спросил я. — Вы можете собрать хлеб и уехать, не сказав нам.

— Нет, мы вам дадим знать, — возразил артиллерист. — Как соберем хлеб, так два раза ударим в колокол на колокольне. Как услышите звон, так, стало быть, возвертайтесь… Знайте, что мы поехали… Тогда догоняйте…

Хутор словно вымер. На улицах — ни души. Люди где-то прятались.

Выехав на окраину хутора, мы с Андреем поднялись на высокий сторожевой курган, откуда перед нашим взором раскинулась великолепная панорама долины с изумрудным лугом, займищами и голубыми озерами, с роящейся над ними птицей.

Темной лентой вилась среди луга дорога из станицы. За этой-то дорогой нам и нужно было следить. Но она, как и все вокруг, была сейчас пустынна.

Наши лошади не стояли на месте. Их больно жалили оводы. Жеребчик мой брыкался, мотал головой, отхлестывался от мух хвостом. Но мы с Андреем, наблюдая за дорогой, терпеливо ждали сигнала с колокольни.

— А может, подъедем вот к этому дому? — нерешительно взглянул на меня Андрей. — Попросим молока да хлеба…

— Поедем, — сказал я. — Какие там, к черту, белые, они и не подумают сюда ехать…

Мы галопом направились к крайнему куреню, крытому железом. Привязав лошадей к палисаднику, повесив свои берданки на луки седел, вошли в дом.

— Здравствуйте, хозяева! — весело сказал Андрей, оглядывая кухню. У стола сидела пожилая казачка, вязала чулок.

— Здравствуешь, ежели правду гутаришь, — насмешливо взглянула женщина на маленького невзрачного моего товарища. Потом перевела взгляд на меня: — Что скажете хорошего?

— Да вот, хозяюшка, что скажу? — залебезил перед ней Андрей. — Не можешь ли ты продать нам по кружке молока да по куску хлеба, а?..

— Продать? — усмехнулась казачка. — Продавать не буду, а

так могу дать.

— А нам все едино, — смиренно согласился Андрей. — Не хошь продавать, угощай бесплатно… А вообще, могем уплатить.

— Не надо ничего, — отмахнулась женщина. — Все равно молоко-то пропадает зря… Свиньям выливаем… Проходите, молодые люди, садитесь… Посидите тут, а я зараз в погреб слазию, молочка холодного достану.

Хозяйка вышла из комнаты и где-то-запропастилась.

— Как там наши лошади? — охваченный каким-то смутным беспокойством, сказал я и подошел к окну. Лошади стояли неспокойно, лягались, бились, отмахивались хвостами от больших зеленых мух… У ворот с горшком в руках стояла наша хозяйка и тихо разговаривала с каким-то парнем в голубой рубашке, кивая то на наших лошадей, то на свой дом… Видимо, она рассказывала парню о нас с Андреем.

— Андрюша, — сказал я Земцову. — Пойди принеси ружья.

— Зачем?

— Надо.

— Думаешь, кто-нибудь возьмет?

— Да. Там вот какой-то парень вертится у ворот.

Андрей встал и пошел к дверям. У порога столкнулся с хозяйкой;

— Вот вам холодненького, — сказала казачка, ставя на стол горшок с молоком. — Прям со льда. Угощайтесь!.. Вот стаканы!.. А вот хлеб, — положила она на стол румяный пшеничный каравай.

Андрей внес в комнату берданки и поставил их в углу у входа.

— Ешьте на здоровье!.. — сказала хозяйка, метнув взгляд на улицу.

От меня не ускользнул этот взгляд. Беспокойство мое усилилось. Но молоко настолько было соблазнительное, что я решил выпить кружку.

И действительно молоко было чудесное: холодное, густое и вкусное, как сливки.

— И какие же вы молоденькие-то, — глядя на нас, жалостливо причитала казачка. — Господи, боже мой, и зачем же вас, таких молокососеньких, воевать-то забрали?

— Нас никто не забирал, — сказал я. — Мы сами добровольно пошли.

— Что тебе надоело жить, что ли? — закачала головой хозяйка. — Сколько тебе годов-то?

— Семнадцать.

— Ой, родимец ты мой! — всплеснула руками она. — Дите!..

Самое настоящее дите… Материно молоко еще на губах не обсохло. Тоже мне, вояка…

Стоя около нас, хозяйка все время поглядывала на улицу. Не допив молока, я встал и поблагодарил.

— Что ж так мало-то? — удивилась хозяйка. — Допивали б… Все едино некуда девать.

— Спасибо! — сказал я. — Пойдем, Андрей.

Волнение мое росло.

Я вышел на улицу и, вскочив на своего жеребчика, помчался к кургану. Андрей скакал за мной…

Погоня

Мы въехали на курган.

— Что-то долго не звонят с колокольни, — сказал Андрей.

— Может, уже звонили, — ответил я, — да мы не слышали. Проугощались у казачки.

— Мы б и в хате услышали, ежели б звонили.

Взглянув на дорогу, за которой нам нужно было наблюдать, я вскрикнул:

— Смотри!

Пустынная до этого дорога из станицы сейчас была заполнена всадниками. Их было много, может быть, целый полк, а то и больше. Дозорные уже подъезжали к роще, разросшейся у хутора. Навстречу им бежал какой-то человек в голубой рубашке и размахивал руками. Это был, наверное, тот парень, с которым разговаривала наша хозяйка.

Если б мы задержались у «гостеприимной» казачки еще пять минут, то белые захватили б нас в хате.

Выстрелив по разу из берданок вверх, как и было условлено с нашими дружинниками, собиравшими хлеб в хуторе, давая этим знать о надвигающейся опасности, мы, предварительно снова зарядив ружья, помчались к ним. Орава свирепых собак с хриплым лаем сопровождала нас по улице.

Но дружинников уже не оказалось там, где мы надеялись их встретить. Мы растерялись, не зная, что делать — искать их по хутору или уезжать отсюда, пока еще белые не подоспели. Появления же их можно было ждать каждую минуту.

— Дяденька! — подбежал к нам мальчуган лет десяти, белоголовый, с веснушками на лице. — Я вас жду… караулю…

— Чего ты нас ждешь? — спросил я.

— Да жду вот сказать, что те дяди, что собирали тут у нас хлеб, вот уже с полчаса, а може, и целый час, как уехали… Я им помогал…

— А они звонили на колокольне?

— Нет, — замотал головой мальчишка. — Когда они собрали целый воз хлеба, то велели мне залезть на колокольню и два раза ударить в большой колокол… Я было полез звонить, да меня сторож увидал, с палкой погнался за мной, не пустил.

Мы с Андреем переглянулись: вот беспечность-то какая. Такое отношение наших товарищей к нам было равно предательству. Но для рассуждений мы уже не имели времени. Надо было уезжать, а то белогвардейцы могли с минуты на минуту появиться здесь.

Дав лошадям шенкеля, мы вихрем вылетели из хутора.

Проехав с километр, я вдруг заметил, что мой жеребчик стал припадать на правую ногу.

— Андрей! — крикнул я Земцову, скакавшему впереди.

— Чего ты? — придержал он свою лошадь.

— Жеребец мой захромал.

Земцов остановился.

— Посмотри, может, камешек под подкову забился, — сказал он.

Я соскочил с лошади и осмотрел ее больную ногу.

В одном месте из-под подковы просачивалась кровь.

Видимо, подковочный гвоздь вонзился в ногу лошади и причинял ей боль. Надо сорвать подкову. Но разве я мог это сделать здесь, в степи, безо всякого инструмента? Я был бессилен чем-либо помочь своей лошади. Между тем надо было ехать.

— Садись, Саша, — сказал Андрей, — поедем потихоньку.

Я вскочил в седло, и, мы мелкой рысцой двинулись вперед. Жеребец припадал на ногу все сильней.

— Ничего, — успокаивал Андрей, — потихоньку доедем. Нам не к спеху.

Мы уже отъехали от хутора версты две, — когда с окраины его вдруг прогрохотал оружейный залп. Пули роем просвистели над нами.

Андрей, оглянувшись, хлестнул коня плетью, рванулся вперед. Я поскакал вслед за ним. Но жеребец мой не мог быстро бежать, и я заметно стал отставать от Земцова.

Некоторое время над головой еще посвистывали пули, а потом затихло. Я оглянулся. Сердце мое взволнованно забилось: за мной мчалось с десяток белогвардейцев. Я подталкивал пятками свою ковыляющую лошадь — она, бедная, покрываясь мылом, напрягала последние свои силы… Казалось, вот-вот она остановится.

— Андрей! — закричал я. — Не оставляй меня!..

Не поняв, о чем я кричу, Андрей на мгновение приостановил свою лошадь.

— Ты чего? — обернулся он ко мне.

— Не оставляй меня… Вон, видишь, белые гонятся…

Оглянувшись, Андрей, ни слова не говоря, огрел свою лошадь плетью и понесся в намет…

— Андрей!..

Но он даже и не оглянулся.

Сильно припадая на больную ногу, жеребец мой хотя и медленно, но бежал…

Земцов ускакал от меня уже далеко. Я видел, как он нагнал

какую-то подводу.

За эти минуты я пережил много, очень много. Я не надеялся на моей хромоногой лошади ускакать от преследователей. Я умолял жеребца ускорить бег. И милый жеребчик словно понимал мою просьбу, понимал, что я от него хотел. Покрываясь пеной, он бежал как мог…

Оглянувшись на своих преследователей еще раз, я, к своей радости, убедился, что почти все они повернули назад. Отстали! Видно, белогвардейцы побоялись заставы красных. Но один из преследователей, увлекшись погоней, упрямо гнался и гнался за мной. Оглядываясь, я видел, что расстояние между ним и мной резко сокращается. Сейчас нас разделяло не более двухсот метров. Еще одно усилие, еще несколько минут — и он меня настигнет…

Я подумал: «Может быть, мне соскочить с коня, залечь под какой-нибудь кочкой и обстрелять белогвардейца из ружья?.. Но что я могу, сделать со своей однозарядной берданкой?.. Один раз, я смогу выстрелить в своего преследователя. Если промахнусь, то второй раз зарядить ружье уже не успею, и он зарубит меня».

Нет, это не годится…

Я решил скакать на своем жеребчике до тех пор, пока он еще может скакать. А когда остановится, тогда другое дело…

А преследователь между тем продолжал мчаться за мной. Теперь расстояние между нами сократилось уже, наверное, метров до ста… Я даже слышу, как он что-то кричит мне. Я оглядываюсь: сверкая обнаженной шашкой, белогвардеец машет мне ею, приказывая остановиться. Я смахиваю из-за спины берданку и, не останавливаясь, на скаку стреляю в него.

Слышится матерная ругань. Белогвардеец никак не хочет отстать от меня. Никак!.. Вот он уже совсем близко. Я холодею от страха. Я не могу даже обороняться. В моей берданке нет патрона.

Но я вижу впереди, на дороге, стоит телега, а около нее наши дружинники с ружьями. Тут же и Андрей Земцов размахивает берданкой.

Я с облегчением вздыхаю. И мой вспаренный, побелевший от пены жеребчик, как будто почувствовав, что он свое дело сделал, звонко, радостно ржет. Я оглядываюсь: преследователь мой скачет назад.

Дружинники послали ему вдогонку три пули.

— На этот раз ты, паренек, счастливо отделался, — сказал мне артиллерист.

— Я-то отделался, — ответил я со злостью, — а вам бы не следовало бросать нас на произвол судьбы… Почему не позвонили в колокол?.

— Ну, что ж, паренек, поделаешь, — смущенно развел руками артиллерист. — Понадеялись на мальчишку… Извиняй, брат, бывает…

В окопах

Дня три наша дружина жила припеваючи: был у нас хлеб, было и мясо. А потом сформировались полки, нас разбили по взводам и зачислили на продуктовое и вещевое довольствие.

Как-то вскоре после этого нас в ночь повели куда-то. Куда идем, никто из нас не знал.

Растянувшись по дороге, мы старались идти бесшумно. При лунном свете мы походили на ночных призраков, совершающих свой таинственный поход.

Но я угадывал дорогу: еще совсем недавно, несколько дней назад, по ней ездил на хутор Бугровский. Значит, думал я, мы займем позицию где-то здесь, недалеко.

И не ошибся. В полночь мы подошли к хутору Бугровскому и, подавшись от него на километр влево, рассыпались в цепь — метра на два-три друг от друга.

Нам приказали рыть окопы. А мы не знали даже, какими они должны быть, эти окопы, и вырыли себе такие ямы, что они походили на огромные погреба.

Расхаживая по линии «окопов», командир роты Порасюк, бывший прапорщик, портной из станицы Котовской, беззлобно ругал нас:

— Ну на кой черт вы такие погреба порыли?.. Что в них слонов, что ли, засаливать?

Два дня мы осваивались, обживались на своих позициях, привыкали к обстановке.

Погода стояла чудесная, ночи бывали дивные. Нам, молодежи, такая привольная жизнь на свежем воздухе была по душе. Лунными светлыми ночами мы собирались у чьего-нибудь окопа и под аккомпанемент гармонии, на которой играл Алексей Марушкин, пели песни.

Было полное затишье. Белые не показывались. Мы бездельничали, много спали, балагурили, играли в чехарду, бились в карты.

В основном состав нашей роты был хороший — хлеборобы-казаки и иногородние: жестянщики, портные, сапожники. Все труженики, народ честный, степенный. Но в семье не без урода. Были среди нас и искатели приключений, хулиганы, насильники. Хоть и мало, но все-таки были. Они-то и марали нашу честь красных воинов. Они не брезговали заглянуть в сундук к казачке, утащить что-нибудь, могли залезть в погреб или кладовую, могли и надсмеяться над какой-нибудь девушкой или молодой женщиной.

В нашей роте было несколько таких дебоширов во главе с заводилами Буздалиным, Тарарухиным и Гробовым. Все они были молодые парни лет по восемнадцати.

Нередко, истомившись от безделья, эти отпетые головушки подбирали себе соответствующую компанию и отправлялись через реку на соседний хутор Черкасский в «разведку», как они утверждали.

Там они пропадали весь день. Возвращались с «разведки» они уже к вечеру, веселые, возбужденные, с ведрами, доверху наполненными свежими ароматными кусками сот, и мешками яблок.

Начинался пир. К моему удивлению, в нем принимали участие и некоторые из тех, кто неодобрительно относился к поведению Буздалина и его товарищей.

Командир роты пробовал увещевать мародеров. Но это ни к чему не приводило. И так пока все безнаказанно сходило им.

Однажды ранним утром со стороны станицы заухали пушки. Снаряды взрывались между нашими окопами.

Мы, как сурки, забились в свои ямы. Белогвардейцы обстреливали нас целый день. К вечеру канонада затихла. Большинство из нас были еще не обстреляны, а поэтому артиллерийская бомбардировка действовала угнетающе…

Вот с этого-то дня и началась беспокойная жизнь. Теперь почти ежедневно белые обстреливали из пушек наши окопы. На гребне окопалась белогвардейская пехота, поливавшая нас ружейным и пулеметным свинцовым дождем.

Наши пушки тоже обстреливали их.

* * *

Как-то командир роты послал нас, пятерых красноармейцев — меня, братьев Марушкиных и Андрея Земцова под начальством отделенного командира, нашего же хуторянина Павла Разливаева, в разведку на вторую половину хутора Бугровского, занятого белогвардейцами.

Нам было приказано выяснить, есть ли там еще белые или ушли. В последнее время они что-то не подавали никаких признаков жизни.

Разливаев участвовал в первой мировой войне. Был он маленького роста, довольно-таки тщедушного телосложения, но верткий и ловкий и производил впечатление отважного, решительного человека.

Поэтому в разведку мы с ним пошли охотно. Шли налегке.

Кроме маленьких, точно игрушечных, японских карабинов да десятка по два патронов, в карманах у нас ничего не было.

Карабины наши были наготове, пальцы лежали на спусковых крючках. В любое мгновение мы могли открыть огонь.

Все шло благополучно. Продвигались мы вперед успешно. Белых, видимо, в хуторе не было.

В этот предвечерний час вся природа, казалось, истомленная знойным днем, застыла в задумчивом оцепенении, словно к чему-то прислушиваясь. Раздувшимся раскаленным шаром солнце медленно клонилось к закату. Белые, воздушные облака, подернутые розоватым перламутром, не спеша проплывали по ясному, голубому небу. Через провалы облаков косо спадали на землю светлые полосы нежарких солнечных лучей, зажигая багрянцем ярко сверкающие оконца казачьих куреней.

Но где же люди? Где хуторяне? Словно по хутору пробежал смерч и смыл с лица земли все живое…

Задачу свою мы выполнили, надо возвращаться в роту, чтобы доложить ротному командиру о результатах разведки. Вдруг позади нас, как гром, грохнул залп. Над головой взвыли пули.

Все попадали. Залегши за случайными укрытиями, какие только могли оказаться на улице, — камнями, бревнами и канавками, — мы энергично отстреливались от окружившего нас врага.

— Андрей, — тихо сказал Разливаев, — пробирайся вот в тот сад и обстреляй оттуда беляков, — указал он на каменную ограду в противоположной стороне от белых.

Земцов пополз. Мы дружным огнем прикрывали его отход. Устроившись за оградой, он стал оттуда обстреливать противника.

— Алексей-младший, — снова сказал Разливаев, — твоя очередь. Ползи к Земцову.

Потом к ним присоединился и Алексей-старший.

— Теперь давай ты, Сашка, — сказал мне Разливаев.

Я тоже стал пробираться между камнями к ограде. Вдруг слышу тихий стон Разливаева. Я оглянулся: Разливаев лежал, уткнувшись лицом в землю. Я подполз к нему. Он был недвижим. Может быть, он потерял сознание от ранения, а может быть, его убили.

— Александр, что с ним? — спросил Алексей-старший.

— А я не пойму, — ответил я.

— Тащи его сюда!

Хорошо сказать: тащи. Как потащишь под огнем огрузневшее тело Разливаева? Но думать некогда. Я взвалил обмякшее тело своего командира на спину и пополз. Ползти с таким грузом было

трудно. А тут еще мешал карабин. Больно давила шею винтовка командира. Он крепко сжимал ее в руках и не выпускал.

Наконец, обливаясь потом, я все-таки подполз к ограде. Мгновение отдыхал, размышляя, что делать. Разливаев зашевелился на моей спине.

— Павел Романович, — вскричал я обрадованно, — жив?

Разливаев не ответил. Его подхватили братья Марушкины и понесли садами и огородами на ту половину хутора, которую занимала наша рота…

* * *

Как-то ночью мы получили приказ быть готовыми к походу. Мы скатали шинели — научили нас этому искусству старые солдаты, надели на спину «сидоры» — так прозвали солдаты вещевые мешки, прицепили к поясу котелки, лопаточки и другие необходимые солдатские принадлежности. Вылезли из окопов.

В полночь появилась смена. Это были красноармейцы 4-го Московского пролетарского полка, целиком составленного из рабочих-москвичей.

Ко мне подвели низенького молодого солдата, так же тяжело навьюченного шинелью, «сидором», лопаткой, котелком, как и я.

— Вот тут, Бармин, и устраивайся, — сказал ему командир и повел солдат дальше.

— Здравствуйте! — тихо поздоровался со мной москвич.

— Здравствуйте! — ответил я.

— Ну, как ваш окопчик-то, ничего? — спросил солдат. — Жить можно в нем?

— Я вот жил больше месяца, — сказал я. — Окоп хороший, крепкий, надежный.

— Ну, вот и хорошо. Сменяю вас… Пойдете отдыхать.

— Желаю вам успеха, — сказал я.

— Спасибо. Папиросочку не хотите московскую?

— Пожалуй, если можно. Только надо в окопе покурить. А то белые заметят, стрелять будут.

— Что же, давайте в окопе покурим, — согласился москвич.

Мы спрыгнули в яму, закурили, разговорились. Солдата звали Николаем Барминым. Был он рабочим из трамвайного депо.

— Александр, пошли! — позвал меня Алексей Марушкин.

Я попрощался с солдатом.

— Желаю хорошо отдохнуть, — напутствовал он меня. — Может, еще доведется где встретиться.

— Все возможно, — согласился я. — До свиданья.

На отдыхе

На отдых мы прибыли в большое и богатое село Кочерга, расположенное вблизи города Новохоперска.

Квартирьер поместил меня и Андрея Земцова на постой к крестьянину. Наш хозяин, бородатый крепыш лет пятидесяти, не особенно охотно нас принял.

— Ну что ж, ребята, проходите, — сказал он, кисло улыбаясь, — разоблачайтесь, умывайтесь…

— Как вас зовут, хозяин? — спросил его Андрей.

— Зовут меня не мудрено, — отозвался крестьянин. — Никита Спиридоныч.

— Ты, Спиридоныч, не серчай, — сказал ему Андрей. — Мы не виноваты, что нас поставили к тебе… Помехой тебе не будем.

— Ладно уж, — махнул рукой хозяин. — Куда ж денешься… Только вот девок моих не портьте.

— А у тебя и девки есть? — оживился Андрей.

— Ишь, черт какой, — ухмыльнулся Спиридоныч. — Сразу навострился. Гляди, друг, — погрозил он Андрею, — за девок, ежели чуть чего, шею намылю… Ты не гляди, что я мужик. Я ведь тоже солдат. Три года на фронте супротив германца был… Три раза ранен…

У хозяина нашего были две хорошенькие дочки, семнадцати и восемнадцати лет, веселые девушки Варя и Надя.

Я и Андрей сразу же с ними подружились. Спиридоныч первое время хмурился, глядя, как мы беседовали с его дочками, а потом, видя, что мы парни приличные, не хулиганы и вольностей себе не позволяем, успокоился.

Алексей Марушкин со своим братом жили рядом. Они часто приходили к нам с гармошкой. Мы пели, танцевали.

Иногда в нашем пении участвовал и сам хозяин с женой.

Как-то в один из тихих вечеров мы сидели вчетвером — я, Андрей Земцов и девушки-сестры — у ворот на лавочке. Закатное солнце, разбрасывая вокруг нас косые вялые лучи, уже не грело. Сумеречные синие тени выползали из-под прохладных углов и закоулков. Андрей балагурил, рассказывал нам разные смешные истории. Варя и Надя смеялись.

Широкая, прямая, как полет стрелы, улица села была заполнена народом. Среди наших красноармейцев белели платочки и кофточки девушек, молодых баб. Слышались веселые возгласы, смех, песни, взвизгивание гармошек.

— Есть у нас на хуторе одна такая семья, казак с казачкой, — рассказывал Андрей. — Люди уже пожилые… Сын их, Иван,

служил на военной службе в полку. Однова прислал он родителям письмо, а прочесть-то-его в семье никто не может, потому как все неграмотные. «Нехай покель полежит за божничкой, — сказал старик. — Могет быть, зайдет какой грамотей, тогда и прочтет…» Случилось так, что через пару дней к ним зашел странник-монах, весь оборванный, грязный. А голосина у него, как у доброго жеребца. Ежели что скажет, так словно гром загремит. Хозяин обрадовался монаху. «Прочти, говорит, божий человек, что это сынок-то нам пишет…» Монах откашлялся да как заорет, словно в трубу загудел: «Дорогие батенька и маменька! Шлю вам низкий поклон». Поклоны посыпались всем: и братцам, и сестрицам, и сватам, и свахам… Под конец письма монах как рявкнет: «А еще прошу батеньку и мамунюшку прислать мне трояк на сапоги…» «Вишь ты, сукин сын, — говорит родитель. — Просит трояк, а сам так непочтительно разговаривает с родителями. Нет!.. Не пошлем ему мы трояк».

И не послал. Через месяц заходит к ним сухонькая, маленькая монашка. Голосок у нее нежный, тоненький. Покормили ее, напоили, а потом старик вспомнил о письме служивого. «Почитай-ка, родимая, еще разок что пишет сынок, а то уж забыл».

Монашка тоненьким голоском прочитала письмо, а под конец особенно нежно закончила: «А еще прошу батеньку и мамунюшку прислать мне трояк на сапоги». Старик, довольный, посмотрел на всех и сказал: «Ну, это другое дело. Помякшил, сукин сын, заговорил ласковым голосом, а то ж ведь орал, как кобель цепной… Давай, такое дело, старуха, пошлем ему пятерку…»

Мы дружно засмеялись.

…Однажды мы сидели на улице и пели песни. Мимо нас, пошатываясь, прошли пьяные Буздалин, Тарарухин, Гробов со своими собутыльниками. Они громко сквернословили, хохотали. Поравнявшись с нами, Тарарухин под смех товарищей сказал по нашему адресу скабрезность.

— Хулиганы! — бросил им вслед Андрей.

Тарарухин перекосился от ярости, обернулся к нам, показал кулак.

— Глядите, гады, а то я вам покажу хулиганов!

Мы промолчали.

Андрей стал было что-то рассказывать девушкам, но вдруг на улице, там, где только что показалась какая-то подвода, поднялся шум. К подводе со всех сторон подбежали красноармейцы, что-то крича и размахивал руками.

Андрей сорвался со скамейки и помчался к шумевшей толпе.

Скоро он вернулся взволнованный и возмущенный.

— А им, сволочам, все сходит, — выкрикнул он. — Я бы их всех пострелял.

— А в чем дело? — спросил я.

— Через этих хулиганов проклятых сейчас зря погиб невинный человек.

— Ой, боже мой! — бледнея, как полотно, вскрикнула Надя. — Что же там было, а?

— Вон видите, — махнул рукой Андрей, — стоит подвода…

— Ну?

— На ней ехали двое служащих Новохоперского городского Совета да кучер. Ездили куда-то по делам… Возвращались обратно, а навстречу им наши хулиганы, прут прямо на лошадей, не сворачивают с дороги… Кучер выругал их… Тарарухин дал по морде кучеру. Может, на этом бы все и закончилось, но… — рассказывал Андрей, — мимо шел какой-то красноармеец из нашего батальона. Глянул он на одного из сидевших в телеге и узнал его. Это был офицер их полка еще на германском фронте. «Офицер!» — крикнул красноармеец. Выкрика было достаточно для того, чтобы Гробов схватил офицера за шиворот и стащил с телеги…

Несчастного окружили хулиганы и с криками; «Шпион! Беляк!.. Офицер!..» — начали избивать.

Командир батальона пытался было унять солдат и спасти невинного человека, но это было невозможно.

— А потом оказалось, — закончил Андрей, — что убитый хоть и вправду был раньше офицером, но из большевиков… В общем, советский человек.

Самосуд произвел на всех удручающее впечатление.

На станции Новохоперская

На следующий день после убийства работника Новохоперского горсовета мы собрались у своего хуторянина, Василия Борисовича Долгачева, брата бывшего командира нашей дружины. Это был казак лег сорока пяти, лысый, с лохматыми бровями, нависшими над серыми глазами.

— Товарищи, — взволнованно сказал Василий Борисович, — все мы видели, что вчера произошло. Какие-то ничтожные поганцы, хулиганье проклятое, убили невинного человека… А за что?.. За то, что он когда-то служил офицером… А человек этот советский работник, да к тому же и коммунист… Куда же это такое самоуправство годится?.. Они нас позорят… Разве ж мы за тем пошли в Красную Армию, чтобы убивать невинных людей?.. Али за тем, чтобы разорять мирных жителей, залезать к ним в сундуки, обламывать соты в ульях?.. Нет, братцы мои, я пошел в Красную Армию за тем, чтобы добиться счастья и правды народу трудовому, а потому не хочу, чтобы на меня указывали пальцем: вот, мол, пошел грабитель!.. Вот, мол, пошел убийца невинных людей! Надо нам подумать о том, как избавиться от этой нечисти, чтоб не позорили нас.

Все мы с возмущением говорили о хулиганах, компрометирующих честных красноармейцев перед населением.

Выслушав нас, Василий Борисович сказал:

— Надо их изгнать, чтобы они и воздух-то не портили своим присутствием… Я так думаю, что надобно нам зараз составить заявление на имя командира полка, товарища Потапова… Не желаем, мол, служить вместе с бандюгами — и баста!.. Не желаем, мол, чтобы они чернили наше красноармейское звание. Ежели он не выгонит этих бандюг из нашего полка, то мы, как есть добровольцы, уйдем в другой полк.

— Правильно! — послышались голоса присутствующих. — Правильно!.. Написать ему заявление.

Меня, как наиболее грамотного из всех находившихся в горнице красноармейцев, усадили за стол писать заявление. Нашлась и бумага для этого, нашлись и чернила с ручкой.

Я писал под диктовку всех, кто был в комнате. Писал долго, целых полдня. Каждый хотел, чтобы его слово или фраза были вставлены в заявление. А поэтому споров было немало. Я выслушивал каждого, но писал по-своему, как, мне думалось, будет лучше.

Когда я наконец написал заявление и прочитал его, всем оно понравилось, и каждый думал, вероятно, что я написал именно

так, как он диктовал мне.

Мы все подписали его и передали Василию Борисовичу для вручения командиру полка. Но Долгачев не успел отдать ему наше заявление.

На следующее утро горнист сыграл тревогу. На улице выстроились красноармейцы. Мы с Андреем, вскочив с постели, торопливо оделись и навьючили на себя все наши громоздкие солдатские принадлежности.

Девушки, дочки хозяина, смотрели на нас печальными глазами.

На прощание мы с Варей даже расцеловались в сенях.

— Не забывайте меня, Саша, — прошептала она. — Возьмите вот на память, — сунула она мне в руку маленький кружевной платочек.

Мы отправились на станцию, находившуюся километрах в трех от села.

Дорогой нам стало известно, почему нас так внезапно потребовали. Оказывается, тот московский рабочий полк, который сменил нас на Буграх, пошел в наступление на станицу. Совсем недалеко от станицы, на хуторе Фирсовском, между москвичами и белогвардейцами произошел бой. Москвичи отступили.

Уходя из хутора, они захватили с собой человек двадцать старых казаков-заложников.

И надо же было так случиться, что в то время, когда мы подходили к станции, на платформе ее, ожидая поезда, сидели эти несчастные люди.

Батальон наш встретили с музыкой рабочие и служащие новохоперских предприятий. Они решили проводить нас на фронт.

Мужчины и женщины дружески обнимали нас, жали нам руки, совали цветы, папиросы, конфеты, печенье. Они желали нам успехов и победы над врагом.

На платформе гуляла нарядная публика и красноармейцы. Все было по-праздничному. Веселый говорок плескался повсюду. Сверкая на солнце медью начищенных труб, играл марши духовой оркестр…

И вдруг, заглушая все — и говор толпы, и музыку, — пронесся душераздирающий вопль, полный животного, смертельного ужаса. Все сразу же затихло. В наступившей тишине послышались крики о помощи, ругань. Толпа в страхе бросилась в стороны.

Я со своими товарищами стоял на краю платформы и из-за толкавшегося народа не мог видеть того, что происходило в

центре, у здания вокзала, откуда слышались такие жуткие вопли и ругань.

С искаженными от ужаса лицами, с выпученными глазами мимо нас бежали обезумевшие женщины, мужчины, дети.

— Что-о?.. Что случилось там? — спрашивали мы у них.

Что-то крича, они указывали назад.

Наконец, когда толпа на платформе поредела, нашим глазам представилась страшная картина: на заплеванных досках платформы лежали окровавленные трупы казаков-заложников.

Сразу мы даже не поняли, кто это расправлялся со стариками. А потом, когда мне на глаза попалась фигура Тарарухина, я все понял…

Прислонившись к кирпичной стене вокзала, стоял бледный, как мел, высокий статный старик с большой белой апостольской бородой. Он, глядя на небо, истово крестился. На непокрытой голове шевелились от ветра белые волосы.

Первое время убийцы не замечали его. А потом Тарарухин наткнулся на старика.

— Что, гад старый, прижался тут? — Тарарухин с силой пырнул в него штыком. Старик замертво повалился на платформу.

Я убежал и не видел, как наши солдаты обезоруживали бандитов, как убирали трупы с платформы и засыпали кровавые пятна на досках желтым песком.

Когда я вернулся, было необычайно тихо. Мои товарищи, молчаливые и угрюмые, усаживались в вагоны. Оркестр снова играл что-то бравурное. Но на душе было невесело…

В кольце врага

Нас привезли на Половцев разъезд уже ночью. Высадившись из вагонов, мы долго топтались около них без дела. О нас, казалось, забыли. И только под утро наконец была подана команда: «Становись!»

Мы выстроились вдоль железнодорожного пути в две шеренги, пересчитались и зашагали в беспросветную тьму ночи.

На востоке бледнело небо. Чувствовался близкий рассвет. Скоро по небу, как полая вода, разлилась пышная, сочная заря. В зареве ее купалось огромное багровое солнце. Оно поднималось все выше и выше, и весь невидимый степной мир на все голоса ликующе приветствовал его появление.

Под собачий яростный лай мы вошли в хутор Фирсовский. Квартирьеры быстро расставили нас на постой по казачьим куреням. Мы, хуторяне, — я, братья Марушкины, Петр Дементьев, Андрей Земцов и уже пожилой казак Мотарыгин — попали вместе в большой, богатый дом хуторского атамана.

Щеголеватый дом, ошелеванный досками и затейливо раскрашенный, стоял в центре хутора, на углу двух скрещивающихся улиц.

В доме оказались лишь две женщины — старуха да ее молодая невестка, красивая казачка.

Напуганные нашим вторжением в дом, женщины даже вздрагивали от страха.

— Что дрожите, ай лихорадка вас треплет? — засмеялся Земцов.

— Да нет, мы ничего, — пролепетала старуха.

— Не бойтесь нас, — сказал Мотарыгин. — Мы не звери. Такие же казаки, как и вы… Плохого вам ничего не сделаем.

— Неужто казаки? — просветлев, ободрилась старуха.

— Самые настоящие, без подделки, — вставил Алексей-старший.

— Ну, слава богу! — перекрестилась старая женщина. — А то ж нас напугали, что идут, мол, несметные полчища татар да китайцев. Жгут, режут, поедают живьем младенчиков, сильничают баб, девок…

— Бабушка, голубушка, — попросил Мотарыгин, — нельзя ли курочку сварить нам?.. Мы заплатим.

— У, родимец мой, — засуетилась старуха, — никакой платы нам не надо… Зараз накормим вас. Мы уж так рады, что к нам поставили на постой своих казаков… Настя, — сказала она невестке, — беги-ка излови рябую курочку, ту, что прихрамывает-

то… Да полезь в погреб, достань молока, сметаны.

Несмотря на свою, казалось бы, дряхлость, старуха проворно развела на загнетке огонь, живо принялась готовить еду.

Завтрак оказался роскошным. Вначале нам подали жирный ушник, затем курицу с жареной картошкой, потом последовала молочная каша со сметаной, и, наконец, на закуску кислое и пресное молоко.

От такой обильной еды мы осоловели. Захотелось спать.

— Бабушка, — сказал, зевая, Алексей-старший, — ночь-то мы не спали, спать охота… Глаза слипаются… Расстелили б нам дерюгу в горнице, мы бы поспали.

— Ну, а что же, — промолвила старуха. — Можно… Настюшка, постели, голубок, им полость в горнице, нехай поспят.

После того как мы поели, молодая казачка постелила нам в горнице.

Товарищи мои пошли укладываться спать, а я задержался на кухне. Собирая со стола посуду, старуха как-то нерешительно посмотрела на меня, пожевала беззубым ртом, словно собираясь о чем-то спросить.

— А, да все едино, — решительно махнула она рукой и, потянув меня в чулан, прошептала: — Сыночек милый, ты уж не выдавай меня, старую, своим друзьякам-то… Вот о чем я тебя хочу спросить: вчерась, как это московские солдаты отступали, побрали они с собой много нашинских стариков… Ну и моего старика тоже забрали… Не видел ли ты, миленочек, этих стариков?

— Видел, на станции Новохоперск, — сказал я.

— Ой, боже мой! — обрадованно воскликнула старая женщина. — А не приметил ли ты между ними высокого старика с большой седой бородой?.. Такой это он из себя дородный да красивый… Вот его портрет, погляди…

Она торопливо принесла из комнаты запыленную, засиженную мухами, пожелтевшую фотографию мужа. Он, бравый старик, сидел в кресле во всех своих регалиях, с урядницкими галунами на вороте, с крестами и медалями на груди и с атаманской насекой в руке.

В памяти моей возникла картина смерти этого старика на платформе Новохоперского вокзала.

— Нет, бабушка, — покачал я головой, — не заметил его. Но там, конечно, и он. Куда же он денется?

— Вины-то за моим мужем никакой нет, — прошептала старуха. — Да и все-то старики, что забраны с нашего хутора, тоже не виноваты. Как думаешь, отпустят их, а?

— Конечно, отпустят, — сказал я. — Кому они нужны.

— Да вот и я так думаю, — повеселела старуха. — Ну кому они, старые, нужны?

Расстроенный, я вошел в горницу. Товарищи мои уже крепко спали. Я прилег к ним, но заснуть не мог.

Ворочаясь с боку на бок, я пролежал с час или полтора.

Вдруг забухали пушки. Со зловещим воем снаряды проносились над домом, разрываясь совсем близко. И от каждого взрыва дом наш содрогался и стекла в окнах жалобно звенели. Хутор обстреливала белогвардейская артиллерия.

Я поднялся с постели и вышел на парадное крыльцо.

По улице бежал с испуганным лицом солдат нашей роты и громко кричал:

— Выходи!.. Выходи быстрей!.. Белые наступают!.. Велено сейчас же собраться у командира роты!.. Быстро!..

И он побежал по улице дальше, крича одно и то же:

— Выходи!.. Быстро!.. Быстро!..

Я вбежал в горницу и крикнул:

— Поднимайся!.. Тревога!.. Белые наступают!..

— Пошел ты к черту со своими белыми, — ругнулся Дементьев, перевертываясь на другой бок. — И за каким чертом ребятишек зачисляют в Красную Армию?

Но остальные парни вскочили с пола, торопливо стали одеваться. Недовольно ворча, стал одеваться и Дементьев.

Мы с Мотарыгиным вышли из дома первыми.

Грохоча колесами по кочкам, по улице бешено промчалась военная зеленая тачанка. Стоя в ней, солдат с перепуганным лицом гнал лошадей вскачь.

Мы только что спустились с крыльца, как вдруг из-за угла дома раздалось «ура».

Я оглянулся. Размахивая шашками, на нас скакали всадники. На фуражках у них блестели кокарды.

— Белые! — завопил выскочивший на крыльцо Андрей Земцов.

Я заметил, как один из всадников наскочил на красноармейца и взмахом шашки свалил его с тачанки.

Но я не видел, куда девались Мотарыгин и Андрей, и побежал к плетню, намереваясь перескочить его, скрыться в саду. Тяжело навьюченный, я не в силах был перелезть через него.

Между тем белые скакали прямо на меня. Перелезать через плетень было уже поздно. Я прислонился к плетню спиной и стал стрелять в них…

В это время братья Марушкины и Дементьев, выбежав на крыльцо дома, в котором мы остановились, обстреляли белогвардейцев. Несколько человек свалились с лошадей.

Остальные крутнулись назад и исчезли за углом.

Около дома, в котором находился ротный командир, нас собралось человек сорок из всего батальона.

— Товарищи! — обратился к нам командир роты. — Прошу спокойствия, без паники… Дело в том, что впереди нас, по-видимому, находятся позиции московского рабочего полка. Ввиду того что беляки зашли нам в тыл, наш батальон или отступил к Калмычку или пошел на соединение с москвичами… Нам остается одно: пойти на соединение с московским рабочим полком… Пошли, товарищи!.. За мной!..

Мы двинулись вслед за своим ротным.

Артиллерийский обстрел усилился. Снаряды, вздымая фонтаны земли, взрывались рядом с нами. Осколки с визгом разлетались над головой. Появились первые раненые.

Мы вышли на окраину хутора. Отсюда были видны горящие на солнце кресты и церковные главы станицы.

— На том вон гребне позиции москвичей, — сказал командир роты.

И действительно мы увидели на пригорке фигурки людей. Перебежками, обстреливая нас, они спускались к хутору.

— А это потому они ведут обстрел, — пояснил Петр Дементьев, — что принимают нас за белых… Чудаки!

— Не иначе как так, — поддержали его старые солдаты. — Они думают, что белые зашли им в тыл.

— Верно, — согласился и командир роты. — Давайте дождемся их. Прыгайте сюда! — приказал он нам, указывая на канаву, прорытую вокруг сада. — Как москвичи подойдут к нам, мы присоединимся к ним и вместе отойдем к своим.

Поджидая москвичей, мы смотрели, как они подходили к нам.

— Вот чудаки-то! — хохотали мы. — Они нас принимают за огромную белогвардейскую силу… Смех берет.

Подойдя к нам метров на сто, цепь москвичей залегла и открыла частый ружейный огонь.

— Вот черти! Дураки! — досадовал командир роты. — Ну как их убедить, что мы свои?

— Послать бы к ним парламентеров, — неуверенно предложил кто-то.

— Верное слово, — подхватил другой. — А то ведь они могут так палить в нас цельный день.

— А есть охотники пойти к ним? — спросил командир роты.

— Я пойду, — охотно отозвался молодой чернявый солдат Ковешников.

— Надо вдвоем, — заметил командир роты. — Кто еще

пойдет?

— Пойду и я, — сказал небольшого роста красноармеец, Иван Орянкин.

— Ну, идите, — разрешил им ротный. — Прицепите только к штыкам платки носовые.

Прицепив к карабинам белые платки, Ковешников и Орянкин направились к цепи москвичей, залегшей впереди нас. Те, поджидая парламентеров, прекратили стрельбу.

Будучи в полной уверенности, что все сейчас выяснится и мы соединимся с москвичами, некоторые из наших солдат вышли из канавы.

Не доходя до москвичей шагов двадцать-тридцать, парламентеры вдруг побежали назад.

— Товарищи!.. Это белые… Бе-елые!.. — кричали они.

Затрещали выстрелы, завыли пули. Теперь было ясно все — это враги. Мы стали тоже обстреливать белых.

Ввалившись к нам в канаву, тяжело дыша от быстрого бега, Ковешников рассказал:

— Идем мы… Подходим ближе, глядь, а у «москвичей-то» этих на плечах погоны, а на фуражках кокарды блестят… Мы назад…

— По одному с краю в этот сад, — указал командир роты. — Остальным отстреливаться!

Один за другим мы побежали в сад, а из сада во двор казака. По садам и дворам стали пробираться в сторону разъезда, откуда мы только что пришли.

Хутор был огромный. Собственно, это было несколько хуторов: Салтынь, Моховой, Сомовский, Ершиловский и Фирсовский.

Когда мы выбежали на простор, то километрах в трех впереди себя увидели пехоту, рассыпанную редкой цепью, торопливо отходившую от хутора.

— Вот они, москвичи-то, — указал на них Дементьев.

— А с ними, наверно, отходит и наш батальон, — добавил Алексей-старший.

— Сейчас догоним! — сказал Андрей. — Вперед, ребята!

В сложном переплете

Командир роты рассыпал нас в цепь, и мы быстрым шагом, а где и рысцой, бросились вдогонку за москвичами.

Отошли мы от хутора уже на километр, как вдруг увидели справа от себя всадников. Вначале мы подумали, что это наши конники из 1-го советского казачьего полка. Они так же, как и белогвардейцы, носили казачью форму. Кавалеристы все выскакивали и выскакивали из балки. Их оказалось очень много, сотни полторы-две, они с криками и гиканьем устремились на нас.

— Ложись! — послышалась команда ротного. — По белой кавалерии пли!..

Прогрохотал нестройный залп. Белогвардейцы отхлынули. Мы поднялись и снова побежали к своим…

Между тем из хутора выступила белогвардейская пехота. Залегши на окраине, она установила пулеметы и стала поливать нас свинцовым дождем. Отхлынувшая было вражеская кавалерия приостановилась и стала разъезжать на виду, выбирая момент, чтобы снова ринуться в атаку.

Положение создавалось серьезное.

Мои товарищи на бегу сбрасывали с себя шинели, вещевые мешки, лопатки, котелки… а некоторые даже и свои винтовки.

Сзади заухали пушки. Столбы разрывов стали возникать между нами. Это белые подвезли орудия и начали нас обстреливать…

Вот… вот… еще немного, еще несколько шагов — и желанный гребень. За ним спасение. Там пуля не ужалит.

Я перебежал гребень, пули перестали ныть над моей головой. Я упал в изнеможении на землю и несколько минут лежал неподвижно.

Во рту пересохло, слюна исчезла, язык тяжело ворочался, словно рот мой был забит горячим песком. Вот только бы напиться. Я приподнял голову и увидел на дороге запыленную арбузную корку. Я подполз к ней и, вспугнув тучу зеленых крупных мух, дрожащими руками схватил эту корку, стал ее обгладывать.

…Нам приказали окопаться на гребне. Вырыв окоп, я завернулся в шинель и лег. Знобило.

Утром я почувствовал резкие боли в животе, начался жар. Вызвали полкового фельдшера. Нащупав пульс, он осмотрел мой язык, надавил живот.

— Значит, есть рези в животе? — спросил он.

— Сильные, — простонал я.

— Кровью ходишь?

— Да.

— Что вчера ел?

Я сказал ему о полусгнившей корке арбуза.

— А-а, — понимающе протянул фельдшер. — Все попятно… Кровь, слизь… У тебя острая дизентерия… Собирайся-ка, друг, поедем…

— Куда? — спросил я.

— На кудыкины хутора, — сердито пошутил фельдшер. — Садись без разговоров в таратайку, отвезу тебя в полковой околоток… А там посмотрим…

Привезя меня на разъезд Половцев, где находился полковой околоток, фельдшер дал мне каких-то лекарств. Потом, измерив температуру, он укоризненно покачал головой.

— Знаешь, парень, — сказал он мне, — придется, должно, тебя отправить в госпиталь в Новохоперск… Боюсь, как бы ты тут не закочурился… А зачем тебе помирать, ежели ты такой молодой?.

Меня в сопровождении санитара отправили в госпиталь.

* * *

В один из солнечных тихих дней в распахнутое окно палаты ворвался отдаленный гул канонады.

— Что это? — приподняв обвязанную бинтом голову, встревоженно спросил раненый солдат, лежащий рядом со мной на койке. (Инфекционные больные и раненые лежали тогда вместе.)

— Господи сусе, — пробормотал испуганно кто-то из лежащих на койках красноармейцев. — Неужто белые?

— Тоже сказал мне — белые, — весело рассмеялся рыжеусый солдат, сидевший у окна с перевязанной рукой. — Учения за городом проводят с молодыми красноармейцами. Вот что!

— Откуда тут быть белым, — помолчав, снова сказал рыжеусый солдат, дымя папиросой. — Белые, говорят, намазали салом пятки и улепетывают.

В этот момент дверь палаты открылась и в накинутом на плечи белом халате к нам вошел мой отец.

— Папа! — крикнул я радостно.

Отец подошел ко мне с озабоченным видом.

— Что с тобой, сынок?

Я рассказал ему о своей болезни. Он подсел к моей кровати.

— Как же ты, папа, нашел меня? — спросил я.

Отец рассказал, что красные в стремительном наступлении погнали белых и освободили не только наш хутор и станицу, но находятся уже где-то далеко за Урюпинской.

Весть эта привела всех больных и раненых в веселое настроение.

— Ну, я же говорил, — ликующе воскликнул рыжеусый солдат. — Белых теперь поминай как звали.

— На хутор забегали Андрей Земцов и Дементьев, — продолжал рассказывать отец. — Вот они-то и сообщили мне, что ты заболел и лежишь в Новохоперском госпитале… Запряг я лошадь да вот и приехал тебя проведать… Тут же близко, верст двадцать пять, должно быть…

Отец привез много фруктов, арбузов, дынь, но мне этого ничего нельзя было есть. И он все роздал моим товарищам по палате.

Орудийная стрельба не прекращалась.

— Скажи, отец, ты, случаем, ехал-то, не видал, где это проводят артиллерийские учения? — спросил рыжеусый солдат.

— Не видал.

— Весь день палят, — заметил мой сосед. — Уж и учения ли это, а?

Отец, пробыв у меня с полчаса, заторопился уезжать.

— Поеду, — сказал он, — а то же ведь оно дело-то какое: сейчас на нашем хуторе красные, а через час могут быть и опять белые. Война эта, как картежная игра. Ныне я выиграл, а завтра ты… Прощай, Саша! — расцеловал он меня. — Ежели всё так будет, то ден через пять я к тебе снова приеду, — пообещал он.

Угостив напоследок находившихся в палате красноармейцев крепким табаком-самосадом, «горлодером», который он сам выращивал, отец попрощался с нами и ушел. Но вскоре он вернулся, бледный, чем-то напуганный.

— Что, отец, забыл? — спросил его рыжеусый солдат.

— Ребята, — сказал отец тихо, — одевайтесь и уходите… Белые к городу подходят…

В то время в прифронтовых госпиталях у каждого больного и раненого гимнастерка со штанами лежала на табурете около него, а сапоги — под койкой. Мне не стоило большого труда одеться. Покачиваясь от слабости, поддерживаемый под руку отцом, я вышел во двор. Там было так хорошо — солнечно и тепло. Где-то слышались заглушенные крики, стрельба. Но пушки уже не стреляли.

— Беда, — сказал отец. — Только я было хотел ехать домой, а меня и не пустили… Говорят, белые подступают к городу…

Откуда они, проклятые, только и взялись?.. Ведь не было же их… и духом-то ихним не воняло.

— А где же лошадь?.. Куда ты ее дел?..

— Да на своих напал… Наши хуторские… Алексей Марушкин, Земцов… Они взяли в обоз к себе. Обещали, как отгонят белых, привезти лошадь домой… Спасибо, я вот взял с собой куртку… Надевай, — сунул он мне ее. — Да пойдем.

— Куда, папа?.. Разве я могу из госпиталя уйти?..

— Эх, сынок, — горько усмехнулся отец, — госпиталь… Да какой же теперь может быть госпиталь, когда в городе черт знает что делается, ад кромешный… Все бегут сломя голову.

— Бегут? А у нас в госпитале ничего неизвестно..

— Это потому неизвестно, что госпиталь-то ваш, видишь, в каком закоулке… Тихо у вас, ничего не видно и не слышно… Пойдем скорее, а то, не дай бог, белые ворвутся… Пропадешь даром…

Мы вышли на улицу. Улочка была маленькая, пустынная. Но когда, завернув за угол, мы очутились на большой улице, то увидели что-то невообразимое: с грохотом проносились тачанки, двуколки, бежали перепуганные мужчины, женщины, солдаты, что-то крича, метались всадники.

Отец повел меня к Хопру.

На берегу у моста стояли красноармейцы с ружьями и без пропусков никого не пускали.

Около них собралась негодующая толпа.

— С ума, что ли, вы сошли! — в ярости кричал белобородый старик. — Чего не пропущаете-то?.. Ведь белые-то вот-вот ворвутся в город… Что, вы хочете, чтоб нас живьем порубали казаки?..

— Не велено пущать, — твердили солдаты. — Не велено!.. Отойдите!..

— Как так — не велено? — возмутился отец. — Не погибать же людям… Где ваш начальник?..

— А вон стоит, — кивнул красноармеец на высокого белобрысого парня с револьвером на боку, стоявшего у перил моста и смотревшего на разгневанную толпу с олимпийским спокойствием, точно его это и не касалось.

Отец подошел к нему.

— Товарищ, как же это так… — начал было он.

— Здравствуйте, Илья Петрович! — поздоровался белобрысый парень.

Отец ошеломленно посмотрел на него.

— Ваня! — вскрикнул он. — Ты?

Парень этот был знаком отцу еще по Урюпинской. Они когда-

то вместе малярничали.

— Я, — ответил парень, ухмыляясь.

— Ваня, — сказал отец, — ты что же народ-то задерживаешь? Белые вот-вот ворвутся в город, перебьют ведь всех…

— Да запрещено тут без пропусков проходить, — сказал парень. — Приказ есть приказ. Да, наверное, тот, кто запретил пропускать народ, давно уже смылся из города, — добавил он и крикнул солдатам: — Эй, ребята, пускай народ! Пусть проходят через мост.

— Стало быть, пропущать? — недоумевающе оглянулся на начальника один из красноармейцев. — Без пропусков?

— Пропускай! — решительно махнул рукой парень.

— Проходи! — крикнул красноармеец толпе.

Толпа хлынула через мост. Распрощавшись с начальником поста, мы тоже пошли.

Я едва волочил ноги. Если б меня не поддерживал отец, я, наверное, уже давно б свалился. Видя, что отцу очень трудно вести меня, какой-то парень стал помогать ему.

— Куда эта дорога идет? — спросил у него отец.

— В Борисоглебск.

— Это хорошо, — сказал отец. — Там у меня живет племянник. Устроимся у него… А далеко ли до Борисоглебска?

— Да верст, должно, сорок, а то и пятьдесят будет…

Идя по пыльной дороге, люди оглядывались на оставленный город и покачивали головами. В городе к небу поднимались дымные столбы. Что-то там горело.

Протащились мы так километров пять, а потом я, обессилев, упал в придорожную траву и не мог уже больше встать. Мимо проходили толпы людей. Слышались крики, плач.

— Сынок, а идти-то все-таки надо, — проговорил отец, наклоняясь надо мной. — Надо!.. А то ведь так и к белым можно в руки попасть.

Я лежал на обочине дороги, бездумно глядя в глубину синего неба, где парил какой-то черный комок. По всему моему измученному телу разливалась сладкая истома, и мне было приятно. Я, казалось, мог бы так, ни о чем не думая, пролежать вечность.

Поднимая кудрявую вязь пыли, по дороге от города показался всадник.

— Не беляк ли? — спросил отец.

— Не может быть, — ответил парень, который самоотверженно не бросал нас. — Один бы он не поехал…

Подскакав к нам, всадник остановился.

— Братцы, закурить есть? — прохрипел он.

— Есть, — отозвался отец.

— Дай, пожалуйста, закурить… Помираю без курева…

Отец подал ему кисет с табаком.

— Из города, что ли? — спросил он у всадника.

— Из города.

— Что это там горит?

— Белые жгут город.

— Значит, вошли?

— Вошли, проклятые.

— А нас еще не хотели из города через мост пропускать, — возмущенно воскликнул наш попутчик. — Сволочи!.. Могли б беляки порубать.

— Факт! — согласился всадник, возвращая отцу кисет и закуривая. — Порубали б, как пить дать… Белые зараз распоясались в городе вовсю… Расстреливают винного и невинного… На улицах трупы лежат, кровь ручьями течет… Я лежал в госпитале… Они сразу нагрянули…

Я приподнялся, взглянул на всадника и узнал его. Он лежал в нашем госпитале, только в другой палате.

— Климов! — простонал я. — Ты?

— Ой! — удивился тот, вглядываясь в меня. — Это ты? Стало быть, тоже убег? Вот молодчага!.. Я тоже убежал… Вышел из госпиталя, гляжу, коняка стоит… Махнул в седло и ускакал… Слава богу, уцелел… Не знаю, надолго ли… Ну что ж, пойдемте, — позвал Климов. — Компанию составим.

Но я не мог подняться.

— Ну что я буду делать с ним, братцы, а? — в отчаянии проговорил отец. — Не бросайте на погибель.

— Эх! — крякнул Климов, слезая с коня. — Хочь и сам я без силов, а, видно, садись-ка ты, паренек, верхом, а мы пойдем пешечком.

Меня усадили на лошадь. А чтобы я не упал с нее, привязали ноги к седлу. Как пьяный, раскачивался я на лошади.

Наконец, с приключениями и мытарствами, измученный, добрался я до Борисоглебска.

Павел Юрин жил теперь в Борисоглебске.

Он нас приютил.

В плену

Расхворался я всерьез. Кроме дизентерии, ко мне пристала еще и малярия.

Я теперь так высох, что походил на скелет, обтянутый кожей.

Однажды Павел принес местную газету. Из нее мы узнали, что наша местность освобождена красными.

Мы с отцом могли теперь добраться до своего хутора. В домашних условиях, при хорошем уходе я мог бы быстро выздороветь.

От Борисоглебска до нашего хутора было около семидесяти километров. Отец придумывал, как бы нам добраться домой. Пешком я не мог дойти, а нанять подводу не было денег.

На счастье, из Борисоглебска в нашу сторону направлялся военный транспорт. Отец упросил красноармейцев подвезти нас.

Добрались мы до дому благополучно. Маша обрадовалась нашему возвращению. В это время на хуторе оказался мой друг, Алексей Марушкин. Сестра тотчас привела его ко мне. Мы обнялись и расцеловались.

— Где теперь наш полк? — спросил я.

— Под Урюпинской. Не ныне — завтра заберем ее. Поправляйся да приходи к нам… Я скажу ротному, что ты как выздоровеешь, так придешь…

Он пожал мне руку и ушел.

Но события развернулись совсем иначе, чем мы предполагали. В гражданскую войну часто обстоятельства складывались так, что приходилось только удивляться.

Еще вчера вечером по улицам хутора сновали красноармейцы. Мимо наших окон проходили военные обозы, подвозившие боеприпасы и провиант передовым частям, которые находились где-то под станицей Добринской, верст за пятнадцать впереди нашего хутора, а сегодня на рассвете Маша в испуге будила меня:

— Саша, по улицам белые ездят!..

Как же это получилось?.. Ни боя, ни стрельбы не было — и вдруг белые?.. Даже не верилось. Словно они из-под земли выросли.

— Что теперь делать? — прошептала в ужасе сестра.

— И зачем я тебя, сынок, привел сюда? — сказал отец. — На погибель, должно…

Я молча поднялся с постели, оделся.

— Ты куда? — спросила сестра.

— Убегу в сады, — решительно заявил я. — Там просижу до

ночи, а ночью уйду в Долгое и буду скрываться до тех пор, пока наши снова не освободят хутор… Не надолго они ведь отступили.

— Это ты правильно надумал, — согласилась со мной Маша. — Я тебя завтра утром сама в Долгое отвезу… Договорюсь с Астаховыми, у них перебудешь… Люди они свои… А в сады тебе нечего убегать, там тебя кто-нибудь увидит да белым донесет… Ложись-ка ты вот на кровать под перину, я тебя подушками закидаю… Да гляди, лежи смирно, не кашляй.

Я лежал в горнице на кровати под периной. Мне было душно, жарко. Но нужно было терпеть. Я задремал, но вдруг услышал, что на кухне кто-то говорит с Машей.

— Здорово живете! — прогудел мужской голос.

По голосу я узнал, что пришел к нам сосед-старик Гавриил Александрович Зотьев.

— Здравствуйте! — ответила Маша. — Проходите, садитесь.

Старик, видимо, прошел к столу, уселся на скамью.

— Служивый-то еще не пришел домой? — спросил он.

— Вы о муже спрашиваете?

— Ну, конечно. О ком же?

— Еще не приезжал.

— А про брата-то ничего не слыхать, а?

— Папа к нему ездил… Больной, в госпитале лежит…

— Раненый, что ли, ай заболел?

— Заболел дизентерией и лихорадкой.

— А что это слух-то тут по хутору пошел: навроде будто твоего брата-то видали вчерась тут, а?..

— Да ну, что вы! — засмеялась Маша. — Как же он сюда придет. Он же больной, в Новохоперске…

— А Петрович-то где ж? — спросил старик про отца.

— В саду, — сказала Маша. — С табаками там своими возится.

— Пойду коль к нему, — проскрипел старик, — покурим.

Когда Зотьев ушел, Маша подошла к моей кровати.

— Ты слышал, Саша?

— Слышал.

— Это старик неспроста приходил, — сказала сестра. — Пронюхивал!.. Да не удастся ему. Завтра я тебя утром отвезу в Долгое. А может быть, еще и Георгий подъедет. Тогда он тебя сам отвезет… Это будет еще лучше.

Но Георгий в этот день не приехал. До вечера я лежал под периной, взмокший и распаренный. К Маше то и дело приходили соседки, тараторили о том о сем, уходили, потом снова приходили.

Вечером Маша высвободила меня из-под перины и, расстелив

на полу полость, уложила спать вместе с ребятами.

Окна были распахнуты. В случае опасности я намеревался выскочить в сад.

Ночь мы спали спокойно.

На заре я слышал, как Маша встала, чтобы пойти запрячь лошадь и отвезти меня в Долгое. Но она не успела даже умыться. В дверь громко и настойчиво застучали.

Я вскочил, чтобы нырнуть в окно, но в мутном рассвете утра увидел у окна казака, наставившего прямо на меня дуло винтовки.

«Все! — подумал я. — Конец!»

Побелевшая от ужаса, сестра открыла дверь. В хату ворвались казаки.

— Где он?

— Кто? — спросила сестра.

— Краснопузый?

Я вышел из горницы.

— Руки вверх! — прикрикнул на меня казак. — Зажигайте лампу!

Дрожа от волнения, Маша зажгла лампу. Не опуская наставленных на меня ружей, казаки с удивлением посмотрели на меня и переглянулись.

— Что, — усмехаясь спросил здоровенный усатый казак, — это и есть тот самый краснопузый? Ну и вояка, — засмеялся он, — Я думал, тут черт знает какой головорез скрывается, а оказывается, молокосос, сопли еще на губах не обсохли. Идем, — сказал он мне.

Я оделся. Маша дала мне узелок с едой.

Меня вывели на улицу. Казаки вскочили на лошадей и погнали меня в станицу.

Приведя в станичное правление, казаки заперли меня в тюгулевку.[10]

У дверей тотчас же собрались любопытные старики и бабы. Они разглядывали меня, как чудо, вслух делились впечатлениями обо мне.

— Ну какой же это краснопузый, — разочарованно говорил какой-то старик. — Не краснопузый, а так это, парнишка… А говорили краснопузого поймали. Брехуны проклятые!..

— Истинный господь, брехуны, — вторила ему бабенка, вглядываясь в меня. — Поглядеть даже не на что.

Какие только мысли не приходили мне в голову. Думалось: а может быть, вот сейчас атаман распорядится вывести меня на станичный майдан и прикажет на виду у всех расстрелять или еще хуже — повесить…

Часов в двенадцать дня дверь приоткрылась и появился мой отец.

— Не горюй, Сашка, — сказал он. — Я и Георгий сейчас разговаривали с атаманом. До разбора дела он обещал отпустить тебя на поруки.

Заглянул ко мне и Георгий.

— Все, Саша, будет в порядке, — ободрил он меня. — В следственной комиссии мои друзья, односумы. Они пообещали отпустить тебя… Да и с атаманом говорили, и он тоже не против того, чтобы отпустить… Говорят, мальчишка, дескать… К вечеру придешь домой…

Но это был явный обман. Атаман и казаки из следственной комиссии приготовили для меня совершенно другую участь. Как только отец и зять уехали на хутор, меня сейчас же под конвоем двух конных казаков погнали в окружную станицу.

В станице Урюпинской меня привели в окружное правление к какому-то молодому офицеру. Тот, прочитав отношение станичного атамана, которое вместе со мной было доставлено, долго размахивал перед моим носом кулаком, площадно ругался. Закатив мне пару добрых пощечин, он распорядился отправить меня в тюрьму.

Тяжелые дни

С лязгом захлопнулась за мной тяжелая, окованная железом калитка тюрьмы. Я с ужасом оглянулся вокруг. Жутко… Со всех сторон давят высокие кирпичные стены, а передо мной, как огромная серая скала, возвышается мрачная тюрьма.

Тюрьма!.. Страшное место.

Тюрьму мне доводилось видеть и раньше, когда я бывал в Урюпинской. Не раз проходил я мимо этого мрачного каменного здания с железными решетками на окнах. Но разве же думал я, что когда-либо попаду сюда?

Меня привели в канцелярию, что-то записали в книге, а потом угрюмый сивоусый надзиратель повел меня в камеру.

Шли мы по длинному коридору с каменным полом. Шаги наши отдавались звучным эхом по всему мрачному зданию.

Надзиратель повел меня по лестнице на второй этаж.

Вынырнув из темного угла, как приведение, появился дежурный надзиратель со связкой ключей.

— Новенького привел? — спросил он у моего надзирателя.

— Новенького.

Надзиратель с ключами, бегло оглядев меня, бросил пренебрежительно:

— Мальчишка. В какую его камеру?

— В шестую.

— Да куда ж туда?.. Там полно-переполно. Один на другом сидят… Повернуться негде.

— Что поделать! — вздернул плечами приведший меня надзиратель. — Начальству виднее…

— Ну, раз виднее, то черт с ним, — недовольно зазвенел ключами надзиратель. — Там их столько напхато, как селедок в бочке.

— А тебе жалко их?.. Да пропади они пропадом.

— Да все же люди…

— Да разве это люди?.. Не люди, а красные… Супротив бога идут… — Прогремев ключами, надзиратель отпер замок, распахнул дверь. Из камеры пахнуло вонючей духотой.

— Тьфу! — плюнул надзиратель, приведший меня. — Как там и живут люди… Ну, иди, чего стоишь?.. — толкнул он меня в спину.

Я нерешительно перешагнул порог камеры.

Мгновение в ней стояла настороженная тишина, а затем, как только за мной захлопнулась дверь, поднялся шум.

Я стоял у двери, не решаясь отойти от порога. В камере

ничего не было видно, и мои глаза не сразу привыкли к темноте. А потом, когда я стал различать окружающее, то убедился, что вся камера до отказа заполнена полуголыми людьми.

Меня обступили изможденные, с пожелтевшими лицами люди.

— Откуда, товарищ?

— Кто таков?

— За что посадили?

Я коротко рассказал о себе.

— О! — загудели обрадованные голоса. — Из наших… красноармеец.

— А вы кто? — оглядывая обступивших меня людей, спросил я. — Тоже, наверное, такие же?.. Красноармейцы?..

— Ну, ясное дело, — ответил молодой парень с всклокоченной курчавой головой. — Красноармейцы… Мы-то вот москвичи, из четвертого Московского пролетарского полка. Попали в плен на Фирсовом хуторе… Но есть здесь и ваши, донские, сидят по политическим делам.

Все они, истомившиеся в тюрьме люди, как манны небесной, ждали наступления Красной Армии, ждали освобождения.

Усталый, измученный дальней дорогой, переминаясь с ноги на ногу, я стоял у порога, не зная, куда деться.

— Ну, что ж, паренек, — сказал курчавый парень. — Давай, брат, знакомиться. Я староста камеры. Зовут меня Федором, а фамилия Урин… А тебя как зовут?..

Я назвал себя.

— Ну, вот, Александр, надо тебе местечко дать. Не обижайся, дорогой, такое тюремное правило, новичку дается вначале место у двери… Вот тут, у параши, и располагайся… А потом постепенно перейдешь и на более лучше место… Народ-то ведь у нас бывает — кого расстреливают, а кто умирает… На волю только никого не выпускают.

Заметив, что его слова произвели на меня удручающее впечатление, староста усмехнулся.

— А ты не расстраивайся… Все умрем. А не умрем, так будем жить.

Я присел у параши. Но сидеть около нее было мутарно. К ней все время подходили за нуждой…

Наступил вечер. Пришел надзиратель и зажег маленькую лампочку. Арестанты, укладываясь спать, затихли. На нарах кто-то начал рассказывать сказку. Я прикорнул у параши и заснул…

На рассвете кто-то громко запел:

Посадил дед репку,

Ни густу, ни редку-у…

Я недоумевающе поднял голову. Свесив босые ноги с нар, наш староста пел, будя своим пением камеру:

Выросла репка.
Ни густа, ни редка-а…

Вокруг старосты сгруппировались несколько парней. Они подхватили песню:.

Выросла репка.
Ни густа, ни редка…

Парни все были молодые, но страшно грязные, взъерошенные, небритые. Одеты в тюремные отрепья. Но сколько в их глазах было жизни, юного задора! С каким лукавством они пели озорную песню!

Я почувствовал, что под рубахой у меня что-то лазит. Я снял ее, чтоб посмотреть. Боже мой, какой ужас!.. Она вся была усыпана крупными вшами. С яростью принялся я их уничтожать.

Ко мне подошел маленький человечек, обросший мягкой, еще юношеской бородкой.

— Зачем вы их бьете? — усмехнулся он. — Ведь все равно всех не перебьете… Тут их миллионы. Посмотрите, — отвернул он полу своей серой арестантской куртки.

Я обомлел от ужаса: вся пола, словно бисером, была покрыта крупными вшами.

— Страшно, а? — засмеялся арестант. — Чего бояться-то? У вас столько же будет. Привыкнете… Вас-то, может быть, первое время они и будут беспокоить, а мы уже привыкли к ним… Они нас не кусают потому, что кусать-то нечего: крови нет… Кожа одна и та высохшая.

Я вглядывался в арестанта, и в его облике мне чудилось что-то знакомое. Казалось, что с этим человеком я где-то встречался.

— Вы тоже москвич? — спросил я у него.

— Да, москвич. Рабочий-трамвайщик. Зовут меня… Колей… Коля Бармин… Тоже под Фирсовым хутором в плен попал.

— Так мы же с вами знакомы! — воскликнул я, протягивая ему руку. Бармин с изумлением посмотрел ка меня.

— Где же мы с вами встречались?..

— А помните окопы у Бугровского хутора?.. Вы нас сменяли

тогда.

— Ох ты! — воскликнул пленник. — Вот так встреча! Не дай бог так встречаться.

Днем дежурные арестанты принесли фунтовые пайки черного, как кизяки, смешанного с отрубями хлеба. Староста и дежурные распределили хлеб на десятки. В десятках, чтоб никому не было обидно, стали выкрикивать:

— Кому?

Один из арестантов становился спиной к пайкам и отвечал:

— Бармину!

Бармин получал указываемую десятским пайку.

— Кому?

— Иванову.

Таким образом делился хлеб.

Затем в камеру вносили огромный бак с кипятком. Кипяток пили с хлебом и солью.

Хлебные пайки в руках арестантов таяли, как снег. И тот, кто свой хлеб поедал первым, голодными, жадными глазами поглядывал на тех, кто еще только его доедал.

Белые бегут

В тюрьме я подружился с молодым казаком Горшковым Петром, уроженцем Котовской станицы. Ему было лет под тридцать. По натуре он был гордым, замкнутым человеком, ни с кем почти в камере не общался. Но ко мне относился почему-то дружелюбно, удостаивая иногда своим вниманием и разговором. Вскоре мне удалось устроиться около него на нарах.

Часто мы беседовали. Сначала Горшков все выспрашивал меня: кто я да откуда, за что посажен… А потом постепенно разоткровенничался со мной и рассказал, как он попал в тюрьму.

— Ты понимаешь, Саша, — говорил он мне. — Думаешь, меня засадил-то кто в тюрьму?.. Да дед же родной, проклятый. Дед!.. Засадил за то, что я большевиков поддерживал, к ним свое сочувствие имел… Еще как только пришел с фронта, так промеж нас такие споры пошли, что ажно чуть ни до драки дело доходило… Я ему доказываю, что большевики хотят добиться хорошей жизни для народа, а он свое: лучше, дескать, царского режима ничего на свете нет. При царе-де жить для него — рай-райский… Вот так каждый день мы с ним и цапались… А потом, как белые начали мобилизовывать казаков, так я сбежал в поле, хибара там у нас есть… Жил там, скрывался… Так дед мой — анчутка старая! — донес на меня. Сцапали меня ночью и засадили в тюрьму… Ну, ежели, господь даст, выберусь отсель, так пристрелю старого кобеля… Истинный господь, пристрелю!..

— Не говори так, — сказал я. — Ведь дед же он тебе…

— Дед, — озлобленно выкрикнул Горшков. — Он-то не пожалел своего внука? А чего мне его жалеть?

Дни в тюрьме тянулись страшно медленно.

Редкую ночь не будил нас лязг замка. Открыв дверь, надзиратель выкрикивал несколько фамилий.

Вызванные прощались с нами и, забрав вещи, уходили. Они не знали, куда шли: то ли их переводят в другую тюрьму, то ли выводят на расстрел. Об этом им объявляли в тюремной канцелярии.

Наступила зима. Мы видели из окошка, как в воздухе, словно бабочки, запорхали крупные снежинки.

Поползли слухи о том, что Красная Армия перешла в решительное наступление и на севере Донщины идут жестокие бои. Несчастные люди радовались этим слухам.

— Красная Армия-то… наступает!

— Наступает, братцы!..

— Не ныне — завтра захватит Урюпинскую.

— Освободит нас…

Все вдруг оказались стратегами. С утра до вечера в камере велись жаркие споры о том, как частям Красной Армии лучше окружить Урюпинскую, чтобы освободить нас из тюрьмы…

Однажды ночью я долго не мог заснуть. Было невыносимо душно. Я приподнялся и подвинулся ближе к форточке. Вдруг мой слух уловил далекий гул. У меня сильно заколотилось сердце. Боясь ошибиться, я снова приник ухом к форточке. И опять далеко-далеко: тук-бах!., тук-бах!.. От волнения у меня сперло дыхание, Я обернулся и на всю камеру закричал радостно:

— Пушки стреляют!

В одно мгновение все были на ногах, словно никто и не ложился спать.

— Что-о?.. Что-о говоришь?.. — тянулись ко мне люди. — Стреляют, а?..

— Приснилось ему, должно, — иронически сказал кто-то.

Но на скептика так негодующе зашикали, что он сейчас же замолк.

Все в напряжении застыли, прислушиваясь к завыванию ветра. Конечно, никто ничего не слышал, но многим действительно казалось, что они слышат, как ухают пушки.

Все ликовали, будто в великий праздник. Люди обнимались, целовались.

Прислушиваясь к далекой канонаде, мы всю ночь не ложились.

Под утро по коридору затопали торопливые шаги. У соседних камер загремели засовы, замки.

— Выходи! — кричали надзиратели. — Живо, выходите!.. Все до одного выходите… Кто не выйдет, того пристрелят!.

— Стало быть, угоняют? — не то с удивлением, не то с огорчением протянул кто-то.

— А ежели мы не выйдем?

Загромыхал замок и у нашей камеры. Распахнулась широко дверь.

— А ну, выходи все до единого, быстро! — гаркнул надзиратель.

— А, дозвольте у вас узнать, куда? — ласково спросил его один из арестантов.

— Выходи, сволочь, без разговору! — заорал надзиратель. — Выходи, а там увидишь — куда!

Захватив свои мешочки и узелки, мы вышли из камеры.

— Ты от меня не отбивайся, — предупредил меня Горшков.

Во дворе было студено. Вьюга валила с ног замороженных, обессилевших людей, снежные вихри слепили глаза. Нас

выстраивали во дворе тюрьмы в две шеренги.

— Живей!.. Живей выстраивайтесь! — кричали нам надзиратели.

Взад и вперед по двору разъезжали на конях бородатые казаки в дубленых полушубках. Это конвоиры. Они погонят нас неизвестно куда.

Сейчас уже четко были слышны пушечные выстрелы. Из орудий били теперь совсем недалеко, может быть километрах в пяти-семи от нас.

В тюрьме, откуда мы только что вышли, раздались приглушенные выстрелы.

— Больных пристреливают, — прошептал Горшков.

С грохотом распахнулись железные тюремные ворота.

— Шагом арш! — прозвучала команда.

Из ворот тюрьмы, словно из огромной пасти, в предрассветную мглу потекла арестантская масса.

Нас повели на юг. Мы прошли станицу, и перед нашим взором возникла затуманенная предрассветной мглой заснеженная безбрежная степь.

— Куда ведут нас? — тихо переговаривались заключенные.

— А вот выведут в степь и расстреляют.

— Не постреляют, подавятся…

— Им это ничего не значит…

Путь наш был тяжелый. На каждом шагу преграждали дорогу огромные сугробы.

Позади колонны арестанты по очереди тащили на себе полевую кухню.

Нас то и дело обгоняли подводы беженцев, убегавших от Красной Армии, тройки с укутанными в добротные шубы седоками.

Я и Горшков шли в последних рядах и вели под руки восьмидесятилетнего старика Брыкина. Старик до ареста проживал в станице Михайловской. Арестован он был за то, что сын его служил в Красной Армии.

Я знал его сына: он служил в нашей роте.

Старик был очень слаб. Он еле двигался. Устав, мы с Горшковым передали его другим товарищам. Те ка мгновение оставили его, для того чтобы закурить. Старик некоторое время шел самостоятельно и вдруг споткнулся и упал в снег. Его не успели поднять, как подбежал молодой парень-конвоир. Я вздрогнул от неожиданности. Конвоиром оказался Никодим Бирюков — друг моего детства.

— А ну, вставай! — прикрикнул он на старика.

Брыкин попытался встать и не смог.

— Силов нет, — прошамкал он.

— Вставай! — заорал Никодим, толкнув старика прикладом.

С необычайной для его лет живостью старик вскочил на ноги и замахнулся костылем на Кодьку.

— Ты мне в правнуки годишься, — гневно вскрикнул он, — а ты меня бьешь!.. Гляди, а то вот так и опояшу костылем…

Кодька озадаченно посмотрел на старика, не зная, что на это ответить.

В это время мимо ехал офицер, начальник конвоя.

— Эх ты, казак! — накинулся он на Никодима. — На тебя замахивается арестант а ты не знаешь, что делать… Застрели его!

Кодька прицелился в старика и выстрелил. Старик мягко повалился в сугроб.

Я схватил за руку Горшкова.

— Ты что? — спросил он у меня.

— Этот убийца-конвоир, — сказал я, — мой троюродный брат.

— Брат?.. Какая же он сволочь! Берегись его, Сашка, а то он и тебя расстреляет.

…Наступал морозный вечер. Впереди замаячили левады станицы Тепикинской.

— Где же мы будем ночевать? — гадали арестанты, — Неужто прямо на улице?..

Станица была заполнена беженцами из верховых станиц. Как только мы появились на улицах, нас тотчас окружила озлобленная, шумливая толпа.

— На кой дьявол вы их гоните? — орали старики, потрясая кнутами и кулаками. — Пострелять бы их дорогой…

— Побить, побить негодяев!..

— Ах ты анчихрист! — взвизгнул около меня женский голос.

Я в испуге оглянулся — не ко мне ли относится этот крик? Нет, не ко мне. Молодая рябая баба накинулась на щуплого пленного красноармейца. Она орала:

— Ты, небось, гад краснопузый, моего мужа-то убил… Глаза выцарапаю, идолу!.. Нечистый дух!..

А к Горшкову пристал старик.

— Ты казак, должно?

— Казак, — нерешительно проронил Горшков.

— Сволочь ты, а не казак, — выкрикивал старик. — Хоть, дам в морду?..

Горшков, беспокойно озираясь, молчал.

— А-а… не хошь?.. Так на ж тебе!.. — и старик с силой ударил его кулаком по уху.

Горшков поспешил затеряться в толпе арестантов.

То там то сям слышались яростные вопли и ругань казаков и казачек, нападавших на заключенных.

Нас загнали в станичную школу. Вокруг школы расставили часовых.

Есаул развлекается

Утром нам раздали хлеб, принесли несколько ведер кипятку. Мы позавтракали. Потом надзиратели приказали навести порядок в классах: предполагался обход начальника конвоя, есаула Федорова.

Мы с трепетом ожидали прихода начальника: о его жестокости рассказывали страшные вещи.

Часов в десять утра по классам разнеслась команда:

— Смирно-а! Смирно-а!

Затем из комнаты в комнату стало разноситься многоголосое:

— Здравствуйте!.. Здравствуйте!..

Видимо, есаул проходя из класса в класс, здоровался с заключенными. Это нас немного порадовало — значит, не такой уж он зверь.

Есаул быстро вошел в наш класс.

— Здравствуйте! — гаркнул он.

Мы ответили.

Выйдя на середину класса, он вынул из кармана портсигар, закурил папиросу и внимательно, исподлобья, оглядел нас. Это был длинновязый, со смуглым лицом мужчина лет тридцати. Глаза его перебегали с одного арестанта на другого. Вид этого человека, суровый и мрачный, производил удручающее впечатление.

Покручивая ус, есаул прошелся по комнате. Он как будто кого-то выискивал между нами.

Затаив дыхание, мы смотрели на него. Не выпуская дымящейся папиросы изо рта, он поманил кого-то пальцем.

— Эй, дружище, пойди-ка сюда!

Из нашей шеренги вышел казак в широких шароварах с лампасами.

— Казак, братец? — вкрадчивым, ласковым голоском спросил его офицер.

— Так точно, ваше благородие! — прищелкнул каблуками казак.

— Какой станицы, дорогой?

— Ново-Николаевской, ваше благородие. С хутора Дуплятского.

— Так. Наверно, на германской войне был?

— Как же, ваше благородие, был, — словоохотливо отвечал казак. — Четыре георгиевских креста еще заслужил да две медали.

— А как же твоя фамилия?

— Кумсков.

— Молодец, Кумсков, — сказал офицер. — Геройский казак. А за что ты посажен в тюрьму?

— Не могу знать, ваше благородие, — вздернул плечами казак и ухмыльнулся. — Навроде как бы посчитали большевиком…

— Вон оно что… А может, ты в самом деле большевик, а?

— Да ведь, как сказать, ваше благородие, — снова усмехнулся Кумсков. — Когда мы были на фронте, то ведь, почитай, все считали себя большевиками. А теперь все перемешались — кто большевиком стал, а кто кадетом…

— Ты мне не юли… — озлобленно сверкнул глазами есаул. — Кто ты — большевик или кадет?

Побледнев, казак напряженно смотрел на офицера и молчал.

— Молчишь, сволочь?.. Значит, большевик. — Выхватив из кобуры наган, есаул схватил его за дуло и рукоятью начал бить казака по лицу. По щекам Кумскова потекла кровь. Он стал вытирать ее рукавом. — Смирно, негодяй! — закричал офицер. — Руки по швам!.. Это вот тебе за один «георгий», это за второй… Это за третий, а это за четвертый… А это вот за медали. Тебя, мерзавец, начальство награждало, думало, что с честью будешь носить свои кресты, а ты, гадина, осквернил их своей изменой.

Крепко сжав зубы, чтобы не застонать, казак стоял как истукан. Много ему стоило усилий, чтобы сдержать себя…

— Ну, хватит! — пнул офицер казака кулаком, — Иди к черту… Завтра я еще с тобой поговорю.

Казак отошел от есаула. А тот, избрав новые жертвы, начал истязать их.

На следующий день вечером хмельной начальник, конвоя пришел к нам в обнимку с пьяной сестрой милосердия.

— Садись, Люсенька, вот сюда, — указал он ей на парту. Сестра, хихикая, уселась на парту и стала с любопытством смотреть на нас.

Выйдя на середину класса, есаул свирепо оглядел всех.

— Здорово, красные сволочи! — гаркнул он.

На такое приветствие никто не ответил.

— Что-о? — грозно тараща глаза, заорал есаул. — Саботаж устраивать?.. Дисциплины не знаете?.. Я в-вас научу, мерзавцев… Кто из вас добровольцами вступил в Красную Армию, а?.. Поднимай руки!.. Ну?.. Что… никого нет?

Конечно, добровольцев среди нас было немало, но руки никто не хотел поднимать.

— Значит, добровольцев среди вас нет? — злорадно спросил офицер. — Нет?.. Ладно. Врете, подлецы!.. Вижу по мордам, что

добровольцы есть… А кто между вами есть казаки, а?.. Поднимайте руки, сволочи!.. Что-а?., И казаков среди вас нет?.. Ха-ха!.. Посмотрим сейчас… А где тот вчерашний георгиевский кавалер?

— Он захворал, ваше благородие, — осмелился кто-то сказать.

— Захворал?.. А давайте и хворого… Я его вылечу… Ха-ха!.. Люся! Ты можешь полечить? Да вот казак, — увидел вдруг есаул на одном из арестантов штаны с лампасами.

— Эй, иди сюда!..

Маленький, черный, как жук, верткий человечек в штанах с красными лампасами предстал перед хмельным есаулом.

— Казак? — спросил его офицер.

— Никак нет, — отказался тот. — Я из иногородних, солдат.

— Если иногородний, так зачем же надел штаны с лампасами?

— Люблю казачество, ваше благородие, — ухмыльнулся арестант. — Хочь я из иногородних, но всей душой казак… И мать у меня казачка и дядья… Перед арестом своим я надел дядины брюки с лампасами, так это для баловства, да не успел снять, как пришли меня арестовывать. Так в казачьих брюках и заарестовали, увели в тюрьму… И выходит, что я в тюрьме казаком стал.

— В Красной Армии служил?

— Ни единой минуты.

— А за что арестован?

— Да с дедом в неладах были, так он на меня и наклепал, будто я за большевиков стоял… А на хрен они сдались… Я хочь зараз же на переднюю линию супротив них пойду..

— Врешь? — с сомнением посмотрел на него есаул.

— Истинный господь, не брешу… Почему ж мне не пойтить? Казачество могу себе заслужить…

— Как твоя фамилия?

— Коновалов, ваше благородие.

— Ладно, — сказал офицер, — постой здесь. Погляжу, как ты пойдешь против большевиков. — И стал выискивать взглядом кого-то среди нас.

— Мне говорили, что среди вас есть китайцы? — сказал он наконец. — Где они?

Среди нас действительно были два китайца, попавшие в плен к белым. Несчастные, за свое пребывание в плену они перенесли столько побоев, что при виде каждого белогвардейца тряслись как в лихорадке. Мы их прятали от есаула.

— Где китайцы? — взвыл от ярости офицер.

К нему покорно подошли два сильно истощенных китайца.

— А, ходи! — вскричал есаул. — Вот они, проклятые!.. Вы зачем пришли в Россию?.. Что, своей земли не хватает, так вы на чужую заритесь? Сволочи!..

«Раз!.. Раз!..» — начал он хлестать их стеком по лицам.

Китайцы лишь жмурились от ударов, но стояли спокойно.

— Скидайте, мерзавцы, штаны! — приказал им есаул.

Китайцы не поняли его.

— Скидайте штаны! — злясь, повторил он. — Скидайте!.. Спустите им штаны! — крикнул он надзирателям.

Те подбежали к китайцам и расстегнули крючки у их брюк. Штаны упали, оголив желтые, худые, волосатые ноги.

— Лечь на пол! — приказал есаул.

Китайцы покорно вытянулись на полу. Надзиратели завернули им рубахи на спину.

— Люсенька! — захохотал офицер. — Смотри, девочка, сейчас будет самое интересное представление… Я ж тебе обещал… Конвойные!.. Позвать сюда конвоиров!

Вошли четверо казаков, в числе их и мой бывший друг детства, Кодька Бирюков. Теперь на погонах Никодима белели лычки младшего урядника, полученные, видимо, за расстрел Брыкина и других арестантов.

— Всыпать китаезам шомполов! — сказал им есаул. — Да, совсем забыл. Коновалов! — вспомнил он об арестанте, стоявшем рядом. — Ты говорил, что против большевиков пойдешь. Так вот я сейчас проверю, как ты пойдешь против них. Бери шомпол!.. Бери, говорю!.. Сыпь горячих ходям. А потом погляжу, может, и освобожу тебя из тюрьмы… Ну, чего, сволочь, стоишь, не берешь шомпол?.. Бери!.. Бей китайцев!..

— Сам ты сволочь, — спокойно сказал Коновалов.

Мы обомлели, пораженные такой необычной переменой в поведении арестанта. Разве б кто из нас посмел такое сказать есаулу? Обомлел и есаул. Он даже сразу не поверил своим ушам.

— Что-о? — переспросил он. — Кого ты обозвал сволочью?

— Тебя, гада белопогонного! — тонко взвизгнул Коновалов. — За что я должен их бить шомполами?.. А-а?.. Да я допрежде тебя, гадюку, убью, чем их бить!.. Я тебе, дураку, брехал, что я иногородний… Я само настоящий донской казак. Служил в первом советском казачьем полку и немало вас, белых гадов, изничтожил… Жалею, подлюка, что ты мне не попался, срубил бы те голову начисто, как кочан капустный… О-о, проклят… — завопил он, но не закончив, закатил под лоб глаза, хлопнулся на пол и забился в припадке. На губах его появилась пена.

— Припадошный он, — проронил кто-то тихо.

Мы молчали, подавленные этим происшествием. Есаул посмотрел на бившегося в припадке Коновалова и сказал:

— Оттащите его к черту!.. Я с ним еще поговорю…

Арестанты подняли Коновалова и отнесли его к окну.

— Ну, чего стоите? — заревел есаул на конвойных казаков. — Всыпать ходям по сто шомполов!

Два казака присели на головы китайцам, а два других — на ноги. Никодим, держа шомпола наготове, выжидающе посмотрел на есаула. Я из-за спин своих товарищей с ужасом глядел на него.

— Давай! — крикнул начальник конвоя.

Засвистели шомпола.

При каждом ударе китайцы лишь вздрагивали, но не издавали ни звука. Избитых до полусмерти, их по приказанию есаула казаки вытащили во двор и расстреляли.

Подготовка к побегу

Через три дня нас из станицы Тепикинской погнали дальше на юг.

Нас перегоняли из станицы в станицу.

Однажды мне принесли передачу. Вначале я недоумевал, от кого бы это могло быть?.. А потом выяснилось, что от отца.

Отец не терял меня из виду, он двигался за нашей арестантской партией.

Как-то, встретив Никодима Бирюкова, отец рассказал ему обо мне и попросил, чтобы тот помог ему повидаться со мной. Никодим охотно согласился.

Как-то меня вызвали в караульное помещение, где находились наши надзиратели и конвоиры.

Я вздрогнул, когда, войдя в комнату, увидел среди других, конвоиров Никодима, беседовавшего с моим отцом.

— Здорово, друг, — ощерившись в холодной усмешке, протянул мне руку Никодим.

— Здравствуй, — ответил я.

— Ты чего, Александр, — сказал Никодим с укором, — небось, ведь не раз видел меня тут, а не сказался? Боишься, что ли, чудак?.. Допрежде всего я твоя родня, как-никак, а кровь у нас с тобой одна, бирюковская… Кое в чем я все-таки тебе помочь бы мог… Навроде какое облегчение сделать… Хоть ты и свихнулся, но об этом разговор особый… Тут не я тебе судья, а есть начальство и военно-полевой суд… Они разберутся, прав ты или виноват… Ну, покель поговорите тут, а я пойду, вызвал что-то начальник.

Благодаря содействию Никодима мы теперь встречались иногда с отцом в караульном помещении, беседовали минут по десять-пятнадцать.

— Может, Никодима попросить? — прошептал мне отец однажды. — Все-таки он родственник, может быть, поможет тебе бежать?

— Боже тебя упаси, папа! — схватил я его за руку. — Тогда все пропало. Ты мне вот раздобудь где-нибудь пару кокард и пару погон на всякий случай… Может пригодиться.

На следующий день отец принес мне две кокарды.

— А погон нигде не мог раздобыть, — развел он руками.

— Ладно. Обойдусь. Спасибо.

В эту же ночь нас погнали куда-то. Я не успел проститься с отцом. Меня волновало, что он теперь не узнает, куда нас повели.

Мы шли степью. Погода стояла чудесная, теплая. Справа, где-

то, казалось совсем недалеко, ухали пушки. Между арестантами пошел разговор о том, что усть-медведицкий казак Миронов с отрядом красных казаков зашел в тыл белым, чтобы освободить нас.

Нашу партию лишь изредка обгоняли куда-то торопившиеся всадники.

Утро наступило тихое, теплое. Куда ни глянь — голубые сугробы только что выпавшего снега. Растянувшись длинной цепью, мы брели медленно, не спеша. Конвоиры помягчели — они не кричали на отстающих, а иногда даже сажали на подводы.

Идя позади всех, я думал, как убежать. Конвоиры растеряны, напуганы. Если не воспользоваться такой обстановкой, то едва ли представится в будущем подобная возможность.

Сзади меня устало бредет чубатый молодой конвоир.

— Приустал, браток? — спрашивает он меня сочувственно.

— Приболел немного, — говорю я.

Мы идем с ним последними, замыкая печальное шествие.

— Ты откуда, паренек? — спрашивает меня конвоир.

Я сказал.

— Соседи, — смеется конвоир. — Я с Батраковского.

— Как твоя фамилия? — спрашиваю.

— Москалев.

— Москалев?.. А это не твой родственник Александр Москалев, служит в Красной Армии?

— Брат мой.

— Брат?

— Да.

Некоторое время мы идем молча, думая каждый о своем, а быть может, и об одном и том же.

— Я знаю твоего брата, — говорю я. — Он служил в том же полку, в котором служил и я… Хороший парень… Как же это так получилось: он в красных, а ты в белых?

— А ты разве не понимаешь, как? — сердито посмотрел на меня конвоир. — Не успел с братом убежать, а меня белые вот и мобилизовали к себе… Вот и вся история.

— А хочешь к брату попасть?

— Спрашиваешь, — ухмыльнулся конвоир.

Тихо говорю:

— Ты меня проводи по территории белых, а я тебя у красных… Ладно?

Парень молчит, обдумывает. Но вижу, что почти согласен.

— Вы что переваливаетесь, как утки? — кричит сзади сердитый голос. — Гляди, как отстали!

Мы испуганно оглядываемся. Сзади верхом на лошади едет

рыжеусый старший надзиратель. Мы даже и не слышали, как он подъехал.

— Быстренько, быстренько вперед, — говорит он.

Побледнев, конвоир кричит мне:

— А ну, не отставай!.. Пошел рысью!..

Я торопливо нагоняю своих и стараюсь затеряться в толпе арестантов. С досады чуть не плачу. Ведь я же видел, что конвоир был согласен бежать со мной…

Если б только не надзиратель…

В полдень мы взошли на пригорок, с которого открывалась панорама большого раскинувшегося по балке заснеженного хутора. Ко мне подошел Горшков.

— Это хутор Хорошенький, Тишанской станицы, — шепчет он мне. — Надо бежать, пока они еще не очухались.

— Но как?..

— А черт же его знает как, — говорит он. — Посмотрим. Само дело покажет.

Спускаемся с пригорка в хутор. Все улицы запружены отступающими войсками, пушками, обозами, подводами беженцев.

Мы втискиваемся в поток и, часто останавливаясь, тащимся по улице. Среди бегущих белогвардейцев растерянность настолько велика, что на нас никто не обращает внимания.

— Ты не отбивайся, Александр, — говорит Горшков, беря меня за руку. — Тут мы с тобой что-нибудь и придумаем.

И действительно придумали.

Колонна заключенных шла по улице близко к казачьим куреням. Мы с Горшковым были крайними.

Вдруг я увидел в двух шагах от себя распахнутую калитку… Толкнув Горшкова, я шагнул в нее, Горшков за мной… Все произошло очень просто. Мы притаились за воротами, прислушиваясь и пережидая, когда пройдет наша колонна. Потом я вынул из кармана кокарду, прицепил к шапке. Вторую дал Горшкову.

— Молодец! — сказал Горшков и тоже приделал кокарду к своей шапке. — Пошли в хату.

В доме полно казаков. У порога, в углу, свалены в кучу их винтовки и шашки.

— Здорово живете, хозяева! — поздоровался Горшков и, сняв шапку, перекрестился на образа. — Обогреться можно?

— А отчего ж нельзя, — обернулся к нам молодой казак, сидевший за столом. — Обогревайтесь, сколько вашей душе угодно… Проходите!

— Спасибочко, — поблагодарил Горшков. — Мы вот покель у

дверей покурим. Присев у порога на корточки, мы свернули цигарки и закурили.

Казаки, находившиеся в комнате, с любопытством поглядывали на нас.

— Откель будете? — спросил хозяин.

— Из Провоторова, — сказал Горшков. — В госпитале там лежали. Все было тихо… А вчерась ночью, братцы мои, — усмехнулся он, — как забухают из пушек, ну так доразу наш госпиталь и врассыпную, как горох, кто куда… Мы вот с Сашкой, — кивнул он на меня, — до сей поры в себя придти не могем… Насилу добрались сюда… Спины мокрые….

Казаки рассмеялись.

— Да он, односумы, Миронов-то, распужал не только одних нас, — ухмыльнулся рябоватый казак с серебряной серьгой в правом ухе. — Мы стояли в Тепикинской станице навроде в резерве, так он, проклятущий этот Миронов, так за нами разогнал, что мы до сей поры очухаться не могем… Вот сколько ни нагоняем свой полк, никак не догоним… Должно, уже под Новочеркасском драпает…

Казаки снова дружно захохотали.

— Народ болтает, — проронил один из казаков, — что этот Миронов дюже боевой… А в его дивизии-то все на подбор донские казаки.

— Гутарят, будто он сам-то из полковников не то из генералов, — промолвил второй.

— Да нет, — отозвался из-за стола хозяин, запивая обед молоком. — Мне ж с ним довелось на германской немного служить… Он войсковой старшина… Однова у нас командира полка замещал, когда тот был раненый…

Все с любопытством посмотрели на хозяина.

— Ну, а какой же он из себя?..

— Он в самом деле боевой, — важно сказал хозяин, польщенный тем, что невольно стал центром внимания. — Такой это видный мужчина из себя… Черную бороду носит…

— Ишь ты! — удивленно покачивали головой казаки.

— Сколько ему годов-то будет, а? — спросил казак с серьгой.

— Да более сорока ему… Может, под сорок пять…

— Должно, у этого Миронова силов много, — заметил снова казак с серьгой, — раз он так нас гонит.

— Дело не только в этом, — проговорил молчавший до этой минуты молодой казак с курчавой головой. — Может, у Миронова силы-то и есть, конечно. Но главное тут дело в том, что супротив Краснова восстали казаки Верхне-Донского, Мигулинского и Казанского полков… Они бросили фронт, вошли в Вешенскую

станицу и выгнали оттуда штаб командующего фронтом… Вот потому-то мы и отступаем, что образовался прорыв, в какой вошел со своими казаками Миронов.

— Да ну? — удивились казаки. — Откуда ты все это знаешь-то?

— Да вот зараз, перед тем как сюда заехать, одного знакомого офицера повстречал… Он-то мне обо всем и рассказал.

— Это истинная правда, — кивнул хозяин, вылезая из-за стола. — Слыхал я о том же ныне…

Казаки завздыхали.

— Да, де-ела…

— Ну что, больные, может, щец похлебать хотите, а?.. — спросил у нас хозяин.

— Да не отказались бы, — отозвался Горшков.

— Налей им, жена, — сказал хозяин молодой казачке с заплаканными глазами, стоявшей у дверей горницы.

— Садитесь, — пригласила та и налила в миску щей, поставила ее на стол перед нами, нарезала хлеба.

Мы не заставили себя долго упрашивать и уселись за стол.

Щи были вкусные, ароматные. Мы с Горшковым с удовольствием работали ложками.

— Ну, братцы, — поднялся со скамьи один из казаков, — погрелись, побыли, а теперь пошли к кобыле… Надобно ехать.

— Надо и мне, Луша, ехать, — тоскливо взглянул на жену хозяин.

Казачка заплакала. Опасливо посмотрев на нас, она поманила мужа в горницу, закрыла за собой дверь и что-то стала говорить ему.

— Упрашивает, наверно, остаться дома, — шепнул Горшков.

— Нет, Лушенька, — послышался из горницы приглушенный голос мужа. — Боюсь… Истинный бог, боюсь. Оно, может, они, конешное дело, и не тронут, а все же страшно оставаться… А ну-ка возьмут да к стенке и поставят. Хлопнут ни за что ни про что, и ваших нет… Поеду, милушка…

Женщина зарыдала.

— Ты, голубушка, дюже-то не убивайся… — слышался голос казака. — Я далеко-то не поеду… Доеду до свата Егора, ежели и оттуда будут отступать, то у свата и останусь.

— Побожись! — потребовала жена.

— Вот, ей-богу, не поеду дальше в отступ, — поклялся муж. — Разрази меня господь, коль брешу… Ежели заберут красные и отпустят меня, стало быть, приеду домой… А нет, так, может, служить у них останусь…

Казак оделся, накинул на плечо ремень шашки и,

попрощавшись с женой, вышел.

Посидев еще с час, мы тоже пошли на улицу.

Из огня да в полымя

Нас поразила тишина в хуторе. Улицы были пустынны. Еще какой-нибудь час тому назад все тут гудело от многоголосого шума и гама. Хутор был забит народом, подводами, пушками, фургонами… А сейчас все куда-то исчезло, сгинуло, словно провалилось в тартарары.

— Куда же мы теперь пойдем? — спросил я у своего спутника.

— Надо где-нибудь заночевать, — сказал Горшков. — А к утру, на наше счастье, может, и красные придут.

Мы пошли вдоль пустынной улицы, выбирая дом, где бы можно было переночевать.

— Вот сюда зайдем, — указал Горшков на нарядный, крытый оцинкованным железом, большой дом.

— Давай, — согласился я. — Наверное, хозяева-то накормят нас.

Мы вошли в дом и, к своему огорчению, увидели, что в кухне много народу. Люди сидели за столом и торопливо ели.

Мы и рады были бы уйти, да поздно.

— Здравствуйте, хозяева! — сняв шапку, сказал Горшков.

— Здравствуйте, — ответил дородный старик с патриаршей бородой, подходя к нам. — Чего хорошего скажете, служивые?..

— Да мы, дедушка хотели было попроситься ночевать, — нерешительно проговорил Горшков. — Да, видишь, народу-то у вас сколько… Извиняй, дедушка!.. Пойдем, видно…

— Погоди, — сказал старик. — Кто такие?.. Откель будете?

— Да вот больные, — начал Горшков придуманную им историю. — Лежали в госпитале.

Старик выслушал и сказал:

— Ладно, ночуйте. Вот на этой кровати и будете спать, — указал он на широкую, покрытую дерюгой деревянную кровать, стоявшую на кухне. А они зараз уедут… Это беженцы. Поедят и уедут… Раздевайтесь, обогревайтесь…

Мы разделись и присели у печки. Люди, сидевшие за столом, закончив еду, собрались и вышли.

Нас накормили, и мы легли спать.

В полночь на разбудил громкий и настойчивый стук в дверь.

— Уж не красные ли? — прошептал мне на ухо Горшков.

Хозяин, кряхтя, слез с печи, надел валенки, вышел в чулан.

— Кто это? — спросил он.

— Открывай, хозяин! — донесся со двора голос. — Генерал Гусельщиков со своим штабом в вашем доме остановится.

— Ой, боже мой! — прошептал Горшков. — Вот попали так попали — из огня да в полымя… В отряде Гусельщикова служат одни добровольцы-головорезы, юнкера да офицерье… Постреляют они нас, как собак.

Старик открыл дверь. Внося с собой морозный воздух, в комнату с шумом и оживленным говором ввалилась толпа белогвардейцев.

— Зажигай-ка, хозяин, свет да проведи нас в горницу, — сказал кто-то, кашляя.

Старик чиркнул спичкой. Жидкое пламя ее осветило человек двадцать закутанных в башлыки офицеров, стоявших в комнате. Среди них, хмуро глядя на хозяина, зажигавшего лампу, стоял низкорослый бородатый генерал.

«Наверно, это сам Гусельщиков», — подумал я.

Неся в руках лампу, старик повел офицеров в горницу. Поднялась с постели старуха, стала варить яйца, кипятить самовар.

Со двора слышались собачий лай, грубая ругань, ржание лошадей.

Вскипел ведерный самовар, хозяйка отнесла его в горницу. Офицеры принялись ужинать, пить чай. Между ними завязался оживленный разговор.

— Вот это, скажу вам, господа, было сраженьице так сраженьице, — пробубнил глуховатый голос. — Я всю германскую войну пробыл на позициях, не раз в атаках был, не раз видал смерть в глаза. Да и с начала гражданской войны на Дону не слезаю с коня. Не раз сталкивался с глазу на глаз с красными мерзавцами, а такого боя, как нынешний, еще не видывал… Ей-богу, не видывал!.

— Черт знает что, — перебил его звонкий молодой голос. — На красных прямо нашло что-то. Прут и прут… Мы их косим из пулеметов, а они лезут… У нас даже пулеметы раскалились докрасна… Сколько мы их положили, боже мой! Горы…

— Но наших тоже немало полегло, — заметил кто-то.

— Не без этого, конечно, — прозвучал чей-то баритон. — С нашей стороны тоже есть потери, но не такие, как у красных… У них раз в пять больше.

— Господа! — воскликнул новый собеседник. — А мы со своим батальоном пошли в атаку на краснопузых и отхватили их человек двести, вероятно… По натуре я на что уж человек гуманный, терпеть не могу жестокостей… Но тут при виде этих башибузуков, кощунствующих в храмах господних, залезающих в сундуки мирных жителей, насилующих, быть может, наших сестер, жен, матерей…

— И бабушек, — подсказал кто-то.

— Возможно, и бабушек, — не поняв иронии, под хохот офицеров азартно выкрикнул говоривший. — А что вы смеетесь, господа? Я хочу сказать, что я гуманист, а при виде этих зверских морд с каким-то наслаждением рубил их шашкой.

— Всех порубили?

— Всех.

— Молодцы!

Из разговора офицеров я понял, что они только что вышли из жестокого, упорного боя и были полны впечатлений.

Со двора, тихо переговариваясь, стали входить денщики с офицерскими чемоданами, вестовые со штабными документами… Они тоже были под впечатлением боя и не прекращали разговора о нем. Разостлав на полу шинели, они стали укладываться спать.

Мы с Горшковым притворились спящими.

Нам необходимо было скорее уйти отсюда, но как это сделать?

— Кто это? — спросил вдруг один из офицеров, указывая на нас.

— Да казаки это, больные, лазарет уехал, а они отстали от него, — пояснил старик.

— Гм… Надо бы проверить их документы, — пробормотал офицер. — Ну, ладно, завтра проверим.

Дождавшись, когда в доме все угомонились и отовсюду слышался храп, мы поднялись с Горшковым с кровати, быстро оделись, и, шагая через распластанные тела спящих на полу солдат, вышли.

— Ух! — с облегчением вздохнул Горшков, когда мы с ним выбрались наконец на улицу. — Вот попали так попали… Как куры во щи… Я думал, что нам с тобой, Саша, уже все, конец.

Было тихое морозное утро. Все — и хаты с нахлюпанными на них снежными шапками, и посеребренные инеем деревья стояли в задумчивом оцепенении. Из края в край по хутору звонко перекликались петухи. В воздухе чувствовался запах кизячной гари. Видимо, кое-где хозяйки уже затопили печи.

— Да, — покачивал головой Горшков. — Попали было из огня да в полымя.

— Подожди еще радоваться, — сказал я. — Мы из этого полымя-то еще не выбрались.

Будто в подтверждение моих слов, перед нами, как из-под земли, появился вдруг белогвардейский патруль.

— Что за люди? — обратились они к нам.

— Свои, — сказал Горшков и начал рассказывать уже много раз использованную историю о госпитале, бросившем нас.

Он так наловчился врать об этом, что не только слушатели, но, я думаю, и сам он верил в это.

— Вот и нагоняем теперь свой госпиталь, — заключил Горшков.

— Вы особенно-то тут не прохлаждайтесь, — предупредил начальник патруля. — А то мы скоро уйдем из хутора… А мы последние, за нами следом идут красные… Если они вас поймают — расстреляют.

— Это вы правильно говорите, — согласился Горшков с доводами патрульного. — Мы вот зараз зайдем куда-нибудь молочка купить, да и тронем в дорогу.

— А где вы его купите, молока-то? — рассмеялся солдат. — Наши все тут объели… Ну, ладно, пошли, — сказал он своим товарищам, и они исчезли во мгле утра.

Обождав на улице, пока рассвело совсем, мы стали заходить подряд во все казачьи курени, конечно, не для того, чтобы достать молока, а затем, чтобы перебыть некоторое время. Но куда бы мы ни заходили, нам везде отказывали. В каждом доме были солдаты Гусельщикова.

— Вот дьяволы, — злился Горшков. — Проклятые, понабились везде. Нам, Сашка, надобно с тобой обязательно проволынить тут до ухода отряда Гусельщикова… В этом хуторе и дождемся красных.

На краю одной из улиц мы заметили ветхую землянушку, из трубы которой клубами валил дым.

— Тут, должно быть, нет солдат, — сказал я, указывая на нее. — Наверно, живут бедные люди, беляки на этот дом и не позарятся.

Но я ошибся. Когда мы вошли в землянку, то оказалось, что в ней полно офицеров и юнкеров…

Посреди хаты весело бурлил самогонный аппарат. Около него орудовал хозяин, небольшого роста, юркий казачок.

Он то подкладывал под аппарат дрова, то подставлял под вытекающую из желобка струйку самогона огромную чашку. Вся хата была пропитана кислым сивушным запахом.

Самогон-то, видимо, и привлек сюда белогвардейцев. Они сидели за столом и пили.

— Здорово живете! — поздоровался Горшков.

— Слава богу! — ответил казачок, отрываясь от аппарата. — Чего скажете?.. Не за самогоном ли?..

— Да нет, — отмахнулся Горшков. — Мы больные. Из госпиталя вот… Не до водки нам… Это мы было зашли попросить разрешения обогреться.

— А чего ж, — радушно сказал казачок. — Обогревайтесь…

Лезьте вон на печь.

— Полезли, — прошептал мне Горшков, — полежим.

Мы не стали ждать нового приглашения. Разделись, разулись и залезли на горячую печь…

Хозяин суетился около самогонного аппарата. Он подставлял под желобок все новые и новые бутылки и тут же продавал самогон юнкерам и офицерам.

Мы с Горшковым уже задремали, когда неожиданно услышали крики юнкеров и офицеров, обращенные к нам:

— Эй, казаки! Чего вы забрались на печь? Идите-ка выпейте с нами.

— Идите выпейте!.. Ну, идите!.. Чего там!..

Горшков слез с печки и подсел к столу. Я же отказался принять участие в выпивке. Видя мою молодость, юнкера не особенно и настаивали.

Но ко мне так пристал один парень с кантами вольноопределяющегося, что полстакана противного самогона мне все-таки пришлось хлебнуть.

Я уже засыпал, когда вдруг меня стал будить чем-то обрадованный, немного охмелевший от самогона, Горшков.

— Вставай, Саша!.. Вставай, дорогой, дело есть…

Я оделся, и мы с ним вышли во двор. Там нас поджидали два молодых казака — станичники Горшкова, его соседи.

Совершенно случайно только что с ними встретился Горшков. Войдя в хату, они увидели своего земляка. Потом они все вместе вышли во двор и тут же сразу обо всем договорились.

Горшков откровенно рассказал им, что мы бежали из тюрьмы и вот теперь ждем красных. Молодые казаки в свою очередь заявили, что не против тоже перейти к ним.

Оба казака служили в Новочеркасске во 2-м пластунском Донском казачьем полку. Были отпущены вчетвером по одному документу в отпуск домой. Но по пути два казака от них отстали. И вот теперь они блуждают вдвоем.

— Стой, ребята! — воскликнул Горшков, когда ему стало известно об этом документе. — Ведь вы ж нас выручите… Ну-ка, покажьте документ…

Низенький, плотный, рыжеватый Плешаков достал из кармана отпускное удостоверение, Горшков пробежал его глазами.

— Так, стало быть, документ на Плешакова, Редина, Безбородова и Ребрина… Значит, так: я — Безбородов Влас, а ты Александр — Ребрин Макар… Понял, Ребрин Макар?

— Понял, — кивнул я.

Опасное положение

Договорившись обо всем с Плешаковым и его товарищем Рединым, мы теперь смело и бодро двинулись по улице. Как-никак, а теперь у нас был документ.

— А куда же мы все-таки пойдем? — остановился Плешаков. — Деваться-то нам некуда… Надо дождаться, когда отсюда выберется отряд Гусельщикова.

— Черт его знает, — в раздумье сказали Горшков. — Где-нибудь надо обождать… А где?.. Везде переполнено…

— А вон, односумы, глядите, — указал Редин, высоченный парень с маленьким смуглым, как у цыгана, лицом, на три домика, стоявших на отшибе, километрах в двух от хутора, — туда юнкера наверняка побоятся забиваться, там, должно, никого нет… Пошли!..

— А ведь и в самом деле, там, должно быть, никого нет, — согласился с доводами Редина и Горшков. Пошли, друзья!.. Там перебудем, покель не уйдет Гусельщиков со своими бандюгами.

Мы торопливо направились к этим домикам. Но когда пришли туда, то, к нашему огорчению, оказалось, что все они были переполнены юнкерами.

— Не повезло, — сказал Плешаков. — Ну что делать, пошли опять в хутор. Может, все-таки найдем там местечко, где бы можно перебыть.

По дороге нам встретился бородатый пожилой казак в дубленом тулупе, шедший с хутора.

— Здорово служивые! — приветствовал он нас весело.

— Здравствуй, отец! — ответил Горшков.

— Чего же, служивые, не нравится у нас?

— Да у вас и притулиться негде, — промолвил Плешаков. — Все дома обошли, везде переполнено… Возвертаемся на хутор.

— Это правду гутаришь, — согласился старик. — Юнкера все хаты забили… А вы откель, казаки, будете, а?

— Да разных станиц мы, — невесело произнес Горшков.

— А где служили?.. В каком полку?

— Да служили-то мы, отец, в самом Новочеркасске, — сказал Плешаков.

— Да что ты! — оживился старик. — А ведь мой сын тоже в Новочеркасске служит…

— Где же он там служит? — полюбопытствовал молчаливый Редин.

— Во втором Донском казачьем пластунском полку, — ответил старик.

Мы изумленно переглянулись.

— Во втором пластунском? — переспросил Плешаков. — А как фамилия твоего сына?..

— Родимин.

— Иван?

— Иван, — ответил старик и радостно всплеснул руками. — Неужто знаешь его, а?

— Как же не знать, отец, мы же с ним в одном взводе служим.

— И давно вы его видали?! — воскликнул старик.

— Ден пять назад.

— Ах ты, боже мой! — возликовал старик. — Да ведь это ж, ежели сказать о том моим бабам, так они прям от радости одуреют… Как же он там, сынок-то мой, жив-здоров, а?

— А чего ему подеется, — сказал Плешаков. — Здоров, конечно. Ежели б не это отступление, то, глядишь, недели через две мог бы в отпуск приехать к вам.

— Да что ты!.. Вот радость была бы… А вы-то, служивые, как сюда попали, а?

— Тоже в отпуск ехали домой, да вот, видишь, не вовремя.

— Ну, прям, казаки, вы ублажили мое сердце, как сказали мне про моего Ванятку… Пойдемте к нам… Я вот в этом доме живу… Пойдемте, ради бога, расскажите моим бабам о Ванятке.

— Да что ж нам идти к тебе, — сказал Горшков. — Были ж мы… Вся хата забита юнкерами.

— Найдем место для таких дорогих гостей, — подмигнул хитро старик. — У нас есть горница. Мы, правда, в ней хочь и не живем, на вроде холодно там… Но ничего, пообедать там будет можно… Для такого дела и перваку самогона найдем. Милости прошу, пойдемте!

Перспектива пообедать да еще с самогоном привлекла моих товарищей. Мы пошли со стариком в его курень.

Старик привел нас в нетопленную горницу.

Туда же он привел свою старуху и молодую сноху; жену сына Ивана, и рассказал им о том, что мы — его однополчане. Женщины заохали, заахали, подсели к нам., стали расспрашивать о своем служивом.

Плешаков обо всем обстоятельно рассказал им.

— Здоров ваш Иван, как бык, — в заключение сказал он.

— Ну, слава богу! — перекрестилась старуха. — Садитесь за стол, зараз позавтракаете… Настюша, полезь-ка, голубушка, в погреб… достань там огурчиков да две бутылки самогона. Знаешь, там, за кадкой…

Мы уселись за стол, на котором тотчас же, как по волшебству, появились холодец, огурцы, яйца, вареники в сметане…

И вот в самый разгар нашего пиршества в горницу вдруг входят трое вооруженных юнкеров.

— Что вы за люди такие? — хмуро спросил нас высокий юнкер с толстыми яркими губами.

Плешаков, а за ним и все мы предъявили удостоверения.

— Ну, хорошо, предположим, документы ваши в порядке, — проворчал юнкер. — Но а почему вы, господа, до сих пор здесь прохлаждаетесь?

— Это верно, — заметил Плешаков. — Что верно та верно. Нам уже давно пора отсюда уходить… Засиделись… Пора в путь-дорогу… Спасибочко большое вам, хозяин и хозяюшка, за хлеб-соль!.. Вашему сынку передадим от вас душевный поклон… Прощевайте!..

Мы поднялись из-за стола, стали прощаться с гостеприимными хозяевами.

На дорогу они дали нам харчей. Собрали небольшую посылочку и для сына своего, Ивана.

— Добрый вам путь, дорогие!.. — напутствовали нас старики. — Уж поклон-то передавайте ему, нашему сыночку. Спасибо за весточку.

…Когда мы вошли в хутор, то нам показалось, что в нем стало пустыннее, чем было до этого. Видимо, часть отряда Гусельщикова уже ушла, но арьергард оставался еще здесь. Солдаты шныряли по хутору.

— Куда же мы теперь пойдем? — спросил Редин, останавливаясь посреди улицы. — Опять в какой-нибудь дом?..

— Пошли вот по той дороге, — махнул Плешаков на пригорок, с которого мы вчера в колонне арестованных спускались в хутор.

— С ума ты сошел, Васька! — ужаснулся Горшков. — Ведь это дорога-то прямо к красным… Как начнем подниматься, так нас белогвардейцы из хутора всех постреляют.

— Да брось ты, постреляют, — с пренебрежением отмахнулся Плешаков. — Слабо им нас пострелять.

— Ну и храбрец же ты, посмотрю я на тебя, — укоризненно покачал головой Горшков.

— Как, ребята, пошли, а? — глянул на меня и на Редина Плешаков.

— Пошли, — решительно заявил я.

— Пошли, — сказал и всегда сдержанный Редин.

— Ну, что, Петро, пойдешь с нами али останешься тут? — насмешливо посмотрел Плешаков на Горшкова.

Тот молча двинулся вслед за нами.

Приключения в дороге

Мы решили идти навстречу Красной Армии. Выйдя из хутора, мы должны были с километр пройти, поднимаясь на пригорок. И если б белогвардейцам вздумалось, они могли б нас всех перестрелять. Но почему же они этого не сделали? Странно и непонятно.

Отошли мы от хутора уже километров на пять спокойно, без приключений. Никто нас не останавливал.

Вдруг я заметил впереди всадников. Они скакали по дороге к нам.

— Ура-а! — крикнул я, подбрасывая вверх шапку. — Ура-а! Смотрите!..

— Красные разведчики! — сказал Плешаков.

Мы чуть ли не бежали навстречу всадникам. Вдруг Горшков приостановился и упавшим голосом сказал:

— Ребята, так ведь это же не красные… Глядите, у них погоны. Всадники, которых было человек пятнадцать, теперь настолько уже приблизились, что мы увидели на их шинелях погоны и белые повязки на шапках.

Настроение у нас сразу упало, радость погасла.

— Постреляют, — проныл Редин.

— Не скули! — оборвал его Плешаков. — Спросят, куда идем, скажем, заплутали… Вы молчите, я буду сам с ними говорить.

Мы продолжали молча идти вперед, с тревожным сердцем поджидая роковой встречи.

— А, может, все-таки красные, а? — сказал я.

— А погоны?

— Нарочно надели… Бывает ведь так…

— Посмотрим, — буркнул Плешаков, всматриваясь в подъезжавшего к нам всадника, закутанного в башлык. По погонам и заиндевелому чубу мы сразу же признали в нем казака.

— Тпру! — остановил он коня. — Здравствуйте!.. Куда вас дьявол несет?..

— Да, понимаешь ли, какая штука, станичник, — начал Плешаков. — Пробираемся вот из Новочеркасска… Служим там во втором пластунском полку… В отпуск нас отпустили домой…

— А какой вы станицы?

— Котовской.

— Так куда же вы прете?.. Что вы, ай не знаете, что там давно красные?

— А черт ее знает, — сказал Плешаков, — где зараз белые, где красные. Все перемешалось… Вчерась зашли в этот хутор, —

махнул он назад, — так там такая кутерьма, что и понять ничего не поймешь… Навроде отряд генерала Гусельщикова там стоит… Как черти злые… И не подлезешь к ним… А ныне встали утром, спросили одного старика, где б нам, мол, пройтить, чтоб на красных не напороться, вот он и указал эту дорогу.

Казак захохотал.

— Вот брехунец-то.

Подъехали остальные всадники, окружили нас.

— Слышите, станичники, — смеясь, сказал им первый казак, — вот они говорят, что, мол, от красных убегают…

Казаки засмеялись.

— У них отступ, стало быть, получается как у рака, — добродушно смеялся один из казаков. — Рак пятится назад, так и они… Мы от красных, а они к красным.

Посмеиваясь, казаки балагурили, шутили с нами. Настроены они были миролюбиво. Видя это, мы ободрились.

— Ну, ладно, — сказал первый казак. — Чего там с ними шутковать… Мы ж понимаем, куда вы клоните, — подмигнул он нам. — К Миронову намерены перейти… К нему зараз наши казаки сотнями переходят… По правде ежели сказать, так мы тоже дальше этого хутора никуда не поедем… Дождемся там красных. Боязно, правда, но что делать. Надо… Офицерье наше бросило нас… Только вот что я вам, станичники, скажу: вы по дороге этой не идите, а то вы напоритесь на отряд Мешкова… Зараз мы его обогнали… У него тоже, как и у Гусельщикова, все добровольцы… Злые, как дьяволы. Порубают еще вас… Вот сейчас же свертывайте с дороги вправо и так целиной идите, покель не обойдете мешковский отряд… Это вам наш совет… Прощевайте!

Распрощавшись с нами, казаки поскакали к хутору.

Проводив их взглядом, Горшков снял шапку, перекрестился.

— Все-таки есть бог на свете, — сказал он, с облегчением вздыхая. — Так и думал, что все, подошел конец жизни… Ан бог послал людей хороших.

— Ничего, Петро, — хлопнул его ладонью по спине Плешаков. — Поживем еще!.. Бог-то бог, да сам не будь плох.

* * *

По заснеженной степи вправо от дороги вилась едва приметная, занесенная порошей тропка. Куда она бежала, мы не знали, но решили идти по ней… Куда выведет!

Шли мы часа два. А потом увидели кудрявый дымок, поднимающийся над небольшой, опушенной снегом рощицей. Мы

ускорили шаг.

За пригорком, окруженный деревьями, стоял небольшой хуторок. В нем было домов пять-шесть, не больше.

Мы выбрали домик с голубыми ставнями и направились к нему. Во, дворе заметили на привязи нескольких оседланных лошадей, жевавших сено. Значит, в доме есть белогвардейцы. Но не возвращаться же нам? Мы вошли в дом. Семья сидела за столом, обедала. У двери расположились трое вооруженных казаков, они курили.

— Здравствуйте, хозяева! — сказал Плешаков, взявший на себя роль нашего руководителя. — Хлеб да соль!

— Спасибочко! — отозвался из-за стола чернобородый крупный казак лет пятидесяти. — Пожалуйте снами кушать.

Плешаков ухмыльнулся.

— Да ежели б покормили, мы бы супротив ничего не имели. Проголодались.

— А вот зараз мы вылезем из-за стола, тогда и вас накормят бабы, — сказал хозяин.

Как и везде, нас начали расспрашивать, кто мы такие, откуда, куда путь держим… Плешаков был мастер плести небылицы. Семья пообедала, хозяйка налила в большую миску борща и пригласила нас к столу.

Пока мы обедали, хозяйский сын, молодой казак, стал собираться в дорогу. Сидевшие у двери казаки, видимо, его-то и поджидали.

Одевшись, он вышел во двор вместе с ними.

Вся семья пошла провожать своего служивого. Мы остались в комнате одни.

— Вот, друзья, — сказал Горшков, — остаться б нам. Тут бы и дождались прихода Красной Армии.

— Это дело, — согласился Плешаков. — Правильно гутаришь.

Напротив дома, в котором мы сейчас находились, стояла хата с забитыми окнами. Указывая на нее, я сказал:

— В этом доме, наверное, никто не живет… Вот бы нам туда перебраться… Там бы и перебыли до прихода красных.

— И это дело, — согласился снова Плешаков. — Надо об этом подумковать.

Проводив сына, хозяин с семьей вернулся в комнату. Горшков спросил у него:

— А что это хата-то напротив пустая? Никто в ней не живет, что ли?..

— Хозяева выехали оттель совсем, — пояснил казак. — Живут в Новочеркасске… А чего это вы заинтересовались этим, а?..

— Да, видишь, хозяин, в чем дело-то, — сказал Плешаков, — признаться, дюже мы устали. Все отступаем и отступаем от красных, измучились. Охота была б поспать часок… Вас-то мы не хотели б беспокоить… А вот ежели бы нам в этой хате поспать, никому б и не помешали.

— Да ведь там холодно, — заметил хозяин.

— А ежели б протопить соломой?

— А что ж, — подумал хозяин, — это дело можно сварганить… Ключ-то у меня от той хаты… И соломы могу дать… Только вот не боитесь красных-то?.. Могут ведь наскочить.

— Красные еще далеко, — сказал Плешаков. — Мы б успели отдохнуть немного… А то ежели мы не отдохнем, так свалимся где-нибудь на дороге.

— Как хотите…

Хозяин пошел с нами, открыл хату, показал, где взять соломы. Мы затопили печь, попросив у казака котел, вскипятили чай и начали чаевничать.

Так мы блаженствовали с час. Вдруг Горшков всполошился, подбежал к окошку. На улице стоял какой-то всадник, разговаривал с нашим хозяином.

— Это он про нас говорит, — сказал Горшков. — Надо удирать!.. Проклятый казак донес!..

Всадник, многозначительно кивнув на нашу хату, помчался куда-то. Плешаков выбежал в сени узнать, кто это. Тотчас же он вернулся и таинственно поманил нас.

— Пойдите-ка сюда!

Мы вышли в сени. Плешаков, открыв дверь, указал:

— Смотрите!

Километрах в трех-четырех от нас пролегала дорога, по которой шли сейчас войска по направлению к хутору Хорошенькому.

— Вот это, наверно, и есть отряд генерала Мешкова, — сказал я.

— Определенно, — мотнул головой Горшков. — Быстро собирайся!.. Пошли!.. А то нас тут, как кур, переловят…

В одно мгновение мы оделись и, забрав свои узелки, выбежали из хаты.

— Пошли за мной, односумы! — сказал Плешаков. — Надо бы хозяину этому бока намять, да черт уж с ним… Навроде все-таки покормил нас.

Шли мы быстро, иногда даже бежали рысью, часто оглядывались — не гонятся ли за нами. Но погони пока не было…

Мы отошли от хутора, видимо, уже километра на три-четыре и продвигались по краю балки, сплошь заросшей кустарником.

Вдруг на противоположной стороне балки часто застучали выстрелы. Пули просвистели у нас над головой.

— Погоня! — крикнул Плешаков и, пригнувшись, ринулся вниз, в кусты.

Мы последовали за ним.

Перед вечером мы остановились у хорошо укатанной дороги, перерезавшей нам путь.

— Что будем делать, братцы? — сказал Плешаков и почесал в затылке. — Куда пойдем: направо или налево, а?.. Налево пойдешь — смерть получишь в лоб, а ежели направо — так в затылок…

Из затруднительного положения нас вывел казак, ехавший по дороге в санях.

— Здорово, односум! — приветствовал его Плешаков. — Остановись!

— Слава богу! — ответил тот, приостанавливая лошадь, настороженно вглядываясь в нас.

— Ты куда едешь, станишник?

— В Луковскую станицу.

— А кто там сейчас: белые или красные?

— Ни красных, ни белых у нас зараз нету, — ответил казак.

— А далеко ли до Луковской? — спросил у него Плешаков.

— Да верст десять будет…

— Будь добр, подвези нас… Можно?..

— Да садитесь, — сказал казак. — Мне не жалко.

Часа через два мы были в Луковской. Переночевали там. Утром направились в Урюпинскую.

Усталые, измученные, к вечеру мы пришли в окружную станицу. Я повел своих друзей ночевать к моим родственникам, Юриным.

Утром мы все четверо отправились к военному комиссару. Нам выдали справки и отпустили домой.

В комитете бедноты

Недели две-три я отдыхал дома, отсыпался, набирался сил.

Однажды мне принесли из станичного ревкома записку, просили зайти к самому председателю, Земцову Матвею Афанасьевичу.

Хотя я за собой никакой вины и не чувствовал, но всполошился не на шутку. Матвей Афанасьевич был человек суровый, угрюмый. Его все побаивались.

«Зачем это он меня вызывает?» — думал я встревоженно.

На следующий день я пошел в станицу. Секретарь ревкома доложил обо мне Земцову. Тот велел впустить меня к нему в кабинет.

— Садись, — кивнул на стул Земцов.

Я робко присел на табурет.

Председатель ревкома из-под лохматых, кустистых бровей посмотрел на меня внимательно.

— Вот что, Александр, — сказал он, — я давно присматриваюсь к тебе. Надо тебе каким-нибудь делом заниматься… Парень ты грамотный, бедняк из бедняков… Беднее тебя вряд ли в хуторе есть кто… Наш, в общем, парень… Нам такие, как ты, нужны… Понял?

— Понял.

«К чему это он все?» — думал я.

— Хочу тебе одну работенку дать, друг.

— Какую, Матвей Афанасьевич?

— В станичный комитет бедноты хочу послать тебя… Понял?

— Рее понятно, Матвей Афанасьевич, — ответил я. — Но ведь я еще никогда нигде не работал до этого… Справлюсь ли я с работой?

— Справишься. Как это не справишься? Грамотный человек, и вдруг не справишься… Иди работай. В случае чего, ежели что будет непонятно, приходи ко мне — поможем.

— На какой же должности я буду там работать? — спросил я.

— Да, на какой должности?.. Я тебе не сказал? Секретарем комитета будешь работать… Все дела комитета на твоих руках будут… Понял? Понимаешь, какая ответственность?.. Председателем комитета бедноты будет Затямин Митрофан, — пояснил председатель ревкома. — Знаешь его? С нашего хутора… Но он человек малограмотный, все дела на тебе будут лежать.

Затямина Митрофана я знал хорошо. Это был уже немолодой казак, умный, честный человек, один из беднейших в хуторе.

— Ну, все я тебе объяснил — поднялся Земцов со стула,

подавая руку. — До свидания! Желаю успеха в работе. Секретарь ревкома покажет, где комитет.

Я пожал руку Матвея Афанасьевича и вышел из его кабинета.

Секретарь ревкома привел меня в пустую комнату, где, кроме старенького стола и хромоногого стула, ничего не было.

— Вот ваш комитет, — сказал он и засмеялся, — садись и работай.

— Да как же — работай, — сказал я растерянно. — Ни пера, ни чернил, ни бумаги нет.

— Ну, это все, брат, надо добывать, — наставительно произнес секретарь. — А ты как же думал? На готовенькое хотите сесть? Сейчас, брат, время такое… Нигде ничего нет… Я вот тоже добываю канцелярские принадлежности, где что попадется…

Но, видя, что его слова на меня действуют удручающе, он снисходительно похлопал меня по плечу.

— Ну, ничего. На первых порах я тебе дам перо, бумаги листов пять, да найди флакончик, чернил тебе отолью… А потом ты сам приноровишься, сумеешь у кулаков все это доставать.

Вот так и начал я работать в станичном комитете бедноты, толком даже не представляя, что должен делать наш комитет, каковы его цели и задачи. А позже жизнь подсказала, что надо делать, научила всему.

Комитет наш состоял из девяти членов, председателя и секретаря, выдвинутых из беднейших слоев населения. Вокруг комитета образовался крепкий, надежный актив.

Беднота энергично помогала рабочим продотрядам разыскивать припрятанный кулаками хлеб.

Немало тогда было разоблачено кулаков, незаконно пользовавшихся большими участками земли. Наш комитет отбирал эту землю и раздавал ее малоземельным казакам.

Мы с председателем комитета редко бывали в станице, постоянно разъезжали по хуторам, собирали бедноту, беседовали с ней, сплачивая ее вокруг хуторских комбедов.

Вполне понятно, что такие действия нашего комитета не могли понравиться кулакам.

Однажды по делам комитета я поехал верхом на хутор Уваровский, где комиссаром хуторского ревкома в то время работал мой друг, Алексей Марушкин.

После того как я, выполнив свои дела на Уваровском, собирался уже уезжать в станицу, Алексей сказал:

— Пойдем ко мне, пообедаем, а кстати, и разговор есть с тобой.

Я не отказался, и мы пошли на квартиру к Алексею. В опрятной, чистой горнице, заставленной кадками с фикусами и

геранью, было прохладно, уютно.

Хозяйка собрала нам обед.

— Пожалте, — сказала она, — кушайте, что бог послал.

Я был голоден и с удовольствием принялся за ароматный борщ, который так вкусно могут готовить только казачки на Дону. Но друг мой, Алексей, ел с неохотой. Он заметно был чем-то расстроен.

— Ты чего, Алеша, невеселый? — спросил я у него.

Марушкин покосился на открытую дверь, поднялся и плотно прикрыл ее.

— Будешь невеселый, — буркнул он, возвращаясь к столу. — Положение, дружище, создается неважное… Со дня на день надо ждать восстания.

— Какого восстания? — изумился я. — Ты что?..

— Вот почитай-ка, — вытащил он из кармана гимнастерки вчетверо сложенный затрепанный лист бумаги. — Зараз по рукам казаков ходит вот такая писанина. Бог ее знает, откуда она взялась… Казаки ее читают и начинают шуметь.

Я развернул бумагу и стал читать.

Листовка эта в виде директивы была составлена от имени Советского правительства. В ней говорилось о том, что, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, единственно правильным признавалось повести самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления, а к казакам, не относящимся к кулацкой верхушке казачества, но принимающим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью, следовало применить беспощадный массовый террор, конфискуя у них все хлебные излишки, расстреливая на месте каждого казака, у которого будет обнаружено оружие.

К этому документу была приписка такого содержания:

«Станичники!.. Казаки!.. Дорогие братья!.. Вникните хорошенько в содержание этого дьявольского большевистского приказа. Значит, нашей жизни наступает конец. Конец жизни наших отцов, матерей, жен, братьев, сестер, детей… Нет, дорогие братья!.. Не дадим мы уничтожить свою жизнь и жизнь своих родных. Лучше мы вооружимся чем попало — вилами, топорами — и восстанем против наших мучителей, притеснителей, душегубов.

Истинные патриоты родного Дона.

Перепиши каждый этот документ в трех экземплярах и раздай своим знакомым и друзьям».

— Ведь это же явная провокация! — воскликнул я. — Разве может Советское правительство давать такую директиву? Эта

фальшивка разослана для того, чтобы настроить казаков против Советской власти… Ясно как день.

— Не знаю, — сказал Алексей. — Может, и провокация, но листовка будоражит казаков.

— Где ты взял эту бумажку?

— Да сижу я вчера утром в канцелярии хуторского ревкома, занимаюсь, просматриваю разные бумаги… — стал рассказывать Алексей. — Вбегает ко мне, мальчонок лет десяти и говорит: «Дяденька комиссар, прочитайте вот эту бумажку… Может, говорит, нужна вам…» Прочитал я, да и ахнул. «Где ты ее взял?» — спрашиваю у мальчугана. «Да ныне, говорит, маменька шла по улице да нашла. Сама-то она неграмотная, дала мне почитать. А я читал-читал, говорит, да так и ничего не понял… Маменька, велела тебе отнести. Говорит, должно, наш комиссар потерял». Придется дня через два поехать в станицу, показать в ревкоме эту бумажку.

— Нет, Алеша, — сказал я, — это дело серьезное. Два дня ждать никак нельзя… Пойдем сейчас в станицу, расскажем секретарю станкома партии Короткову.

— Пожалуй, ты прав, Саша, — согласился Алексей.

Мы закончили обед и помчались в станицу. Но как мы ни торопились, а от хутора Уваровского до станицы было километров тридцать. Приехали мы уже поздно, рабочий день в учреждениях закончился.

Секретаря партийного комитета дома не оказалось, председателя ревкома Земцова — тоже.

— Что же будем делать, а? — заволновался Алексей.

— Вернемся домой, — предложил я, — а завтра утром поедем в станицу к Короткову и Земцову.

— Пожалуй, так, — согласился мой друг. — Кроме ничего не придумаешь.

Кулацкое восстание

Напротив нас, через улицу, жила большая казачья семья Зотьевых. Сам хозяин, пожилой казак лет под шестьдесят, Николай Александрович, был тихим, спокойным человеком.

Хозяйство у него было не кулацкое, но довольно крепкое. Наемным трудом Зотьевы никогда не пользовались, все делали сами, благо что рабочих рук много — четыре сына, две взрослые дочери, сноха. Семья трудолюбивая, дружная. Работали все с утра до ночи, как пчелы…

Началась гражданская война на Дону. Сразу же трое братьев Зотьевых были мобилизованы белыми. Четвертый же брат, Алексей, в это время служил под Москвой конторщиком на каком-то заводе.

Случилось так, что агенты одного из продотрядов изъяли у Николая Александровича Зотьева, как излишек, пудов сто пшеницы.

Когда забирали хлеб у Зотьевых, старик спокойно это пережил, даже ни единого слова обиды не высказал.

Но, видимо, это так лишь казалось. В самом же деле Николай Александрович обиделся на Советскую власть, обиделся крепко.

Верно, о своей обиде он написал сыну Алексею. Тот, не долго думая, прикатил к отцу, может быть, для того, чтобы успокоить старика, а может быть, и в самом деле в отпуск, как он говорил.

Алексей Зотьев часто заходил к нам, как к соседям, беседовал с отцом моим, с Машей. Я избегал с ним разговаривать, недолюбливал его.

Приехав с Марушкиным из станицы, я расседлал коня, поставил его в конюшню и пошел в дом. Еще в сенях я услышал голос и смех Алексея Зотьева.

«Черт его носит», — недовольно подумал я, но, войдя в хату, поздоровался.

— Здорово, Александр, — ответил Зотьев, внимательно оглядывая меня. — Ты откуда же это? Из станицы, что ли?

— Да.

— Ну, как там, все в порядке? — спросил он.

— А что там может быть не в порядке? — сухо спросил я.

— Ну да мало ли что, — усмехнулся Зотьев. — Жизнь, парень, есть жизнь… Все течет — все меняется… Может, какие новости есть?

— Ничего не слышал.

— Насчет вешенского восстания ничего не говорят?

— Какого восстания? — насторожился я.

— Ну, вот, — засмеялся Зотьев. — Мы тут, простые люди, и то слышали. А вы там, ближе к начальству, и не слышите… Говорят, что вешенские казаки восстали против Советской власти.

Я не придал тогда значения словам Зотьева.

— Чепуха, — заметил я. — Бабьи сплетни.

— Хорошо, что так, — тихо проронил Алексей и усмехнулся снова.

Посидев еще несколько минут, Зотьев распрощался и ушел.

Утром я встал рано. Был воскресный день, поэтому я оделся в праздничную одежду: новые брюки и белую рубашку.

Я ждал Алексея Марушкина. Мы должны были пойти с ним в станицу. Но вместо него к нашим воротам подскакал на лошади Андрей Земцов, который, кстати сказать, тоже служил комиссаром на одном из хуторов, а сегодня оказался дома.

— Быстро, Сашка, седлай коня, бери винтовку и поедем, — сказал он встревоженно.

— Что случилось, Андрей?

— А черт его знает, — пожал плечами Земцов. — Прискакал один из станицы, разбудил меня, сказал, чтоб я оповестил всех бывших красногвардейцев, чтоб ехали немедля в станицу с оружием… Какая-нибудь заваруха опять… Ну, ты собирайся и жди, а я поскачу к Марушкиным ребятам, скажу им…

Я оседлал коня, разбудил отца и сестру, попрощался с ними.

Сестра дала мне узелок с едой. Перекинув через плечо ремень шашки и взяв винтовку, я вывел коня за ворота, стал ждать Земцова и братьев Марушкиных.

Напротив, у Зотьевых, скрипнула калитка. Вышел Алексей.

— Куда, Саша, собрался? — спросил он, подходя ко мне.

— Не знаю.

— Нет, честное слово?

— Честное.

Подъехали братья Марушкины и Андрей Земцов. Они поздоровались с Зотьевым.

— Куда вы собрались? — спросил снова Зотьев, оглядывая нас. — Может, какая опасность, а?.. Может, и мне с вами?

— Какая там, к черту, опасность, — проворчал Алексей Марушкин-старший. — Так, поедем в станицу.

— А чего с ружьями?

— Да просто так.

— Ребята, вы не хитрите, — сказал Зотьев. — Вы не так просто едете… Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось, — грубо оборвал его Марушкин-старший. — Чего пристал?

— Я почему спрашиваю, — проговорил Зотьев. — Я ведь все-

таки работаю на советской работе… Ну, и ежели чего, так меня тут на первом суку повесят… Может, мне тоже с вами поехать?.

Нам это объяснение показалось вполне правдоподобным. Действительно, может быть, человек боится оставаться на хуторе. Ведь, как ни говори, а все-таки Зотьев работал на советском заводе. Если кулаки поймают, они не посчитаются с тем, что Зотьев занимал скромную должность конторщика. Могут и расстрелять.

Подумав об этом, Алексей Марушкин-старший великодушно сказал:

— Ты не бойся. Пока страшного ничего нет… А ежели чуть чего серьезное, так мы тебе тогда скажем… Ей-богу, дадим знать.

— Вот спасибо, — обрадованно воскликнул Зотьев. — Так я, ребята, буду ждать… Значит, договорились?

— Определенно.

— Ладно. Пока.

Ну, кто же из нас тогда мог подумать, что, говоря все это, Алексей Зотьев просто дурачил нас.

После нашего отъезда, в тот же день, он был инициатором таких событий, которые надолго запомнились нам всем.

Переправившись через брод, мы въехали в станицу. Улицы ее были заполнены вооруженными всадниками.

Это съезжались с хуторов коммунисты, комсомольцы, бывшие красногвардейцы и сочувствующие Советской власти казаки.

— Эге, братцы! — воскликнул Марушкин-старший. — Дело-то оно оборачивается не на шутку… Что, Сашка, прав я был ай нет? — взглянул он на меня.

— Да, пожалуй, прав, — вздохнул я. — Начинаются опять веселые денечки.

Марушкин пошел разыскивать председателя ревкома Земцова, чтобы передать ему найденную листовку, а мы остались на улице ждать его.

Скоро Алексей вернулся и рассказал, что собрали нас совсем по другому поводу — из окружной станицы срочно потребовали прислать кавалерийский отряд, собранный из коммунистов, комсомольцев и беспартийных казаков, преданных Советской власти.

Конников собралось человек двести. Командиром отряда был назначен Безбородов Степан, казак с хутора Мохового, из бывших гвардейцев, человек, славившийся своей неустрашимостью.

Разбив отряд на взводы, Безбородов повел нас в окружную станицу.

Когда мы прибыли туда, то узнали, для чего нас вызвали. Оказывается, Алексей Зотьев не наврал мне о восстании

вешенских казаков. Действительно, в тылу Красной Армии, наступавшей на Новочеркасск, логово белогвардейцев, вспыхнуло восстание казаков Верхне-Донского округа. К восставшим примкнули станицы Казанская, Мигулинская, Вешенская, Еланская, Слашевская, Буканская, Усть-Хоперская, Боковская, Каргинская и слобода Березняки. Восставших насчитывалось около двадцати пяти тысяч.

Я был поражен: откуда об этом восстании мог знать. Алексей Зотьев? Впервые у меня тогда возникло такое подозрение. Но я ничего своим товарищам не сказал.

Нас, конников, собрали в окружной станице для того, чтобы, сформировав крупный отряд, бросить на подавление вешенского восстания.

Началась разбивка на эскадроны, полки. И вдруг в самый разгар формирования Безбородов получил приказ председателя окружного ревкома Ларина немедленно вернуться с отрядом в свою станицу. Никто, даже сам наш командир Безбородов, не знал, зачем.

Все объяснилось лишь потом, когда мы приближались к станице. Подъехав к ней, мы услышали стрельбу.

Выслали разведку. Разведчики вскоре вернулись и сообщили, что в станице находятся наши станичные коммунисты и комсомольцы. Они-то и отстреливаются от восставших казаков, засевших на горе, за рекой.

Воспользовавшись нашим отъездом в окружную станицу, казаки окрестных хуторов подняли восстание. Вдохновителем и идейным руководителем восстания был Алексей Зотьев.

— Вот гадина так гадина! — возмущался Марушкин-старший. — Вот он нас как провел. Что же, выходит, что наши хуторяне восстали против нас?

Потом мы узнали, что кулацкий заговор созревал уже давно. Душой заговора был Зотьев. Для этой цели он и приехал домой. Он же распространял антисоветские листовки среди казаков нашей станицы.

— Ах, какая дрянь! — лютовал Марушкин. — А прикинулся тогда таким несчастным. Просил: «Возьмите меня с собой…» А я, грешным делом, пожалел его еще… Говорю: ежели чего, то сообщим… Вот гад!.. Ну, попадется он мне под веселую руку… Собственноручно пристрелю.

И вот снова началась война, война между своими, близкими, часто между родными братьями, отцами и сыновьями…

Станица наша превратилась в вооруженный лагерь. Все хутора правобережья оказались во власти повстанцев. Левобережные же хутора хотя и были еще нейтральными, но

брожение среди казаков шло и там. Каждую минуту можно было ждать, что все они примкнут к мятежникам.

* * *

Мы ждали нападения. По ночам выходили на окраины станицы и заставы, напряженно всматривались в темень, прислушивались, не шелестит ли трава. Но все было пока спокойно. Днем повстанцы поливали станицу с горы свинцовым дождем, ночью открыто напасть на нас, видимо, опасались.

Мост через реку нами усиленно охранялся, и тут как будто никаких неожиданностей не могло быть. То же самое и у брода в станицу. Но вот другое дело у хутора Красноярского, расположенного в двух километрах от станицы. Там тоже был брод. У нашего командования возникло опасение, что повстанцы могут переправиться у этого хутора, а потом напасть на нас с тыла.

Человек пятнадцать конников, молодых парней с нашего хутора, направили на Красноярский охранять брод.

Это распоряжение начальства мы приняли с удовольствием. Пребывание на Красноярском сулило нам много приятного: на хуторе у нас были знакомые девушки.

…Жили мы на Красноярском вольготно. Днями дулись в подкидного, купались. Вечерами к нам приходили девушки, парни. Мы пели, танцевали… Ночами же посты зорко наблюдали за бродом…

Иногда, правда, с противоположного берега, заросшего густым леском, с злобным жужжанием, как разгневанные шмели, неслись пули. Мы отвечали залпами. А потом снова наступала тишина.

Мы понимали, что это обстреливали нас из озорства хуторские ребята, находящиеся теперь в повстанческом отряде.

Такая «забава» нас некоторое время развлекала, но хуторян она приводила в смятение. Старухи и детишки, как только начиналась стрельба, стремглав мчались прятаться в погреба…

Каким-то образом наши родственники узнали, что мы находимся в хуторе Красноярском, и иногда кто-нибудь из них, рискуя быть пойманным повстанцами, пробирался к берегу. Чаще всех приходила комсомолка Лиза, сестра Петра Дементьева, который и на этот раз был у нас начальником.

Каждый раз, как только она появлялась на противоположном берегу, Петр плыл к ней. Девушка передавала ему важные сведения. Дементьев сообщал о них в станицу.

Однажды Лиза показалась на берегу, давая знать брату, чтобы он подплыл к ней. Петр поплыл.

Девушка сказала ему что-то такое, что заставило Дементьева тотчас же, с таинственным видом ускакать в станицу.

Вернулся Петр с еще более таинственным видом, чем уехал. От важности на его лице даже конопушки отсвечивали каким-то самодовольством. Он загнал нос, а мы на него посматривали с завистью: вот, дескать, человек так человек, все знает, а мы ничего…

Только на закате дня наконец выяснилась тайна Дементьева. Сестра сообщила ему сведения о численности повстанцев на нашем хуторе. Петр доложил об этом в станице. А там решили, воспользовавшись малочисленностью сил противника на хуторе, произвести налет на него. Для этой цели к нам, на Красноярский, из станицы прибыл небольшой кавалерийский отряд, человек в пятьдесят, под командованием все того же Безбородова. Мы присоединились к нему и тотчас же, перебравшись через брод, ворвались в свой хутор.

Нас никто даже и не обстрелял. Повстанцы выскочили из хутора и скрылись неведомо где.

Безбородов послал Андрея Земцова и меня за хутор, посмотреть, не видно ли там где повстанцев.

Мы с Андреем отправились в путь. Проехали Щепетнов ветряк.

— Ни черта тут никого нет, — сказал Андрей. — Они так, должно, с испугу драпанули, что пятками сверкают уже под Долгим. Поедем назад.

— Давай еще немного проедем, — предложил я.

— Ты езжай к тому вон оврагу, а я к этому. А потом вернемся.

Через некоторое время мы съехались у ветряка и направились в хутор докладывать Безбородову о результатах своей поездки.

Но Безбородов вел конников уже из хутора. Мы подождали их и доложили о том, что никого здесь из повстанцев не видели.

— Ну и ладно, — сказал Безбородов. — Поехали с нами.

Мы присоединились к отряду.

Подъехав к ветряку, Безбородов оглянулся.

— Шашки вон! — негромко скомандовал он.

Молниями блеснули выхваченные из ножен шашки.

— Рассыпайсь! — снова скомандовал Безбородов.

Мы рассыпались лавой.

— Вперед! За мной! — крикнул Безбородов и, дав шенкеля своему лысолобому рыжему жеребцу, поднял шашку и помчался к золотистому полю ржи… Мы с гиканьем устремились за ним.

Подскакав к хлебам, Безбородов остановился и внимательно

всмотрелся в гущину ржи. Мы тоже остановились, прислушиваясь. Могильная тишина. Я смотрел на командира.

— Никого тут, конечно, нет, — пробормотал он. — А сказали, что во ржи засели… Но все-таки прочешем рожь… Шагом!.. Арш!..

…Небо пламенеет в багряном закате. В зареве вечерней зари, как в вишневом соку, плавает огромный раздувшийся, раскаленный шар солнца. Встревоженно лопочут о чем-то степные птицы, усаживаясь на ночлег.

Продвигаемся тихо, густая высокая рожь бьет нас по ногам тугими колосьями.

Вдруг выстрел… еще и еще… Стреляют из ржи.

Всадники в нерешительности останавливаются. Кое-кто из наших, прикладываясь к ложам, стреляет наугад в рожь… Оттуда слышатся стоны. Стрельба с обеих сторон усиливается. Над головой противно посвистывают пули. Рядом со мной казак как-то странно вскрикивает и с храпом валится с лошади. Испуганная лошадь с ржанием мчится в степь.

Безбородов взмахивает шашкой:

— Впе-ред.

Я привстаю на стременах, поднимаю шашку и во весь голос кричу:

— Ура-а!

Мчится по ржаному полю вся наша лава.

— Ура-а!.. Ура-а!.. — слышатся голоса моих товарищей.

В балку бегут повстанцы, конники наши взмахивают над ними шашками, стреляют им в спину. А потом все вдруг замолкает. Мы возвращаемся в хутор.

Снова уходим

Постояв с неделю на нашем хуторе, Безбородов увел конников в станицу.

Мы же, хуторские парни, пока еще оставались здесь. Повстанцы с этих мест куда-то отхлынули, и в хуторе стало спокойнее жить.

Ночами, выставляя караулы, мы спали все вместе в чьем-нибудь саду. Но каждый раз меняли место ночевки.

К нам примкнули еще несколько хуторских парней-комсомольцев: братья Храмушины, Алферов, Опрометкин, Юдин.

Так мы прожили в хуторе недели две, держа постоянную связь со станицей. По распоряжению Безбородова часто выезжали далеко за хутор. Но повстанцев не обнаруживали, их и след простыл. Они словно провалились сквозь землю.

В хуторе существовала комсомольская ячейка, в которой состояло человек тридцать молодежи. Я очень гордился этой ячейкой, так как она была создана при моем участии.

Как член станичного комитета комсомола, я попытался было собрать хуторских комсомольцев, чтобы побеседовать с ними о создавшемся положении.

Но, кроме тех комсомольцев, которые состояли в нашем отряде, пришли на собрание всего пять девушек. Остальные боялись идти: а ну вернутся белые, что тогда будет?

С Лизой Дементьевой в этот раз пришла хорошенькая девочка-подросток в розовом платьице.

— Ты тоже на собрание? — спросил я девочку.

— Да, — тоненько протянула она и засмущалась.

— Как тебя зовут?

— Таня.

— А фамилия?

— Затямина.

— О! — воскликнул я. — Так это же старая знакомая!.. Это с тобой, Таня, тогда, на пасху-то, происшествие было?

— Со мной, — сказала девочка.

— Большая ты стала. Сколько же тебе лет?

— Четырнадцатый идет, — важно ответила она.

— Уже совсем взрослая. В комсомоле ты еще не состоишь?

— Нет, — с огорчением произнесла девочка. — Три раза подавала заявление, и все отказывают, говорят, мала еще… Когда, говорят, сравняется четырнадцать, тогда примем…

— Ну, подожди. Сколько тебе осталось до четырнадцати лет ждать?

— Девять месяцев.

— Ну, эти девять месяцев скоро пролетят, — успокоил я Таню. — На то лето примем тебя в комсомол.

— В комсомол мне очень хочется… — прошептала девочка.

— А ты ходи на собрания, будем считать тебя активисткой.

— Да я и так хожу, — усмехнулась Таня. — Видите, пришла. Мне даже вот хочется к вам в отряд поступить.

Все весело рассмеялись. Таня вспыхнула:

— Ну, что смеетесь? Ничего тут нет смешного… Я правду говорю… На коне-то я ведь умею ездить.

— Конечно, смешного тут ничего нет, — вступился я за нее. — Желание твое, Таня, хорошее. И в отряд тебя можно принять… Но давай тоже немного пообождем…

— А чего ждать? — спросила девочка.

— Обождать надо, пока подрастешь, — сказал я.

— Война тогда закончится…

— Вот и хорошо. Мы все хотим этого.

* * *

События развивались стремительно. Восстания верхушки казачества подняли дух белогвардейщины. Собрав последние усилия, белые перешли в наступление. Под их напором Красная Армия стала откатываться назад.

Станичные учреждения готовились к эвакуации… Нас отозвали с хутора в станицу, так как каждую минуту мог быть объявлен приказ о выезде. Мы обязаны были охранять в дороге эвакуирующиеся учреждения, хотя, собственно, в это время мы ни на какой службе не состояли.

Но отъезд из станицы со дня на день откладывался.

Бело-зеленые притихли и не беспокоили нас. Они находились где-то далеко, и мы могли теперь беспрепятственно ездить на свой хутор.

Однажды на рассвете мы услышали далекий орудийный гул. Видимо, фронт уже подошел совсем близко и бои шли где-то под Урюпинской, а может быть, и ближе. В станице засуетились, подготавливаясь к отъезду. Но, как это нередко бывает, что-нибудь да задерживало. Наконец нам официально было объявлено, что мы выезжаем завтра утром.

Вечером, пользуясь темнотой, я, Андрей Земцов и Алексей Марушкин, усевшись на лошадей, незаметно выскользнули из станицы и, перебравшись вброд через Хопер, поскакали в хутор. Ведь это ж так близко!

Разъезжаясь по домам, мы договорились, что на обратном пути Алексей заедет за мной, а затем вдвоем мы отправимся за Андреем.

Отец и Маша еще не спали. Сестра накормила меня ужином, собрала в дорогу белье, увязала узелок с продуктами. Время было уже позднее, а Алексея все не было.

Наконец к полуночи он приехал.

— Что ты так долго? — спросил я.

— Белье не было готово, — сказал он. — Мать рубашки чинила… Да ничего, успеем к отъезду.

По пути мы заехали за Андреем. Подъехав к его хале, мы постучали в окошко.

— Иду! — отозвался Андрей. — Сейчас!

Случайно взглянув на дорогу, я увидел всадников.

Их было человек тридцать-сорок… Безмолвные, как призраки, освещенные безжизненным светом луны, они мелькали перед нашим взором один за другим, исчезая: за углом улицы, по которой нам предстояло ехать.

Я взглянул на Алексея. Он изумленно смотрел на этих всадников.

— Кто это? — прошептал я. — Наши или белые?

Алексей недоумевающе пожал плечами.

Из хаты вышел Андрей.

— Черти, чего вы так долго? — громко спросил он.

— Тс-с! — погрозил ему пальцем Алексей и указал на проезжавших по дороге всадников.

— Кто это?

— А черт их знает, — сказал Алексей. — Откуда я знаю. Поехали!

Андрей вскочил в седло. Не сговариваясь, словно так и надо было, молча пристроились мы к последнему всаднику, проезжавшему мимо нас. Держа ружья на взводе, проехали хутор.

Мы следовали за таинственными всадниками до поворота. Они поехали по дороге на мост, а мы повернули к броду. Всадники нас не преследовали. Наверное, потому, что думали, мы свои, а быть может, им было невыгодно поднимать шум.

Переправившись через реку, мы въехали в станицу. Нас поразила пустота в ней. А где же наши? Неужели уехали?.. Да, видимо, уехали. Но куда?..

Мы стояли в раздумье на станичной площади. Луна ласково нас освещала, и предрассветный ветерок нежно обвевал наши разгоряченные головы.

Ну, как же теперь нам выйти из этого затруднительного положения? И, казалось, сама судьба сжалилась над нами в этот

раз… Мы заметили, как в одну из улиц юркнул всадник.

Мы поскакали вслед за ним.

Завидя нас, всадник начал плутать по улицам. Но в одном месте нам удалось все-таки его окружить.

— Стой! — крикнул Алексей. — Стрелять буду!

Всадник остановился, поднял руки вверх и умоляюще простонал:

— Не убивайте!

— Мишка!.. — крякнул Алексей. — Ты, черт?..

— Я-а…

— У, будь ты проклят! — выругался Алексей. — Чуть я тебя, дьявола, не пристрелил… Чего ты от нас утекал?..

— Да ведь я думал же, белые…

— Дурак! Белые… Где наши, знаешь?

— Да как же не знать, — ответил парень. — На хутор Красновский поехали.

Паренек оказался племянником Алексея. Он был таких же лет, как и я, жил с матерью в станице.

Мы помчались вдогонку за своими.

…Начало рассветать. На востоке небо наливалось алыми красками, расцветала пышная заря.

Внезапно с окраины хутора, который мы только что проехали, нас обстреляли.

За нами стремительно мчались всадники. Соскочив с лошадей, мы дали по преследователям залп. Белогвардейцы повернули назад.

Вступление в партию

Наши комсомольско-молодежные конные отряды передвигались от хутора к хутору, преследуя белых бандитов. Дни и ночи проходили в дыму сражений. Много мы тогда уничтожили врагов. Но немало и наших комсомольцев и коммунистов погибло. Не сразу смогли мы сломить белогвардейский бандитизм. Особенно он активизировался у нас в связи со вспыхнувшим в 1920 году кулацко-эсеровским мятежом на Тамбовщине. Мятеж возглавил эсер Антонов. Восстание охватило многие уезды Тамбовщины, в том числе и Борисоглебский. А Борисоглебск был от нас совсем близко.

Связавшись с антоновцами, донские бандиты совсем обнаглели. Они совершали налеты на хутора, вырезали всех, кто сочувственно относился к Советской власти.

Мне шел двадцатый год. Гражданская война, ежедневные опасности и схватки с врагом закалили меня. Я стал комсомольцем и готов был в любую минуту отдать свою жизнь за Советскую власть, за Коммунистическую партию.

Мне очень хотелось вступить в партию. Но я об этом боялся даже подумать. Разве сейчас до меня? Вот кончится война, разделаемся с белогвардейцами, тогда можно будет поговорить и об этом…

И я терпеливо ждал…

* * *

Однажды солнечным летним днем я с несколькими комсомольцами стоял в заставе на окраине станицы, наблюдая за дорогой.

Положение в этот момент создалось у нас весьма серьезное: борисоглебские леса были километрах в сорока, а в них, как нам сообщили, сосредоточилась целая армия антоновцев. Иногда кавалерийские отряды их подъезжали к станице совсем близко…

Мы ждали нападения. Вокруг станицы стояли заставы; на колокольне расположились наблюдатели. При появлении белобандитов они должны были бить в набат.

Нас было человек пятнадцать молодых парней. Начальник наш, пожилой казак, положившись на нас, спал в тени акации.

Следя за дорогой, мы рассказывали разные истории, хохотали…

Вдруг я увидел, что к станице мчатся всадники. Их было,

наверно, человек сто или больше…

— Бандиты! — крикнул я.

Рассыпавшись по окопчикам, наши парни подняли стрельбу из винтовок.

Проснулся начальник заставы.

— Эй, друг! — крикнул он мне, сообразив наконец в чем дело. — Побеги-ка вон за угол, помаши фуражкой на колокольню, чтоб звонили… Что-то не звонят… Не видят, что ль.

Я побежал выполнять приказание начальника. Забежав за угол, откуда меня было хорошо видно с колокольни, я стал размахивать фуражкой, привлекая этим внимание наблюдателей. Но меня никто не замечал…

За спиной стрельба продолжалась. Значит, бандиты уже близко подошли к станице. Надо предупредить командование отряда об опасности. Я помчался к штабу, на бегу стреляя вверх, желая привлечь к себе внимание людей на колокольне.

Но меня оттуда не видели. Возможно, наблюдатели спали.

У дверей штаба я споткнулся от усталости и присел, тяжело дыша.

— В чем дело? — выбежал из комнаты секретарь станкома партии Коротков. — Что случилось?

Едва переводя дыхание, я коротко рассказал ему о появлении бандитов.

— Тревогу! — закричал Коротков. — Тревогу! Какого черта не звонят на колокольне?

Но в это же мгновение на колокольне загудел большой колокол…

Хватая оружие, коммунисты и комсомольцы, бывшие в резерве, разбежались по заставам. Налет мятежников был отбит.

Антоновцы, конечно, не случайно хлынули на нашу станицу. Регулярные части Красной Армии под командованием Котовского выбили их из борисоглебских лесов, и они теперь ринулись на юг, словно тараканы, расползаясь по лесам и оврагам.

* * *

Рассыпавшись цепью, мы шли по вдовольскому лесу, прочесывая его. При нашем приближении антоновцы сломя голову разбегались во все стороны.

Так мы их гнали вплоть до хутора Трухтенского, где их вылавливали прибывшие из Урюпинской бойцы ЧОН.

Выйдя из леса, мы соединились с чоновцами. Среди них было немало знакомых комсомольцев. Ко мне подошел молодой

паренек, Михаил Янюшкин.

— Здравствуй, — сказал он мне. — Ну и работенка же ныне была… Тысячи две бандитов переловили.

На поляну выехал бронированный автомобиль. На нем, величественно опираясь на шашку, как изваяние, недвижимо стоял совсем еще молодой рыжеватый паренек. Был он одет во все красное: красная рубашка, красные штаны, такая же фуражка и даже сапоги со шпорами были красно-желтого цвета…

— Кто это? — спросил я у Янюшкина.

— Этот, в красном-то? — спросил паренек. — Из отряда Котовского.

В суровом облике человека в красном мне почудилось что-то очень уж близкое, знакомое.

Я вгляделся в него и узнал.

— Гришка! — крикнул я обрадованно. — Чубарь!..

Парень на броневике вздрогнул, удивленно посмотрел на меня и вдруг широко расплылся в улыбке.

— Сашка! — вскрикнул он, спрыгивая с броневика. — Сочинитель про индейцев!.. Здорово, дорогой!..

Мы обнялись и расцеловались.

* * *

Наконец с мятежниками все было покончено.

В станице стало спокойно.

Я теперь работал инструктором в земельном отделе. Как-то ко мне зашел секретарь станичного комитета комсомола Федоров.

— Саша, — сказал он мне как бы между прочим, — сегодня вечером приходи на партийное собрание. Обязательно приходи!

Ничего удивительного в том, что меня, комсомольца, приглашали на собрание коммунистов, не было. В годы гражданской войны комсомольцы часто бывали на партийных собраниях, сообща решали с коммунистами многие вопросы.

— Вряд ли приду, — сказал я. — У меня есть дела на хуторе. Комсомольцы соберутся, хочу с ними побеседовать.

— Нет, нет! — сказал Федоров. — Обязательно должен быть на собрании.

— Но почему? — удивился я настойчивости секретаря комсомола.

— Так надо, — уклончиво проговорил Федоров и добавил с таинственным видом: — Для тебя это важно.

— В чем дело, скажи? — приставал я.

— Там увидишь тогда. Говорить я не имею права.

Вечером, одевшись поприличнее, я пошел на партийное собрание в станицу.

Зал большого каменного дома купца Караваева, в котором теперь помещался станичный комитет партии, был заполнен коммунистами и комсомольцами. Были даже и беспартийные.

Я немного запоздал, собрание уже началось. Я нерешительно остановился у двери, не зная, куда девать себя.

— Проходи, Саша, проходи сюда, — приветливо сказал мне секретарь комитета партии Коротков, приглашая сесть на свободный стул около него.

Я прошел и сел.

— Так вот, товарищи, я продолжаю, — сказал Коротков. — Да, действительно, наши комсомольцы, юноши и девушки отличились за эти годы… Они умели и саблей ловко сокрушать врага, умели они и хлеб найти у кулака, работая в продотрядах… Были они нам незаменимыми помощниками, пропагандистами и агитаторами. Принимая во внимание все это, наш станичный комсомол выдвинул из рядов своих комсомольцев лучших, доказавших свою преданность партии и Советской власти, и передает их в партию… Товарищ Федоров, — обратился он к секретарю комсомола, — А ну, ознакомь нас, кого из комсомольцев вы передаете в партию…

Федоров подошел к столу и, близоруко сощурив глаза, сказал:

— Наш комитет комсомола решил рекомендовать пятерых комсомольцев, достойных быть в партии. Вот, например, Астахов.

— Погоди! — подняв руку, остановил его Коротков. — Астахов, иди-ка сюда! Сюда, к столу.

Николай неуверенно подошел к столу. Красные пятна ходили у него по лицу; видимо, парень сильно волновался.

— Товарищи, вы все знаете Астахова? — спросил Коротков, оглядывая зал. — Нужно о нем говорить или нет?

— Не надо! — послышались голоса. — Все его знаем!.. Хороший комсомолец!.. Добрый будет коммунист!.. Принять в партию!..

— Отводы будут?

— Нет!.. Нет!.. Принять в партию!.. Принять!..

— Кто за то, чтобы принять Астахова в партию, прошу поднять руки… Раз, два, три… Двадцать один. Кто против?.. Воздержавшиеся… Нет. Принят единогласно. Поздравляю, товарищ Астахов, — пожал руку Астахову Коротков. Потом он обнял и поцеловал его. Все захлопали в ладоши. — Нашу партячейку тоже можно поздравить с новым хорошим

коммунистом… Мы сейчас принимаем товарищей в партию, а потом все оформим как следует в станкоме и отошлем материалы на утверждение в окружком партии.

Астахов, ошеломленный такими неожиданными событиями, стоял у стола, растерянно оглядывая присутствующих в зале. Он даже не представлял себе, что ему надо делать в эту минуту, стоял и молчал.

Как я ему сейчас завидовал!.. Очень мне хотелось бы быть на его месте…

Так же, без обсуждения, были приняты в партию и еще три комсомольца. Я радовался за своих товарищей, хотя немного было грустно, оттого что в списке нет моей фамилии.

— А кто же последний? — спросил секретарь партийного комитета у Федорова и почему-то, улыбаясь, лукаво посмотрел на меня. — Впрочем, я знаю, кто последний… — засмеялся Коротков. — Иди-ка сюда, Саша, — поманил он меня к столу.

Я поднялся со стула, кровь прилила к голове: «Неужели?..»

Да, как один из лучших комсомольцев станицы я был рекомендован комсомолом в партию…

И был принят…

Нет слов, чтобы передать то, как я ликовал, когда взял в руки партийный билет.

Вместо эпилога

Хотя деникинцы были разгромлены, остатки корпуса белогвардейского генерала Слащена в числе четырех тысяч человек сумели убежать в Крым. К ним в марте 1920 года английские и французские корабли доставили около сорока тысяч белогвардейцев, уцелевших от разгрома на Северном Кавказе.

Войска эти возглавил генерал барон Врангель.

В то же время панская Польша объявила войну Советской России.

Снова над страной нависла грозная опасность, и снова по зову партии, по зову великого Ленина ходили мы, коммунисты и комсомольцы, на разгром врага.

Нелегко досталась нам победа над врагом.

Но мы не унывали, не покладая рук, трудились, восстанавливали разрушенное хозяйство, сеяли хлеб, работали в продотрядах. В минуты досуга умели и веселиться. Хотя и питались желудевыми пышками, но умели лихо отплясывать полечку или краковяк. Пели песни, ставили спектакли.

Однажды весной 1922 года к нашему дому подъехала подвода. Выглянув в окно, Маша с радостным криком побежала на улицу.

— Тетя Христофора с Олей приехали, — сказала она на бегу.

Мы с отцом тоже выбежали на улицу, расцеловались с Христофорой и Олей. Не видели мы их уже более десяти лет. Как за эти годы обе изменились. Христофора превратилась в морщинистую старуху, а сестра Оля расцвела, стала красавицей, статной девушкой.

Сидя за столом, мы долго вспоминали прожитые годы, родных. И тут тетя Христофора поведала нам грустные вести: дяди мои — Иринарх и Никодим — погибли. Иринарх погиб во время катастрофы на море, а Никодим в годы гражданской войны был расстрелян белыми по обвинению в подстрекательстве матросов к мятежу на белогвардейском корабле.

А потом как-то дошла до меня весть и о смерти бывшего моего друга детства — Кодьки Бирюкова.

Живя в станице, Никодим опустился — пил, развратничал, стал воровать, сошелся с темными людьми.

В конце концов вокруг него образовалась шайка воров, отъявленных бандитов. Со своей шайкой Никодим разъезжал по станицам и хуторам, грабил население. Нередко дело доходило до убийства. Отряды милиции преследовали грабителей, но они

были неуловимы. И все-таки около станции Филоново милиции удалось окружить их. Произошел настоящий бой. Вся шайка во главе с Никодимом была перебита.

Вот, собственно, и все, что мне хотелось рассказать о суровых днях моего детства и юности. Но история моя, пожалуй, была бы не совсем полной, если бы я не упомянул о судьбе одного небольшого эпизодического героя моей невыдуманной повести — о маленькой девочке Тане.

Как-то так складывалось, что я ее долго не видел. А однажды, идя в станицу, я встретил девушку, всем своим обликом напомнившую мне мою маленькую приятельницу.

— Позвольте спросить вас, — приостановился я, любуясь красивой стройной девушкой. — Вы не Таня?

— Таня, — потупилась девушка. — Узнали?

— С трудом, — признался я. — Вы стали совсем взрослой. Я помню, вы стремились вступить в комсомол и в наш отряд. Отряда-то теперь нет, а вот как в комсомол — вступили или нет еще?

— Нет, — вздохнула девушка. — Некогда, учусь в школе, во второй ступени, и работаю в поле, помогаю папе и маме… — Помолчав, она добавила тихо: — Но только в комсомол мне и сейчас хочется.

— Если хочется, так надо вступать. Приходите.

Таня пришла к нам, вступила в комсомол. Мы с ней подружили. Подружили надолго, на всю жизнь. Она стала моей женой.

notes

Примечания

1

В дореволюционное время по закону православной церкви человеку, похоронившему трех жен, в четвертый раз вступать в церковный брак было запрещено.

2

Сиделец — посыльный из числа дежуривших при правлении казаков.

3

В казачьих станицах до революции существовала должность заседателя. Этот чиновник ведал политическими делами.

Айданчики — кости для игры.

5

Скорода — трава, вкусом напоминающая лук (местное название).

Поярковые — свалянные из шерсти овцы первой стрижки.

7

Двухклассное училище имело пять классов.

Девишники, запои — предсвадебные обряды.

9

В 1921 г. Темир-Хан-Шура переименован в Буйнакск в честь У. Буйнакского, активного революционера, расстрелянного контрреволюцией в годы гражданской войны на Кавказе.

10

Тюгулевка — арестантское помещение.